

Серия «Страницы истории нашей Родины»

В. П. Козлов

«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО» Н. М. КАРАМЗИНА в оценках современников

В. П. Козлов

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

Серия «Страницы истории нашей Родины»

Серия основана в 1977 г.

В. П. Козлов

«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО» Н. М. КАРАМЗИНА В ОЦЕНКАХ СОВРЕМЕННИКОВ

Ответственный редактор
доктор исторических наук
В. И. БУГАНОВ



МОСКВА «НАУКА»
1989

ББК 63.3(2)47
К 59

Козлов В. П.

К 59 «История государства Российского» Н. М. Карамзина в оценках современников.— М.: Наука, 1989.– 224 с.
ISBN 5-02-009482-X

Впервые рассказывается о том, как был воспринят в русском обществе выход в свет «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Споры вокруг этого труда отразили расхождения во взглядах представителей различных политических, историографических и литературных течений. Анализируется более 150 журнальных публикаций об «Истории», используются мемуары, дневники, письма, а также другие источники.
Для широкого круга читателей.

К $\frac{0503020200\text{-}236}{054(02)\text{-}89}$ 11-89 НП ББК 63.3(2)47

ISBN 5-02-009482-X

Предисловие

В давнем интересе к жизни, личности и творчеству Николая Михайловича Карамзина (1766—1826), в наличии не одной тысячи работ, посвященных ему и дающих основание говорить о существовании сложившегося направления историографических и литературоведческих исследований — карамзиноведения, в повышенном внимании к наследию этого поэта, писателя, публициста и ученого-историка в последние годы существовали и существуют свои причины, закономерности изучения и оценок. Чем дальше отстоит от нас во времени эта фигура, тем больше «вписывается» она в бурную, противоречивую эпоху Просвещения, французской буржуазной революции, наполеоновских войн, движения декабристов, эпоху великих надежд и разочарований, героических действий и трагических крушений.

Потомство, к которому столь часто апеллировали Карамзин и люди его времени как к главному и «беспристрастному» арбитру своих надежд, помыслов и исканий, сделало немало в их изучении и оценке. Творческому наследию Карамзина отведено почетное место в различных общих курсах по истории литературы, исторической науки, общественно-политической мысли, в специальных литературоведческих и историографических исследованиях.

В потоке мнений о главном труде жизни Карамзина — «Истории государства Российского» особое место занимают суждения его современников: и тех, кому, по словам А. С. Пушкина, казалось, что русское прошлое было открыто историографом соотечественникам и зарубежным читателям подобно тому, как Колумб открыл Америку, и тех, кого труд Карамзина побудил к его критике, к собственным историческим разысканиям и размышлениям о судьбах Родины, значении истории, сущности исторического познания. Важно подчеркнуть, что каким бы ни было отношение к «Истории» ее первых читателей — от восторженно-пиитического до скептического, труд Ка-

рамзина не оставил никого равнодушным. Отношение к «Истории» стало частью того мощного общественного движения в литературе, политической мысли, историографии, критике, которое ярко проявилось в России после великой победы в Отечественной войне, накануне и в первые годы после выступления декабристов. Это движение, отразившее процесс дальнейшего развития национального самосознания, сделало «Историю» Карамзина предметом восхваления и критики со стороны различных, существовавших внутри него направлений. Труд Карамзина, сам представлявший особые литературное, историографическое и политическое направления, неизбежно оказался вовлеченным в поток отечественной общественной мысли. Как выразился один из современников историографа, «История» оказалась «не забавой праздности и не игрушкой для ума» [1]. Продуманная в деталях, отточенная в мелочах, пронизанная от начала до конца единой концепцией, она стала вершиной исторических разысканий и политических идей определенной группы в среде господствующего класса преддекабристской эпохи — российского дворянства.

Противоречивые, подчас кардинально противоположные оценки «Истории» современниками в конце концов вылились в многолетнюю полемику, обрели характер самостоятельного историографического, а в широком смысле слова и исторического факта. Спор о достоинствах и недостатках труда Карамзина, признанного даже многими его критиками одной из трех лучших русских книг первых двух десятилетий XIX в. (наряду с книгами Н. И. Тургенева «Опыт теории налогов» и Д. В. Давыдова «Опыт теории партизанского действия»), превратился в общественное явление, изучение которого добавляет немало штрихов в понимание идеологических, политических, историографических воззрений 10—20-х годов XIX столетия и одновременно в понимание той роли, которую сыграл труд Карамзина в истории общественно-политической мысли этого времени.

Говоря о восприятии «Истории» ее «современниками», мы имеем в виду хронологический период, ограниченный рамками 1803—1829 гг.,— время, в течение которого были созданы и увидели свет все двенадцать томов труда Карамзина. Ограничение рассмотрения полемики 1829 г. объясняется тем, что после 1829 г. спор о труде Карамзина естественно перешел в дискуссию вокруг начавших выходить томов «Истории русского народа»

Н. А. Полевого, дискуссию, которая представляет самостоятельный интерес.

Анализ отношения современников к «Истории» Карамзина не раз предпринимался в нашей литературе. Существуют исследования, посвященные отношению к «Истории» декабристов [2], оценкам ее рядом журналов [3], конкретными лицами [4]. Однако в целом восприятие труда Карамзина в рамках полемики не исследовалось. Между тем к этому призывали уже современники историографа. В. Ф. Одоевский в 1824 г., несомненно, имел в виду и полемику вокруг «Истории», когда, обозревая состояние современной критики, писал: «Но до сих пор еще никто не взял на себя труда разобрать подробно и беспристрастно какую-либо литературную борьбу и по окончании оной посмотреть, какими правилами руководствовались воюющие той и другой стороны. Такие разборы были бы, по моему мнению, весьма полезны и немало бы способствовали к уничтожению в нашей словесности тех скучных и бесполезных споров, в коих основательность заменяется эпиграммами, а самый предмет рассуждения — вещами посторонними» [5]. Отсутствует более или менее полный свод оценок «Истории» ее первыми читателями, в том числе в отечественной периодике, их рассмотрение во взаимосвязи, на фоне развития общественно-политической, исторической мысли, литературной борьбы 10—20-х годов XIX в. Эту задачу и поставил перед собой автор настоящей работы.

Глава 1. Перед встречей с современниками и потомками

1816 год был переломным в жизни Карамзина. К его началу на письменном столе историографа лежали восемь аккуратно переписанных томов «Истории государства Российского» — итог многолетних неустанных трудов в подмосковном Остафьеве и в снимаемой на зимнее время московской квартире. Синие, исписанные каллиграфическим почерком листы бумаги невольно притягивали взгляд, порождали с трудом сдерживаемое желание еще и еще (в который раз!) хотя бы бегло просмотреть написанное, исправить, дополнить. Позади были трудные дни начала работы, во имя которой известный писатель и публицист оставил привычные для его почитателей дела: издание популярного журнала «Вестник Европы», создание повестей и романов. 12 лет Карамзин был отдан работе над «Историей», работе, в успехе которой его пока убеждали только друзья. Преодолевая семейные невзгоды, он шаг за шагом продвигался с завидным упорством к завершению задуманного. Годы смутных тревог за судьбы родины, а затем время реальной, прочувствованной и увиденной воочию опасности потери её национальной независимости уходили прочь, но они снова и снова, часто «забирая» его из прошлого, заставляли с новой силой размышлять над удивительными поворотами современной истории.

Впереди мерцал луч надежды. Европа устало освобождалась от страха перед казавшимся непобедимым Наполеоном. Венский конгресс 1815 г., вновь породивший было тревогу за европейское спокойствие, завершился «Священным союзом» против народов европейских монархов, обязавшихся не допустить больше событий, подобных французской революции. Сопровождаемый потоком восхвалений, с ореолом «монарха-преобразователя», пекущегося о «благе подданных», в Россию с Венского конгресса возвратился Александр I, торжественно благодаря «все сословия» за мужество и пожертвования в прошед-

шей войне, обещая «благоденствие» подданным, мир и спокойствие государству. Сожженная, неустроенная Москва, встретившая Карамзина осенью 1813 г. после пребывания в эвакуации в Нижнем Новгороде холодным безмолвием улиц и площадей, постепенно отстраивалась в стиле все того же милого его сердцу и духу простора и беспорядка. Вновь открыл двери Английский клуб, вновь зазвучала музыка в салонах московской и петербургской знати, восторженно встречавшей покрытых пылью европейских дорог участников заграничных походов, лучшие из которых уже начинали думать и говорить о необходимости решительных изменений в жизни страны. Историограф хотел верить в то, что будущее недавнего какого-нибудь 20—30-летнего прошлого навсегда осталось на острове святой Елены, а над миром вместо революций засверкает звезда просвещения, порядка и мудрого политического «благоразумия».

Настроения Карамзина накануне решительного поворота в его жизни рисует стихотворение «Освобождение Европы и слава Александра I» — одно из немногих стихотворных произведений, написанных в период работы над «Историей», и фактически последнее, наиболее значительное в этом жанре в его творчестве[1]. Если отбросить патетику, диктуемую законами жанра, и условности как дань требованиям времени, идеи этого стихотворения можно свести к следующему.

«Порядок и закон», царившие в жизни Европы, были нарушены Наполеоном, плодом «отчаянной свободы», порождением французской революции. Человек с необузданным честолюбием, он узурпировал самодержавную власть, стал тираном, «державным палачом», провозгласив основой своей политики насилие и отказ от какой-либо законности. В представлении Карамзина в век Просвещения, когда всем ясно, что самодержец «отцом людей обязан быть, любить не власть, а добродетель», деятельность Наполеона дискредитировала не идею самодержавной власти, носителем которой как французский император он являлся, а лишь его как человека, недостойного быть на троне.

Поэтому не случайно в стихотворении Наполеону противопоставлен Александр I. Карамзин рисует его как героя, миролюбивого правителя, оберегающего мудрой политикой Россию от войн, прислушивающегося к советам «прозорливых». Нетрудно заметить, что восторженная характеристика русского императора и его политики была

далека от того, что писал Карамзин в своей конфиденциальной «Записке о древней и новой России», представленной Александру I в 1811 г. Наполеону фактически историк противопоставил образ идеального монарха — государственного деятеля и человека, черты которого он старательно создавал и в «Историческом похвальном слове» Екатерине II и в «Истории». О таком монархе говорит «мудрость веков» — муза истории Клио. Он в представлении Карамзина не должен обольщаться славой, хранить мир,

Судить, давать, блюсти законы,
С мечом в руке – для обороны
От чуждых и своих врагов,

любить просвещение, быть справедливым, помнить, что «в правленьях новое опасно» и т. д.

Отечественная война 1812 г. для Карамзина — война народная, породившая «толпы героев и вождей», массовый патриотизм. С большим подъемом он описывает Бородинское сражение и трагическую картину оставления Москвы. В этой части стихотворение приобретает афористичность:

Победами славна
Лишь справедливая война.

* * *

В твоих развалинах найдет
Враг мира гроб своих побед.

* * *

Но кто оковы нам несет,
Умрем – или он сам падет

и т. д. Вместе с тем истоки победы над Наполеоном Карамзин видит и в патриархальных нравах русского народа, в складе национального характера, главной особенностью которого являлось то, что, по мнению Карамзина, народ «свободы ложной не искал, но все имел, чего желал». Более того, историографу кажется, что победа над Наполеоном имела еще одну причину. В кутузовском маневре после оставления Москвы, в суровой зиме он видит действие силы провидения, избравшего русский народ для того, чтобы покарать не столько захватчиков, сколько тирана, презревшего человеческие законы. Героизм народа, талант военачальников для Карамзина — всего лишь проявление божественного начала, благосклонного к наби-

равшему силу молодому государству с патриархальными устоями.

Карамзина волнуют и судьбы Европы в послевоенное время. Стихотворение историографа в этом смысле проникнуто пацифизмом и надеждами на торжество просвещения, идеалов гуманизма. Он приветствует освободительный поход русской армии в Европу, но предупреждает: «Народы — братья! злобы нет». Муза истории обращается к европейским монархам и Александру I, призывая царей «всемирную державу» оставить «богу одному», а народам советует покоряться власти: «Свободой ложной не прельщайтесь: она призрак, страстей обман» [2].

Стихотворение Карамзина носило откровенно антиреволюционную направленность. Признавая народный характер войны 1812 г., историограф, как уже говорилось, склонялся к тому, чтобы одной из причин победы в ней признать волю провидения, непостижимый божественный промысел. Вновь, как и в «Записке о древней и новой России», Карамзин провозглашал свои монархические идеи, соединенные с элементами просветительской идеологии — верой в торжество добра, разума, справедливости.

Но это сочинение Карамзина, написанное по его собственному признанию «в бреду», примечательно и другим. Оно отразило изменение планов историографа. В далеком прошлом прежде он находил богатейший материал для собственного осмысления современности, всегда прежде всего занимавшей его. И вдруг современность оказалась масштабнее прошлого по трагизму, страстям, борениям и героике. Она на глазах становилась историей, из которой так стремился извлечь «уроки» Карамзин. Ответы на волновавшие вопросы, казалось ему, наглядно можно было получить и на совсем свежем материале. В сентябрьские дни 1812 г., когда запыленная повозка Карамзина в обозе с другими увозила его из горящей Москвы, в эвакуационной сутолоке Нижнего Новгорода у историографа созревал новый замысел: издать написанные тома своего труда и приступить к описанию истории современности с упором на рассказ о борьбе с Наполеоном. К марту 1814 г. Карамзин предпринимает шаги для реализации своего замысла. Он устанавливает письменный контакт с вдовствующей императрицей Марией Федоровной, намереваясь через нее получить личное разрешение Александра I на издание «Истории» и на описание эпохи борьбы с Наполеоном. Почти весь 1814 год Карамзин обсуждал со своей покровительницей планы на этот счет [3].

Увы, им не суждено было осуществиться: «Великое действует и на малое»,— заметил Карамзин своей корреспондентше, когда узнал, что Александр I отправился на Венский конгресс.

К началу 1816 г., как мы уже отмечали, ситуация изменилась. Император вернулся в Петербург, и Карамзин решил ехать в столицу для встречи с ним. Нам, к сожалению, ничего неизвестно о том, думал ли теперь историограф предложить свои услуги в деле создания истории 1812 г., которая уже начинала активно разрабатываться многими участниками войны, а также на официальной основе — в ряде правительственных учреждений и воинских частей [4]. После 1815 г. вообще отсутствуют какие-либо сведения о новом замысле Карамзина. Бесспорно, однако, одно: если Карамзин и не оставил своих прежних планов, они могли осуществиться только после издания восьми написанных томов «Истории».

А вопрос с их изданием был не так прост. Как известно, указ Александра I 1803 г. лишь назначал Карамзина на должность-звание «историографа Российской империи» с ежегодным трехтысячным «пенсионом», равным профессорскому окладу. Должность-звание историограф — традиционно существовавшая в России и Западной Европе форма организации исторических исследований [5]. В России она получила особо широкое распространение в начале XIX в. как ответ на практическую потребность в исторических знаниях, остро ощущавшуюся в связи с конкретными правительственными мероприятиями в области внутренней и внешней политики. Постепенно сложилась целая система «отраслевых историографов» — специально назначенных лиц, в служебные обязанности которых входили исторические разыскания отраслевого или проблемного характера. Так, в Адмиралтейском департаменте должность историографа русского флота занимали подпоручик Позднев, а затем декабрист Н. А. Бестужев. Историографами русско-турецких войн в разное время были декабристы П. И. Пестель и И. Г. Бурцев, а также военный историк Д. П. Бутурлин, историографом Войска Донского — декабрист В. Д. Сухоруков. В 1816 г. описание событий 1812—1815 гг. возлагается на известного военного теоретика А. Жомини, которому были выделены помощники, в том числе декабрист Н. М. Муравьев [6].

«Ранг» Карамзина как историографа «империи» был значительно выше. Однако указ о его назначении не со-

провождался регламентацией каких-либо обязанностей: что и как писать и к какому сроку. Несмотря на это, тот социальный заказ, который был предложен Карамзину, встретил с его стороны подчеркнуто ответственное отношение. Правда, как опытный литератор, он еще в начале работы решил не издавать написанное по отдельным томам. Однако, судя по всему, историограф колебался, с какого тома начать издание. Например, в 1806 г. хорошо информированный И. И. Дмитриев сообщил Д. И. Языкову, что Карамзин намеревается приступить к изданию «Истории» после завершения ее четвертого тома [7]. К началу 1816 г. обстоятельства изменили первоначальный замысел историографа: Карамзин написал большую часть своего труда, на очереди стоял девятый том, посвященный «эпохам казней» Ивана Грозного. Карамзин мог приступить к печатанию, но в таком случае он немедленно попадал под общую цензуру и не было никакой гарантии, что все написанное беспрепятственно дойдет до читателей. Немаловажную роль играли еще два обстоятельства: отсутствие средств на издание и намерение придать больший авторитет многолетнему труду. Все это в соответствии с существовавшей в России начала XIX в. практикой могло быть разрешено только одним: изданием «Истории» с «высочайшего позволения».

Итак, решение было принято, и в начале февраля 1816 г. Карамзин впервые после двадцатипятилетнего перерыва вместе с сопровождавшими его друзьями П. А. Вяземским и поэтом В. Л. Пушкиным прибыли в Петербург. Накануне отъезда, как свидетельствуют источники, историограф не питал особых надежд относительно успешного исхода задуманного. Скорее наоборот, его беспокоила неопределенность положения, в котором он оказался. Не столько годы, сколько эпохальные события отделяли настоящее от тех памятных встреч Карамзина с Александром I в Твери, во время которых избранный круг тверского салона великой княгини Екатерины Павловны с неподдельным восторгом слушал отрывки из «Истории», а сам император читал карамзинскую «Записку о древней и новой России». Тогда, на волне дворянского недовольства внутренней и внешней политикой Александра I, Карамзин решился на резкую критику деятельности императора и его министров. И хотя, очевидно, эта критика сыграла свою роль в последующих действиях Александра I, в частности в решении об отставке и ссылке государственного секретаря М. М. Сперанского, бывше-

го душой задуманных конституционных преобразований, император, как свидетельствует ряд лиц, близких к Карамзину, остался недоволен этим сочинением историографа [8]. В литературе о Карамзине, в том числе советской, можно даже встретить мнение о последовавшей после «Записки» опале историографа [9]. Трудно судить, насколько это мнение соответствует действительности. Сам факт отсутствия контактов между Карамзиным и Александром I после 1811 г. еще ни о чем не говорит: события развивались столь стремительно, что для встреч просто могло не быть возможности.

И все же неясность судьбы своего труда Карамзин ощущал. Себя и друзей он пытается убедить в том, что теперь, когда восемь томов «Истории» готовы, их издание требует «последней жертвы» — добиться встречи с Александром I и согласия на издание «Истории» с «высочайшего позволения». Так, во всяком случае, он говорит в письме к графу С. П. Румянцеву, умному скептику, автору нашумевшего, но мало что изменившего в положении крепостных крестьян закона о «вольных хлебопашцах» [10]. Тот же мотив звучит и в письме к давнему другу, директору Московского архива Коллегии иностранных дел А. Ф. Малиновскому: «Если отправлюсь в Петербург, то возьму с собою запас терпения, уничижения, нищеты духа» [11]. И наконец, признание брату, дальнему симбирскому корреспонденту, постоянно и живо интересовавшемуся делами историографа,— признание с несвойственной для Карамзина в родственной переписке откровенностью о своих личных делах: «Знаю, что могу съездить и возвратиться ни с чем. По крайней мере, надобно, кажется, испытать это: уже не время откладывать печатание „Истории“, стареюсь и слабею не столько от лет, сколько от грусти» [12].

Петербург встретил Карамзина восторженной суетой молодых литературных поклонников — членов неофициального прогрессивного общественно-литературного объединения «Арзамас» (тотчас избравших своего «патриарха» в состав почетных членов), гостеприимными чаепитиями и обедами в домах давних друзей и хороших знакомых с доверительными беседами о судьбах «Истории», вежливой настороженностью сановитых посетителей салонов столичной знати и официальной любезностью чиновних приемов. Впрочем, пришлось выслушивать и откровенные, далекие от почтительности суждения. «Однако же знай,— однажды вынужден был признаться Ка-

рамзин жене,— что нашелся один человек, старый знакомец, который принял весьма холодно и объявил, что ему известен мой образ мыслей, contraire aux idées liberales (противный свободолюбивым мыслям.— *В. К.*), то есть образу мыслей Фуше, Карно, Грегуара» [13]. И в то же время иметь в виду, что попечитель Московского университета, его давний недоброжелатель П. И. Голенищев-Кутузов, по слухам, «старался доставить графу Аракчееву записку с новыми доносами» [14].

Карамзин не делал тайны из своих планов с изданием «Истории». Более того, явно стремясь создать положительную общественную атмосферу вокруг нее, он впервые решился на публичные чтения отрывков. Было по меньшей мере восемь таких выступлений: трижды у мецената, известного любителя древностей графа Н. П. Румянцева, дважды — в «Арзамасе», по одному разу у А. И. Тургенева, в салоне графини А. Г. Лаваль и, наконец, отрывки из восьмого тома в течение более трех часов он читал вдовствующей императрице Марии Федоровне. «Действие удовлетворяло моему самолюбию»,— сообщает Карамзин жене, с тревогой в Москве ожидавшей вестей. Не приходится сомневаться в словах историографа. Даже спустя много лет А. С. Стурдза, не утративший настороженного отношения к Карамзину как «либералу», вспоминал, что во время таких «домашних чтений» «везде сыпались на автора похвалы, которые он принимал без услады и восторга, просто, с неподражаемой добродетелью» [15].

И все же, несмотря на успех таких чтений, главное, чего добивался Карамзин — встречи с императором, откладывалось. Не раз до историографа доходили слухи, что Александр I вот-вот готов принять его, не раз он специально в течение дня не уходил из дома, любезно предоставленного Е. Ф. Муравьевой, женой покойного друга и покровителя М. Н. Муравьева; надежды и ожидания оказывались тщетными. В письмах к жене Карамзин уже не скрывал своей обиды и, возможно, в расчете на то, что их прочитают уже на Петербургском почтамте, демонстративно говорил, что его «держат здесь бесполезно и почти самым оскорбительным образом» [16]. Все больше познавая петербургскую околодворцовую атмосферу, напоминая себе о «собственном нравственном достоинстве», он уже готовился к возвращению в Москву, где мечтал продолжить работу. «Всем, кто желает меня слушать, говорю, что у меня одна мысль — об отъезде. Меня засы-

пают розами, но ими душат. Такого образа жизни не могу я долго вести. Я слишком на показе, я слишком говорю»,— сообщал Карамзин жене [17].

Тем временем появилась, на взгляд многих, приемлемая альтернатива намерениям Карамзина: граф Н. П. Румянцев, широко финансировавший исторические разыскания, в том числе публикации исторических источников и сочинений, предложил историографу в случае отказа Александра I 50 тыс. руб.— сумму, достаточную для издания «Истории», с единственным условием: поставить на книге свой герб. В тяжелые для себя дни Карамзин решил быть последовательным в своих планах, отклонив столь лестное для десятков других исследователей предложение отставного министра и государственного канцлера. Мотив был все тот же: «честь» историографа требует только «высочайшего позволения» на печатание, главное в издании «Истории» не деньги, а официальная санкция императора. В письмах к жене эта мысль сформулирована категорически: «Я рад, что у нас такие бояре, но скорее брошу свою „Историю" в огонь, нежели возьму 50 тысяч от партикулярного человека. Хочу единственно должного и справедливого, а не милостей и подарков» [18].

Обстановку вокруг Карамзина и его труда в это время рисуют воспоминания декабриста Ф. Н. Глинки. Председатель и активный сотрудник Вольного общества любителей российской словесности — одного из легальных преддекабристских объединений, он, познакомившись в Петербурге с историографом, считал своим долгом сообщать ему «взгляды разных партий и значительных единиц» на «Историю». Как пишет Глинка, «об ином Николай Михайлович уже слышал и знал, о другом догадывался, а некоторые вещи были для него еще новы. Уже обе государыни были на стороне Карамзина, многие влиятельные особы стояли за него, но все чего-то недоставало» [19]. «Не доставало», как свидетельствует тот же Глинка и о чем прямо говорили Карамзину его петербургские друзья, рекомендации перед Александром I всесильного временщика графа А. А. Аракчеева. Карамзин и сам прекрасно понимал это: еще накануне своей поездки в Петербург он с горькой иронией констатировал в письме к брату, что в России теперь только Аракчеев — единственный и всемогущий вельможа. Между тем у Аракчеева могли быть основания для неприязни к Карамзину: по некоторым данным [20], он был знаком с «Запиской о древней и новой России», где карамзинская критика ми-

нистров Александра I распространялась и на него как военного министра.

Отправляясь в Петербург, Карамзин в решении волновавших его вопросов уповал на волю провидения. Теперь же у этого провидения оказывалось вполне реальное лицо, представленное одной из самых мрачных фигур царствования Александра I. Нежелание историографа заручиться поддержкой временщика явственно видно в его переписке с друзьями и близкими. Это не было позерством, скорее, продиктовано неким «кодексом чести историографа», которому Карамзин демонстративно старался следовать и в дальнейшем. «Чего же мне ждать?» — спрашивает он в одном из писем к жене. И отвечает, словно бы успокаивая и себя тоже: «Уважения твоего и собственного. Я никого не хочу оскорбить грубостью, но мое ли дело идти криво» [21]. Дальнейшие события оказались примечательными для понимания позиции Карамзина: Аракчеев сам пригласил к себе уже вконец отчаявшегося, но гордого независимостью историографа. Встреча оказалась короткой, но многообещающей: граф заявил, что будет ходатайствовать перед Александром I о приеме Карамзина.

16 марта после более чем полуторамесячных хлопот Карамзина принял император. По свидетельству историографа, Александр I был любезен и подчеркнуто деловит в решении вопроса с изданием «Истории». В тот же день Карамзин был произведен из коллежских советников в статские, пожалован орденом Святой Анны первой степени, получил из императорского кабинета на издание «Истории» 60 тыс. руб. Все это автоматически избавляло его от цензуры. Средства от будущей продажи «Истории» поступали в полное распоряжение автора. Кроме того, на весенние и летние месяцы Карамзину предоставлялся домик в Царском Селе, где находилась одна из резиденций правящей династии. Таков был щедрый жест императора, даже не успевшего ознакомиться в рукописи с трудом Карамзина.

В этом был очевиден политический расчет. Заигрывание с общественным мнением, заявления о внимании к просвещению нередки в царствование Александра I. Пожертвования на дела науки и культуры были призваны демонстрировать заботу императора о делах просвещения, подчиняя их задачам укрепления авторитета самодержавной власти. На средства, выделенные из императорского кабинета, был издан целый ряд книг, в том числе и сыг-

равших положительную роль в развитии отечественной науки и просвещения. Но на фоне таких пожертвований эпизод с «Историей» выглядел необычно. Следует прислушаться к словам близкого друга Карамзина, бывшего министра юстиции И. И. Дмитриева о том, что «ни один из наших монархов не награждал с таким блеском авторские заслуги и ни один из наших писателей не был отличен столь почестью», хотя, подчеркивает он, Карамзин к этому и не стремился [22].

Случай с Карамзиным послужил поводом для очередного потока славословий в адрес монарха. (Монаршья благотворительность сыграла политическую роль.) Современникам было наглядно показано, как может самодержец «облагодетельствовать» верноподданного. С неподдельным изумлением об этом неофициально сообщал Карамзину до указа Александра I даже министр внутренних дел О. П. Козодавлев [23]; вскоре как о сенсационной новости то же писал в Лондон графу С. Р. Воронцову его петербургский корреспондент Н. М. Лонгинов [24]. Впрочем, по позднейшему свидетельству графа Д. Н. Блудова [25], это щедрое поощрение последовало не за восемь томов «Истории», а за «Записку о древней и новой России», по-прежнему остававшуюся неизвестной широкому кругу современников.

Итак, несмотря на медленное продвижение к цели, Карамзин имел в конце концов все основания быть удовлетворенным своей поездкой. В мае 1816 г. он переезжает вместе с семьей в Петербург, намереваясь прожить здесь не более двух лет, в течение которых думает покончить с типографскими хлопотами. Лето проходит в окончательной доводке написанного и в поисках типографии. Последнее оказалось делом нелегким: то не удовлетворяла высокая цена за печатание, то качество набора. Историограф был уже готов махнуть на это рукой и вновь перебраться в Москву, где находилась давно знакомая ему типография С. А. Селивановского, как вдруг Александр I вновъ делает широкий жест. По свидетельству Карамзина, он «без моей просьбы» «велел» печатать «Историю» в типографии Военного министерства.

Однако после передачи рукописи в типографию Военного министерства ее набор по распоряжению генерала А. А. Закревского был приостановлен. Закревский потребовал публичной цензуры рукописи. Сохранилось письмо Карамзина к министру духовных дел и просвещения князю А. Н. Голицыну, отразившее этот любопытный эпи-

зод в истории печатания труда историографа. Карамзин, ссылаясь на высочайшее позволение, а также на то, что академики и профессора не отдают своих сочинений в публичную цензуру, просил помощи императора в освобождении своего труда от «плена в руках татар». Одновременно он заверял в благонамеренности «Истории». Государственный историограф, пишет Карамзин, «должен разуметь, *что* и *как* писать; собственная его ответственность не уступает цензорской; надеюсь, что в моей книге нет ничего против веры, государя и нравственности; но, быть может, что цензоры не позволят мне, например, говорить свободно о жестокости царя Ивана Васильевича. В таком случае, что будет история» [26]. Письмо Карамзина возымело надлежащее действие: 23 октября 1816 г. А. Н. Голицын сообщил ему, что он «докладывал императору в рассуждении печатания Вашей Российской истории, и его императорское величество высочайше указать соизволили печатать оную без цензуры, каковая высочайшая воля сообщена уже мною кому следовало для исполнения» [27].

Конфликт с типографией Военного министерства был лишь пиком тех «недоразумений», которые продолжались и позже. «Типография,— писал Карамзин И. И. Дмитриеву,— смотрит на меня медведем» [28]. Закревский выделил на издание самую худшую по качеству бумагу. Об этом, как о событии возмутительном, сообщал в Лондон графу С. Р. Воронцову уже упоминавшийся Лонгинов. «Недавно,— писал он,— я присутствовал на последнем урегулировании, сделанном Карамзиным и Закревским по изданию I тома „Истории". Закревский особенно старательно заботился, чтобы выбрать мерзейшего качества бумагу и наиболее черную, на том основании, что она стоит только 13 рублей. Эта скупость меня возмутила» [29]. Вскоре добавились медленный набор и отсутствие достаточного количества шрифта. Печатать «Примечания» пришлось разными шрифтами. Недовольный Карамзин для ускорения издания передал часть томов в две другие типографии: Медицинского департамента и Сената. «Я рад несказанно,— писал в связи с этим эпизодом А. И. Тургеневу В. А. Жуковский,— тому неудовольствию, которое наш арзамасский патриарх имел с типографией: оно разлучило его с нею и передало его „Историю" в верные руки» [30]. У историографа мелькала мысль даже об издании труда без «нот», т. е. без «Примечаний», составлявших более половины объема «Истории», но, по при-

знанию И. И. Дмитриеву, в конце концов он на это не набрался духу. Затруднения с печатанием свидетельствуют о том, что дело с изданием «Истории» было далеко не таким безболезненным, как иногда пытаются представить [31]. В их основе лежали если не политические, то уж, во всяком случае, какие-то личные мотивы недоброжелательного отношения к Карамзину. Для себя после этого Карамзин сделал вывод: «многие ждут моей „Истории", чтобы атаковать меня. Она же печатается без цензуры» [32].

Утомительное чтение одновременно корректур нескольких томов, встречи и споры с молодыми «либералистами» из «Арзамаса», которые, несмотря на кардинальные расхождения с Карамзиным во взглядах на пути развития России и Европы, тянулись к маститому писателю и ученому, светские приемы и посещения — таков образ жизни историографа в последующие годы. Все более тесными становились и контакты с императорской семьей, которые, впрочем, сам Карамзин не был склонен идеализировать.

В сентябре 1817 г. для вдовствующей императрицы Марии Федоровны Карамзин написал «Записку о московских достопамятностях». Этот интересный публицистический документ мало привлекал внимание исследователей. Учитывая ту роль, которую он сыграл в развертывании полемики вокруг «Истории», мы остановимся на нем подробнее.

Вдовствующей императрице, отправлявшейся в Москву с царской семьей на закладку храма в честь победы над Наполеоном, Карамзин советует посетить Кремль, где «среди развалин порядка гражданского возникла мысль спасительного единодержавия..., воспылала ревность государственной независимости..., началось и утвердилось самодержавие» [33], осмотреть московские архивы и библиотеки, а также Кунцево, села Архангельское и Тайнинское. Историограф напоминает страницы истории этих мест, отмечая неудовлетворительное состояние многих исторических памятников: «гниет и валится» дом А. Л. Нарышкина в Кунцеве, на месте дворца Елизаветы Петровны в Тайнинском «в саду — полынь и крапива, а в прудах — тина» [34]. Он вспоминает, как сам когда-то искал здесь вдохновения для исторических занятий, а недалеко от Симонова монастыря сочинял в далекой молодости «Бедную Лизу» — «сказку весьма незамысловатую, но столь счастливую для молодого автора, что тысячи

любопытных ездили и ходили туда искать следов Лизиных»[35].

Много внимания в этой «Записке» Карамзин уделяет современному состоянию Москвы. Он отмечает «развалины», в которых находится Московский университет, когда-то, по его мнению, бывший для России «полезнее Санкт-Петербургской Академии». Решительное осуждение вызывает у него задуманное по проекту архитектора Витберга строительство на Воробьевых горах храма в честь победы в 1812 г. «Ныне,— пишет он,— как слышно, хотят там строить огромную церковь. Жаль! Она не будет любоваться прелестным видом и покажется менее великолепною в его (города.— *В. К.*) великолепии. Город, а не природа украшается богатою церковью. Однажды или два раза в год народ пойдет молиться в сей новый храм, имея гораздо более усердия к древним церквам. Летом уединение, зимой уединение и сугробы снега вокруг портиков и колонад: это печально для здания пышного»[36].

Примечательны заключительные слова «Записки о московских достопамятностях», где Карамзин, определяя место Москвы в государственном организме России, резко противопоставляет бывшую столицу новой — Петербургу. Здесь нет прямого осуждения основания Петром I столицы на берегах Невы, как было в «Записке о древней и новой России». Однако из сравнения недавнего прошлого и современного положения Москвы и Петербурга становятся очевидными симпатии историографа. Именно Москва, по его мнению, являясь «средоточием царства, всех движений торговли, промышленности, ума гражданского», давая стране и «товары, и моды, и образ мыслей», всегда будет настоящей столицей государства. «Ее (Москвы.— *В. К.*) полуазиатская физиогномия, смесь пышности с неопрятностию, огромного с малым, древнего с новым, образования с дикостью представляет глазам наблюдателя нечто любопытное, особенное, характерное. Кто был в Москве, тот знает Россию»[37]. Жители древней столицы, по мнению Карамзина, привержены старине, неизменны в своих мыслях в пользу самодержавия и нетерпимы к «якобинцам». В отличие от Москвы, где «не в мыслях, а в жизни» полная свобода, Петербург представляется историографу средоточием легкомыслия и праздности. Здесь, пишет он, «умы развлечены двором, обязанностями службы, исканиями, личностями».

Этот невинный на первый взгляд путеводитель для императрицы по Москве представлял собой очередной от-

клик историографа на события внутренней жизни России. Исторические, литературные, автобиографические пассажи Карамзина носили едва скрытую символику. В рассуждениях о строительстве храма на Воробьевых горах слышался упрек: вместо того чтобы тратить громадные средства на «пышный» памятник, лучше бы употребить их на восстановление разрушенного захватчиками. Москва, словно бы говорил историограф, а вместе с ней и вся Россия требуют после свалившихся бед не прославления, а активной деятельности в преодолении последствий войны с Наполеоном. В противном случае храм на Воробьевых горах может стать не памятником победы, а символом расточительства, нетерпимого в условиях тяжелого положения государства.

Примечательны и рассуждения Карамзина о Москве и Петербурге. Они отразили его отношение по крайней мере к двум злободневным проблемам. Среди общественности того времени живо дискутировался вопрос о переносе столицы, в частности в Нижний Новгород. В проекте так называемой Уставной грамоты — конституции, разрабатывавшейся по указанию Александра I, Нижний Новгород предполагалось сделать столицей Российской империи. Этот же город провозглашался столицей и в конституционном проекте декабриста Н. М. Муравьева. Карамзинская «Записка о московских достопамятностях» содержала вполне однозначное отношение к подобным планам: только Москва, как символ русской государственности, может быть «истинной» столицей России. Именно поэтому историограф противопоставляет Москву и Петербург как носителей двух разных государственных начал — испытанного жизнью самодержавного и навеянного модными новейшими учениями республиканского. Несомненно, что в последнем случае Карамзин имел в виду своих молодых петербургских оппонентов, пылавших (как он писал И. И. Дмитриеву) «свободомыслием». Историограф прозрачно намекал на то, что и сам он некогда был под влиянием утопических построений, которым, как теперь ему кажется, «можно было удивляться единственно в мыслях, а не на деле» [38]. Петербургу он противопоставляет патриархальные нравы жителей Москвы и жизненный опыт «мудрых старцев», когда-то также не избежавших республиканских увлечений, но теперь рассуждающих с позиций прожитого в пользу самодержавных устоев.

«Записка о московских достопамятностях», как и «Запи-

ска о древней и новой России», вновь свидетельствовала об оппозиции Карамзина к отдельным мероприятиям правительства Александра I. Более того, в рассуждении о храме на Воробьевых горах она прямо осуждала императора, который еще в 1812 г. принял решение о строительстве храма в случае победы над Наполеоном. Вместе с тем «Записка» реагировала на новые сдвиги в общественном сознании России — появление и оформление декабристской идеологии, широкое распространение либеральных конституционных идей, которые Карамзин, хотя и без воинствующей неприязни, поспешил объявить беспочвенными, иллюзорными мечтаниями, присущими каждому мыслящему человеку лишь в молодости.

К началу 1818 г. печатание «Истории» было закончено, и в феврале этого года все восемь томов одновременно поступили в продажу [39]. Здесь нет нужды подробно говорить о резком усилении в русском обществе первой четверти XIX в. интереса к отечественной истории, особенно после 1812 г. Факт этот общеизвестен [40] и связан с процессами национального развития.

Одним из показателей этого интереса можно считать тиражи исторической литературы, которые определялись читательским спросом, являвшимся их своеобразным регулятором. Если исключить учебную литературу по истории, то можно увидеть: тиражи исторической литературы колебались в пределах от 300 до 1200 экз. Такие тиражи имели, например, исторические издания Румянцевского кружка [41] и Московского университета [42]. Средний тираж книг по истории в это время составлял 600 экз. По свидетельству современников, при условии его полной реализации достигалась не только самоокупаемость, но и прибыльность изданий — тот «гонорар», к которому все более проявляли интерес авторы. Эта цифра (600 экз.) соответствует приблизительному числу лиц (около 592 человек), писавших на исторические темы в 1789—1825 гг. Такой тираж мог удовлетворять каждого сотого грамотного человека России, хотя процесс реализации тиражей ряда книг по истории даже при хорошо налаженном сбыте иногда затягивался на многие годы. В основном это была специальная литература.

На этом фоне издание и реализация «Истории» Карамзина оказались явлением уникальным. Ее тираж составил 3 тыс. экз. Решившись на такой тираж, в пять раз превышавший самоокупаемость изданий того времени, Карамзин шел на известный риск: продажа книги могла за-

тянуться. Ведь спрос даже на популярные историко-литературные и литературные журналы при отлаженном их сбыте удовлетворялся тиражами до 1200 экз. (в лучшем случае). Для сравнения укажем, что другая замечательная книга, печатавшаяся одновременно с «Историей» и выдержавшая еще одно издание,— «Опыт теории налогов» Н. И. Тургенева первоначально вышла в свет тиражом в 600 экз.

В соответствии с существовавшей практикой еще в 1817 г. на «Историю» была объявлена подписка. К декабрю 1817 г., по свидетельству Карамзина, вне Петербурга подписчиков было «за 400». Учитывая данные о числе подписчиков в это время на другие издания, можно предположить, что общее число подписчиков на «Историю» не могло значительно превышать 500. Так, например, в 1819 г. на журнал «Соревнователь просвещения и благотворения» подписались 260 человек, на журнал «Благонамеренный» в том же году — 262, журнал «Улей» в 1811 г.— 131, журнал «Украинский вестник» в 1816 г.— 226, «Журнал древней и новой словесности» в 1818 г.— 117 человек. Книга Т. Воздвиженского «Историческое обозрение Рязанской губернии» в 1822 г. имела около 350 подписчиков, а монография Г. И. Успенского «Опыт повествования о древностях русских», вышедшая в 1818 г. вторым изданием в Харькове,— свыше 572 подписчиков (почти половина экземпляров попала в учебные заведения в качестве учебного пособия). Таким образом, основной тираж «Истории», очевидно, поступил в непосредственную продажу, причем наиболее значительная его часть — в Петербурге. Часть тиража (не менее 25 экз.) была закуплена Министерством иностранных дел и разослана в русские посольства за границей [43].

Все восемь томов «Истории» продавались по цене от 50 до 55 руб. Для сравнения можно привести цены на другие книги этого времени. Так, например, издание переведенных И. И. Мартыновым сочинений греческих классиков по подписке стоило 67 руб., годовые подписки на журналы (в зависимости от переплета и качества бумаги) «Северный архив» — от 40 до 45 руб., «Отечественные записки» — от 25 до 30, «Соревнователь просвещения и благотворения» — от 30 до 37 руб. 12 частей «Русской истории» С. Н. Глинки продавались по цене 50 руб. и т. д. Таким образом, цена труда Карамзина соответствовала средним ценам на книжном рынке России 10—20-х годов XIX в.

Книготорговый успех «Истории» оказался впечатляющим: тираж был реализован менее чем за месяц, что как явление «беспримерное» отметили многие современники, в том числе не без удивления и сам Карамзин. Авторитетное и хорошо известное свидетельство А. С. Пушкина передает тот ажиотаж, который охватил в первую очередь петербургское общество [44]. С восторгом, но не без иронии об этом сообщал в Варшаву князю П. А. Вяземскому И. И. Дмитриев: «История нашего любезного историографа у всех в руках и на устах: у просвещенных и профанов, у словесников и словесных, а у автора уже нет ни одного экземпляра. Примерное торжество русского умоделия» [45]. По свидетельству В. Л. Пушкина, и в Москве «История» быстро раскупалась, причем «дорогой ценою». В одной из первых заметок об «Истории» автор сообщил, что теперь ее можно достать «с великим трудом и за двойную почти цену» [46]. По воспоминаниям декабриста Н. В. Басаргина, тома «Истории» переходили из рук в руки в Училище колонновожатых.

Современников поражала и быстрая распродажа, и полученный автором многотысячный гонорар. Историограф свидетельствует, что сверх проданного тиража были получены заявки еще на 600 экз. Карамзин согласился с предложением петербургских книготорговцев братьев Слёниных о продаже им права второго, исправленного издания «Истории» за 50 тыс. руб. с рассрочкой выплаты на пять лет (дéла, как вспоминал декабрист В. И. Штейнгель, «небывалого в России»), хотя и скептически был настроен в отношении его сбыта. Если исходить из самых приблизительных подсчетов, то можно заключить: продажа восьми томов с вычетом суммы, затраченной на издание (около 10 тыс. руб.), принесла Карамзину не менее 130—140 тыс. руб. чистого дохода, к которому надо прибавить 50 тыс. руб. Слёниных. Таким образом, получив за восемь томов «Истории» около 180—190 тыс. руб. чистого дохода, историограф мог с полным основанием порадовать своих друзей — это по меньшей мере на пять лет успокоило его «экономическую заботливость».

В апреле 1818 г. в известной петербургской частной типографии Н. И. Греча начался набор второго издания. Первый том его увидел свет в том же году, восьмой — спустя два года [47]. Наряду с подпиской продажа этого издания осуществлялась уже не только в Петербурге, но и в Москве, Киеве, Митаве по более высокой (от 75 до 80 руб.), чем первое издание, цене. Распродажа была,

очевидно, уже не столь впечатляющей, как и предвидел Карамзин. По свидетельству К. А. Полевого, второе издание «осело» у Слёниных и «окончательно было продано уже после смерти» братьев [48].

Необычно стали развиваться и последующие события. Почти одновременно с выходом первого издания «Истории» известный немецкий писатель и драматург А. Коцебу опубликовал в издававшемся им в Германии журнале отрывки из труда Карамзина и объявил о намерении осуществить его перевод полностью на немецкий язык. В Россию стали поступать проспекты переводов «Истории» из Парижа (известными литераторами Фюсси-Лаисне и Жюльеном) — на французский язык, Брауншвейга (писателем Солтау) — на немецкий и Варшавы (Г. Бучинским) — на польский. Позже начались переводы труда Карамзина на греческий, итальянский, английский языки [49]. «Не знаю, куда деваться от переводов моей „Истории"...,— писал Карамзин в августе 1818 г. Дмитриеву.— Я их не искал» [50]. Обеспокоенный качеством этих переводов, он решил принять участие в подготовке русских изданий французского перевода, к которому приступили в Петербурге Жофре и Сен-Тома [51], и немецкого, осуществлявшегося уже со второго издания «Истории» директором Царскосельского лицея Гауэншильдом совместно с доктором философии Эртелем [52]. В 20-е годы знатоком китайского языка З. Ф. Леонтьевским был сделан популярный перевод первых трех томов труда Карамзина на китайский язык. Перевод остался в рукописи [53]. Наконец, в 1826 г. известный сербский деятель Г. Магарешевич, опубликовав третью главу первого тома «Истории», объявил о своем намерении перевести на сербский язык и издать все сочинение Карамзина. Подобного успеха за рубежом не знал до этого ни один отечественный исторический труд.

Общественный и литературный резонанс первых восьми томов «Истории» оказался настолько значительным, что даже Российская академия, давний оплот литературных противников Карамзина, долгое время игнорировавшая его как возможного кандидата в ее члены, в том же, 1818 году избрала историографа в свой состав, хотя и на «упалое место», т. е. на вакансию умершего Г. Р. Державина. А в декабре 1818 г. произошло событие и совсем из ряда вон выходящее: по предложению президента академии А. С. Шишкова Карамзин выступил здесь с речью [54].

Речь Карамзина затрагивала широкий круг литературных и общественно-политических вопросов. Она содержала его размышления о путях и судьбах развития русской литературы, критики, их роли в жизни общества, в развитии национального самосознания. Речь историографа, пожалуй, как никакое другое его сочинение периода работы над «Историей», была проникнута оптимизмом, искренней верой в могущество своей страны, в будущее величие ее науки и культуры. Великолепная по стилю, она явилась поистине как откровение его дум и мечтаний.

Россия, говорил Карамзин, после Петра I стала европейским государством. Всякие сожаления об этом бесполезны, как бы ни относиться к допетровской Руси, как бы ни превозносить близкие русскому сердцу и уму патриархальные устои, спасавшие ее в тяжелые времена. Толчок развитию страны по новому пути, данный петровскими преобразованиями, оправдал себя. Русское государство укрепило свое могущество и величие. Но, предупреждал историограф, величие государства не сводится только к его военной мощи, способной устрашать соседей. «Для того ли образуются, для того ли возносятся державы на земном шаре, чтобы единственно изумлять нас грозным колоссом силы и его звучным падением, чтобы одна, низвергая другую, чрез несколько веков обширною своею могилою служила вместо подножия новой державе, которая в чреду свою падет неминуемо?» [55]. Цель общественного бытия заключается в том, чтобы создать условия для максимального раскрытия способностей человека, будь то землепашец, писатель, ученый, удовлетворения его чаяний. Не грозной военной силой, изменчивой, как показывает история, должно славиться государство, а созданием возможностей для «раскрытия великих способностей души человеческой», являющихся, в свою очередь, основой прогресса не только отдельных народов, но и всего человечества, приводящих к сближению всех народов. Обходя вопрос о крепостном праве, Карамзин в своей речи, по существу, провозгласил типичную для идеологии просветителей идею просвещения как главную цель и основу человеческого прогресса.

Успех первых восьми томов «Истории» стал для Карамзина той важной поддержкой, которая дала ему новые силы для дальнейшей работы. Внешне он старался подчеркнуто безразлично относиться к тому потоку устных и письменных суждений, который вызвал его труд. В та-

кой позиции одни видели высокомерие, другие — молчаливое согласие, третьи — стремление быть выше сиюминутных споров, не лишенных, быть может, личного пристрастия [56]. Терпимость к похвалам и критике, недоверчивое, устало-скептическое отношение к идеям молодых «либералистов», атаковавших его на заседаниях «Арзамаса», в Английском клубе, в салонах и гостиных и даже в собственной квартире и царскосельском домике во время дружеских приемов, подчеркнутая независимость в сношениях со столичной знатью, в суждениях о политических проблемах во время все более учащавшихся встреч с Александром I,— кажется, так представляется общественная позиция Карамзина в это и последующее время. Это подтверждают откровенные, проникнутые светлым чувством дружбы письма к И. И. Дмитриеву, а также многочисленные и единодушные свидетельства современников, которым положение историографа, говоря словами известного мемуариста Ф. Ф. Вигеля, казалось «самое возвышенное, от всех отдельное, недосягаемое для интриг и критики» [57].

В декабре 1820 г. Карамзин закончил работу над девятым томом «Истории». В нем повествовалось о второй половине царствования Ивана Грозного, характеризовавшейся историографом «ужасной переменой в душе царя и судьбе царства». В томе впервые в труде Карамзина (но не впервые в отечественной исторической и художественной литературе, не говоря уже о зарубежной) ставилась и развивалась тема деспотизма и тирании как извращения идеи самодержавной власти. Карамзин не мог не предвидеть, что общественный резонанс на том окажется еще большим, чем на первые восемь томов. В этом он мог убедиться хотя бы 8 января 1820 г., когда отрывки из него прочитал в присутствии около 300 человек на торжественном заседании Российской академии. Слушатели были поражены услышанным; не случайно само чтение в академии стало возможным только после того, как ее осторожный президент предварительно согласовал тему выступления с Александром I. После выступления по Петербургу стали носиться слухи о неком «мнении», согласно которому написанное Карамзиным печатать преждевременно. Так, например, в июле 1820 г. Н. И. Тургенев писал брату Сергею, что в Петербурге «многие находят, что рано печатать историю ужасов Ивана царя» [58]. «Здесь кто-то разгласил», сообщал Карамзин Дмитриеву, что девятый том даже «запрещен» [59].

Историографа долго не покидали сомнения в решении издавать этот том. «Меня что-то останавливает,— делился он с Дмитриевым.— Дух времени не есть ли ветер. А ветер переменяется. Вопреки твоему мнению, нельзя писать так, чтобы невозможно было прицепиться» [60]. Сомнения рассеялись, когда сам император в одной из бесед с Карамзиным в соответствии с «духом времени» заверил его, что он «не расположен мешать исторической откровенности». Ознакомление министра внутренних дел В. П. Кочубея с письмом Голицына 1816 г., разрешавшим издание первых восьми томов без цензуры, решило судьбу девятого тома: 9 ноября 1820 г. Кочубей сообщал Карамзину, что относительно издания продолжения его труда «дано уже содержателю типографии господину Гречу надлежащее разрешение» [61]. На том вновь была объявлена подписка. В конце мая 1821 г. он поступил в продажу [62] и начал рассылаться через Петербургский почтамт подписчикам по цене 15 руб., а вместе с восемью томами второго издания по цене 87 руб. в Петербурге, 95 — в Москве и 100 — в других городах. Насколько успешной была реализация девятого тома, нам ничего неизвестно.

А между тем Карамзин «спешил к цели» — «посадить Романовых на трон и взглянуть на его потомство до нашего времени, даже произнести имя Екатерины, Павла и Александра с историческою скромностию». В марте 1821 г. он приступил к работе над десятым томом, в августе того же года был «весь в Годунове», в сентябре начал описание событий, связанных со смертью царевича Дмитрия. В начале 1822 г. историограф «приблизился к концу Феодорова царствования», а в ноябре работал над главами, связанными с событиями времени правления Лжедмитрия. В конце этого года Карамзин отказался от первоначального намерения издать один десятый том: «...лучше, кажется,— писал он Дмитриеву,— дописать историю Самозванца и тогда выдать уже полную: в царствование Годунова он только начинает действовать» [63].

Верный однажды избранной тактике, Карамзин не упускал возможности публичных чтений отрывков из написанного. Их слушали не только его друзья. В октябре 1822 г. Карамзин читал главу об избрании на царство Бориса Годунова в салоне вдовствующей императрицы Марии Федоровны, и, по его словам, «гатчинское общество не дремало» [64].

Наконец, 14 января 1823 г. состоялось еще одно чтение в Российской академии. Если не обеспокоенный, то уже, во всяком случае, заинтригованный откликами на девятый том и чтения отрывков из десятого, теперь и Александр I вспомнил свои права «державного цензора» и изъявил желание познакомиться с написанным Карамзиным.

В феврале 1823 г. он потребовал рукопись десятого тома; позже, отправляясь в Варшаву, забрал главы, посвященные царствованию Годунова и его сына, в январе 1824 г. оставил у себя уже переписанные набело главы о Лжедмитрии.

Судя по сохранившимся отрывочным сведениям, замечания Александра I в первую очередь касались смягчения сюжетов, отличавшихся в то время острым политическим звучанием. Об одном из них, имевшем принципиальное значение для историко-публицистической концепции Карамзина относительно царствования Федора Ивановича, историограф сообщал Дмитриеву в надежде на то, что испытанный друг поймет его с полуслова.

Дело в том, что описание царствования Федора Ивановича у Карамзина оказалось удивительно «похожим» на первые годы царствования Александра I. Слабовольный Федор невольно для современников Карамзина ассоциировался с Александром I; путь к власти Бориса Годунова напоминал положение и карьеру М. М. Сперанского до 1812 г. и т. д. Готовя десятый том, Карамзин провел аналогию еще дальше. К этому времени на правительственный курс Александра I начало оказывать сильное влияние реакционное духовенство, лидерами которого являлись петербургский митрополит Серафим и настоятель Новгородского Юрьева монастыря Фотий. Отношение к ним со стороны Карамзина было однозначно отрицательным. Стремясь преподнести из прошлого «урок» императору, Карамзин вставил в текст «Истории» мысль о том, что «слабый Федор должен был зависеть от вельмож *или* (подчеркнуто нами.— *В. К.*) монахов». На это немедленно обратил внимание Александр I: «...последнее,— писал он в передаче Карамзина,— не оскорбит ли нашего черного духовенства?» [65]. В печатном тексте фраза чуть изменена с сохранением ее основного смысла. Оставлены и другие, на которые обратил внимание император, исключая неизвестные нам поправки Карамзина «в двух местах». Сохранился один из ответов Карамзина на замечания Александра I. «Следуя вашему милостиво-

му замечанию,— писал историограф,— я с особенным вниманием просмотрел те места, где говорилось о поляках, союзниках Лжедмитрия; нет, кажется, ни слова обидного для *народа*, описываются только худые дела лиц и так, как сами польские историки описывали их или судили: ссылаюсь на 522 примечание XI-го тома. Я не щадил и русских, когда они злодействовали или срамились. Употребляю предпочтительно имя ляхов для того, что оно короче, приятнее для слуха и в сие время (то есть в XVI и в XVII в.) обыкновенно употреблялось в России» [66].

К концу 1823 г. у Карамзина сложилось окончательное представление о структуре оставшейся части «Истории»: в десятый том он включил события царствования Федора Ивановича с главой о состоянии России в XVI в., в одиннадцатый — главы о царствовании Бориса Годунова, Лжедмитрия и об избрании на царство Василия Шуйского. Последний, двенадцатый том должен был содержать описание событий начала XVII в. до избрания на царство Михаила Романова. В ноябре 1823 г. десятый и одиннадцатый тома были сданы в набор. В марте следующего года они поступили в продажу по 20 и 30 руб. (в зависимости от качества бумаги) [67].

О распродаже этих томов сохранилось несколько свидетельств. 14 марта 1824 г. А. И. Тургенев писал П. А. Вяземскому: «На Семеновском мосту только и встречаешь, что навьюченных томами Карамзина „Истории“. Уже 900 экземпляров в три дня продано» [68]. Но уже 25 марта тот же Тургенев сообщал своему корреспонденту, что Карамзин «очень огорчен холодным разбором его двух томов и в досаде говорил, что перестанет писать „Историю“. Вообрази себе, что по четыре, по пяти экземпляров в день разбирают... Он принужден уступать на срок книгопродавцам... Здесь многие почти ежедневно у Карамзина и не взяли его „Истории“! Другие просят прочесть» [69]. К середине 1824 г. было продано около 2 тыс. экз., а к октябрю 1825 г. от всего тиража у историографа оставались нереализованными 1800 экз., которые он был вынужден сдавать на комиссию по 50—100 экз. в книжные магазины Л. Л. Свешникова, И. В. Слёнина и М. И. Заикина со скидкой до 4% с 1 руб. Таким образом, перед нами явное снижение книготоргового успеха последних томов труда Карамзина по сравнению с восемью первыми (разумеется, если тираж последних двух был равным или незначительно превышал

тираж первых восьми томов, о чем можно только гадать).

Последний, двенадцатый том «Истории» не был завершен. Предчувствуя кончину, Карамзин писал его без «Примечаний», являвшихся важной частью всего труда. Уже после смерти историографа этот том был подготовлен к печати его друзьями и увидел свет весной 1829 г.[70]

Для понимания роли, которую сыграла «История» в общественной жизни России первых десятилетий XIX в., для понимания развернувшейся вокруг нее полемики представляет интерес выявление круга читателей труда Карамзина и географии распространения «Истории» в это время. Единственным источником является список подписчиков, опубликованный при втором издании восьми томов «Истории». Список нельзя признать достаточно репрезентативным. Во-первых, в него включена только часть подписчиков на первое издание, причем, очевидно, наиболее состоятельная, решившая приобрести, кроме первого, и второе издание. Менее состоятельная часть, естественно, довольствовалась первым изданием. Во-вторых, список включает фамилии всего 283 «особ». Даже если предположить, что тираж второго издания был в пределах до 1200 экз., становится очевидным, что список подписчиков составляет всего около четверти общего числа владельцев этого издания. Наконец, нам неизвестно, содержит ли этот список всех подписчиков на второе издание, или же при включении в него фамилий подписавшихся Карамзин исходил из каких-то только ему известных критериев.

И тем не менее анализ списка подписчиков на второе издание «Истории» дает любопытную картину, в какой-то степени типичную для характеристики круга читателей и других историко-литературных произведений этого времени.

Список показывает, что основным читателем «Истории» Карамзина стало дворянство. Дворянство являлось основным читателем и других исторических и историко-литературных изданий этого времени. Анализируя состав подписчиков на «Историю» (а также другие книги и журналы), не следует преувеличивать среди них роль представителей купечества. Многие купцы подписывались на литературу в расчете на ее перепродажу по более высокой цене. Так, например, из четырех купцов, подписавшихся на «Журнал древней и новой словесности» (1818 г.), два приобрели соответственно по 25 и 10 экз.

журнала. Ту же картину мы видим и в подписке на «Историю»: московский купец Н. О. Воробев приобрел 10 экз., купцы П. А. Плавильщиков, И. П. Глазунов, Свешниковы — по 11 экз. Ограниченное число подписчиков из других сословий объясняется, очевидно, ценой книги. Сохранилось любопытное свидетельство М. П. Погодина (выходца из обеспеченной семьи крестьянина-откупщика) о том, как он, студент Московского университета, был вынужден использовать немало уловок для того, чтобы собрать сумму, необходимую для приобретения восьми томов первого издания «Истории». «Пред выходом ее,— вспоминал он,— батюшка подарил мне 80 рублей на образцовые сочинения, и мне совестно было просить у него еще 55 рублей. У меня было только 8 рублей или еще меньше. Я сказал ему, что у меня 35 рублей и что недостает только 20 рублей, он мне дал их. С этими деньгами я пошел к В. Г. И., который очень любил меня, и сказал ему, что у меня недостает 10 рублей для покупки «Истории». Он мне дал 12 рублей, у меня собралось уже 40. Эти 40 рублей отдал я А-ву, попросил его купить, и, зная, что «История» стоит 55 рублей, я сказал ему, что ее можно купить за 35. Если же нельзя, то чтоб он прибавил своих, сколько будет нужно. Но в это время в Москве не было уже ни одного экземпляра, и он мне возвратил 40 рублей. Я выпросил у него взаймы 10 рублей, уверив его, что у одного моего знакомого продается экземпляр, и у меня было 55 рублей. Боже мой! И теперь не могу вспомнить, чего мне стоили эти просьбы, с каким сжатым сердцем подходил я и выговаривал ненавистное в таком случае имя денег... Однако все не удалось: «История» вся уже была раскуплена. Наконец, батюшка написал в Петерб[ург] к одному знакомому, и там уже купили ее за 70 рублей, которые он и заплатил» [71].

Типичной для изданий этого времени оказалась и география подписчиков на «Историю». Среди них мы встречаем жителей не только Петербурга, Москвы, Киева, Харькова, Ярославля, Чернигова, Казани, Тамбова, Вильно, Дерпта и других центров культурной жизни России, но и менее заметных в этом отношении мест, таких, как Ельна, Обоянь, Каменец-Подольский, Браилов, Венев, Бахмут, Кяхта, Кирсанов, Чембар, Иркутск, Омск, Епифань и др.— всего свыше 60 городов и местечек страны. Для сравнения можно, например, указать, что журнал «Благонамеренный» в 1819 г. имел подписчиков из 129 мест, журнал «Соревнователь просвещения и благо-

творения» в том же году — из 105 мест, журнал «Украинский вестник» в 1816 г. — из 81 места, книга Г. И. Успенского «Опыт повествования о древностях русских» — из 99 мест.

Таким образом, книготорговый успех труда Карамзина оказался значительным. На фоне других изданий 10—20-х годов XIX в. «История» выделялась тиражом, быстротой его реализации, переизданием и переводом на иностранные языки. Но все это было лишь частью того, что дало основание современникам назвать издание, распространение и успех «Истории» «феноменом небывалым». О том, какой еще смысл скрывался за этими словами, и пойдет речь в следующих главах.

Глава 2. «Принадлежит истории»

Говоря в предисловии о теме книги, мы отмечали, что главное внимание в ней будет уделено полемике вокруг «Истории государства Российского». Здесь еще раз необходимо подчеркнуть: речь идет именно о полемике, а не только о критике труда Карамзина, о чем много писалось обычно в литературе. Дискуссия вокруг «Истории» — явление более широкое, чем ее критика, более существенное и важное для понимания общественной мысли России первых трех десятилетий XIX в. Однако мы вправе поставить вопрос: была ли полемика в связи с выходом «Истории»? Иначе говоря, был ли спор не только с Карамзиным, но и между его противниками, защитниками и союзниками, существовали ли лагери, соглашавшиеся или расходившиеся с идеями, выводами «Истории», наконец, каковы оказались те особенности обсуждения труда историографа, которые обусловили самостоятельность звучания мнений о нем, о его критиках и защитниках в общественном движении эпохи? Ответы на эти вопросы можно получить только после выявления и классификации сохранившихся источников о восприятии «Истории» ее современниками, выяснения особенностей их возникновения, форм, способов и приемов выражения в них суждений о труде историографа, о мнениях его критиков и защитников.

Две принципиально отличающиеся друг от друга группы источников составляют корпус известных материалов полемики: опубликованные в период издания «Истории» и оставшиеся в это время принадлежностью рукописной традиции. В чем заключается их принципиальное различие, ясно: первая группа отражает процесс полемики в книгах и отечественной периодике, т. е. в рамках подцензурной печати, вторая отражает бесцензурные мнения участников полемики. Подобные обстоятельства предопределили особенности как содержательной части полемических выступлений каждой группы, так и формы выражения, обстоятельства их возникновения. Эти особенности и будут рассмотрены в настоящей главе.

Подцензурные материалы дискуссии составляют ее наибольшую часть. Полемика, начавшись с устных обсуждений труда Карамзина, в первую очередь среди жителей Петербурга и Москвы, очень скоро перешла на страницы книг и отечественной периодики. Это было естественно и неизбежно. Выход «Истории» представлял собой реальный факт общественной жизни России независимо от оценок его значимости современниками, которые в своих духовных исканиях не могли обойти идеи и оценки, содержавшиеся в труде Карамзина. Суждений о них ждали и рядовые читатели: кто из любопытства, кто как дань моде, а кто и надеясь найти ответы на современные проблемы.

Отечественная периодика, переживавшая подъем еще в период работы Карамзина над первыми восемью томами «Истории», живо откликнулась на ее издание. Периодика стала ареной многолетних, пространных и ожесточенных споров о труде историографа. Материалы об этом выявлены нами в 21 издававшемся в 1817—1830 гг. журнале и альманахе. По мере выхода очередных томов «Истории» круг периодических изданий, принимавших участие в их обсуждении, постепенно расширялся. Наряду с уже существовавшими ко времени издания первых томов труда Карамзина периодическими изданиями и альманахами («Сын Отечества», «Вестник Европы», «Благонамеренный», «Украинский вестник», «Соревнователь просвещения и благотворения», «Журнал древней и новой словесности») в полемику постепенно включались вновь созданные («Азиатский вестник», «Казанский вестник», «Московский вестник», «Московский телеграф», «Отечественные записки», «Исторический, статистический, географический журнал», «Северный архив», «Литературные листки», «Северные цветы», «Полярная звезда», «Денница», «Славянин», «Атеней», «Литературная газета», «Литературный музеум») — журналы и альманахи разного издательского статуса (частные, официальные органы правительственных учреждений и общественных организаций), различной общественно-политической и литературной ориентации. В течение 1818—1829 гг., т. е. периода выхода в свет всех двенадцати томов «Истории», в отечественной периодике было помещено не менее 150 материалов, в той или иной степени и форме касавшихся обсуждения «Истории». Распределение этих материалов по годам отчетливо показывает спонтанный и лавинообразный характер их появления как в целом по

всем изданиям, так и в пределах конкретных журналов и альманахов. «Всплески» числа публикаций соответствуют выходу очередных томов «Истории»: первых восьми, девятого, десятого и одиннадцатого, двенадцатого. Их появление, таким образом, становилось своеобразным «катализатором» дискуссии, каждый раз внося в ее обсуждение новые темы.

Значительным оказался и круг авторов, принявших участие в полемике. Наряду с известными в начале XIX в. историками (С. Г. Саларев, М. Т. Каченовский, М. П. Погодин, Н. А. Полевой, З. Ходаковский, Й. Лелевель, Н. С. Арцыбашев, П. М. Строев, С. В. Руссов, Д. Е. Зубарев), журналистами, писателями, поэтами, критиками (П. А. Вяземский, А. С. Пушкин, К. А. Полевой, Н. И. Греч, Ф. В. Булгарин, А. Ф. Воейков, А. Е. Измайлов, Н. И. и А. И. Тургеневы, А. А. Бестужев, И. В. Киреевский, О. М. Сомов, П. И. Шаликов и др.) на страницах периодики мы встречаем и менее заметные, подчас просто малоизвестные имена (Н. И. Бояркин, М. Гусятников, Г. Прандунас и др.).

Дискуссия вокруг труда Карамзина в отечественных журналах и альманахах оказалась представленной разнообразными по форме выступлений материалами, охватив все основные виды журнальных публикаций этого времени.

По широте, серьезности подхода к обсуждавшимся проблемам на первом плане среди них стоят специальные рецензии, посвященные всем, отдельным томам или частям томов «Истории». В этих рецензиях не только содержались попытки общей оценки труда Карамзина или отдельных аспектов его историко-публицистической концепции, но нередко излагались и собственные представления рецензентов на ряд исторических проблем. Среди них выделяются рецензии Каченовского [1], Лелевеля [2], Булгарина [3], Полевого [4], Арцыбашева [5].

Специальные статьи, посвященные отдельным конкретным вопросам, затронутым в «Истории», являясь результатом исследовательской работы их авторов, уточняли, подтверждали или опровергали точки зрения историографа, его критиков и защитников. Наиболее заметными среди них стали работы Ходаковского [6], Арцыбашева [7], Полевого [8], Васильева [9], Погодина [10], Гусятникова [11].

В качестве своеобразной формы выступления в полемике ее участники использовали статьи, прямо не касавшиеся труда историографа, но своим содержанием на-

правленные за или против Карамзина, в поддержку мнений его противников или опровергающие их. К подобному приему прибег, например, Г. И. Спасский, опубликовав рассуждение Словцова об историках [12]. Аналогичный прием использовал Каченовский, поместив в «Вестнике Европы» обширные выписки из различных сочинений о необходимости и пользе критики, которые как бы готовили читателей журнала к будущему разбору на его страницах труда Карамзина и одновременно были направлены против идеи историографа о терпимости критики [13].

Полемика вокруг «Истории» в подцензурной печати отразилась и в получавших признание русских читателей обзорах литературы за определенный период. В них давались оценки не только вышедших томов труда Карамзина, но и тех материалов, которые публиковались в связи с этим. Среди таких обзоров можно назвать статьи А. А. Бестужева [14], Ф. В. Булгарина [15], И. В. Киреевского [16], О. М. Сомова [17].

Постепенно все более определявшиеся позиции участников дискуссии обусловили появление в подцензурной печати материалов, посвященных уже не столько «Истории», сколько оценкам публикаций о ней ее критиков и защитников. Эти материалы доносят до нас живость восприятия труда Карамзина современниками, раскрывают попытки участников полемики обосновать свое место в ней. Наиболее интересны среди них «критики» и «антикритики» А. Ф. Воейкова [18], Н. Д. Иванчина-Писарева [19], М. А. Дмитриева [20], К. А. Полевого [21], С. В. Руссова [22], О. М. Сомова [23].

Особую группу полемических материалов составили письма читателей, критиков к редакторам журналов [24] (от таких писем следует отличать серьезные научные работы, лишь облеченные в эпистолярную форму), сатирические заметки типа фельетонов [25], а также заметки, обычно помещавшиеся в периодике в разделах типа «Краткие известия, выписки, замечания». Все такие материалы представляли собой оперативные отклики на новейшие мнения об «Истории», в которых авторы не стесняли себя ни доказательствами своих точек зрения, ни «тоном» их выражения. Но о том, насколько важную роль играли некоторые из таких публикаций, свидетельствует хотя бы тот факт, что известная заметка А. С. Пушкина об «Истории» и ее первых критиках, в том числе из лагеря декабристов, появилась под заголовком «Отрывки из писем, мысли и замечания» [26].

Среди различных групп материалов полемики в подцензурной печати выделяются и публикации переводов частей, целых рецензий из иностранных журналов, а также библиографических справок о них [27], которые играли особую роль в дискуссии, о чем пойдет речь ниже. К ним примыкают информационные заметки об изданиях переводов труда Карамзина в России и за рубежом с краткими полемическими предисловиями и примечаниями редакторов и переводчиков [28], библиографические заметки о выходящих томах «Истории», подчас с далеко не формальными их аннотациями [29]. Участники полемики в ходе ее использовали публикации заметок об официальных заседаниях Российской академии, на которых Карамзин выступал с чтением отрывков из своего труда [30], издания различных источников, иначе чем историограф, трактующих те или иные события [31]. Различные оценки «Истории» и помещенных по ее поводу материалов содержались в некрологах Карамзину [32].

Однако прозаические «жанры» полемических выступлений уже к моменту выхода «Истории» стали тесными для выражения мнений современников. В ход были пущены и поэтические. В рамках подцензурной печати они представлены посвященными Карамзину стихотворениями К. Н. Батюшкова [33], С. П. Румянцева [34], Н. П. Хвостова [35], П. И. Шаликова [36]. Особенно интересно использование в полемике эпиграмм, басен, сатирических зарисовок, стихотворных посланий, ставших важным агитационным средством в литературной и общественной борьбе тех лет. Наиболее яркие образцы этих «жанров» в подцензурной части полемики были представлены стихотворными сатирическими посланиями П. А. Вяземского к М. Т. Каченовскому [37], С. Т. Аксакова, А. Писарева к Вяземскому, сатирой П. А. Катенина на Карамзина [38] и др.

Мы уже отмечали, что цензурные условия исключали возможность откровенного разговора в опубликованных материалах о достоинствах и недостатках труда Карамзина, а также о многих других животрепещущих вопросах, возникших в процессе его обсуждения. Подцензурный характер этой части материалов полемики определил ряд их особенностей, на которых следует остановиться.

Во-первых, отчасти из-за цензурных условий, отчасти по традиции, не возбранявшейся действовавшими в период полемики цензурными уставами, значительное число материалов дискуссии оказалось анонимными либо

авторы их скрыли себя под псевдонимами. Авторство ряда таких публикаций устанавливается сравнительно точно. В первую очередь это касается работ редакторов и редакторов-издателей журналов и альманахов: в соответствии с существовавшей практикой они их либо не подписывали вообще, либо подписывали инициалами, представлявшими начальные буквы фамилий, имен и отчеств (с разной последовательностью). Поэтому анонимные статьи, заметки и другие материалы, помещенные в таких журналах, как «Вестник Европы», «Московский телеграф», «Московский вестник», «Северный архив», «Отечественные записки», либо подписанные псевдонимами «К.» («К-ий»), «Н. П.», «М. П.» («П.»), «Ф. Б.», «П. С.», можно отнести к авторству соответственно М. Т. Каченовского, Н. А. Полевого, М. П. Погодина, Ф. В. Булгарина, П. П. Свиньина. Подписи типа монограмм, не совпадающие с монограммами редакторов журналов, использовали и другие участники полемики: князь П. И. Шаликов («К. Ш-въ», «К. Ш.»), С. В. Руссов («Р.», «Р***»), А. А. Бестужев («Ал. Бес...жевъ»), И. Васильев («Илрнъ Всльевъ»), Д. Зубарев («Д. З.»), Н. Иванчин-Писарев («Н. И. П.»), А. Леопольдов («А. Л.»). Псевдонимами типа «Ḑixit», «Бенигна», «-Ъ», «Лужницкий старец», «Никодим Недоумко», «Соотечественник» соответственно подписывали свои работы Вяземский, Полевой, Измайлов, Каченовский, Надеждин, А. И. Тургенев. Авторы, использовавшие подобные псевдонимы, широко известны и давно установлены [39].

Ряд псевдонимов был раскрыт позже современниками и самими авторами опубликованных работ. Так, С. Д. Полторацкий автором опубликованного в «Вестнике Европы» под псевдонимом «Ф...Як...въ» разбора послания Вяземского к Каченовскому назвал Ф. Яковлева [40]. Об одном из своих псевдонимов рассказал Вяземский. «Многие статьи мои,— вспоминал он,— написанные в „Телеграфе“, означены подписью Ас., т. е. сокращением слова Асмодей (арзамасское прозвище Вяземского.— *В. К.*)» [41]. Именно этим псевдонимом подписана рецензия на речь Иванчина-Писарева о Карамзине. Однако сам Вяземский предупреждал: «Помнится мне, что после другие Лжеасмодеи присваивали себе мое имя, равно как и звание „Журнального сыщика“, которым я иногда подписывал свои журнальные заметки» [42]. Впрочем, принадлежность рецензии на речь Иванчина-Писарева Вяземскому бесспорна, так как она была включена им в полное собра-

ние своих сочинений [43]. По свидетельству Погодина, им в «Московском вестнике» была инспирирована заметка в виде письма к издателю, которое он написал сам, поставив псевдоним «Z» [44]. По воспоминаниям современников, в «Вестнике Европы» под псевдонимом «Лужницкий старец» выступал брат лицейского товарища А. А. Дельвига (М. Л. Яковлева) П. Л. Яковлев [45], ставший одним из центральных авторов журнала в конце 10-х годов и не обошедший вниманием в целом ряде язвительных отзывов «Историю» Карамзина. Цифровым псевдонимом «200-1» Каченовский скрыл фамилию автора «Послания к Вяземскому» (С. Т. Аксакова) с разбором его сатиры на Каченовского (сам Аксаков в рукописи подписал его буквосочетанием «С. А.») [46].

Существует, однако, группа работ, авторство которых в настоящее время либо спорно, либо просто не представляется возможным установить. Среди них интересная заметка о девятом томе «Истории», присланная в «Вестник Европы» неким «Н. Люброссовым» [47]. В литературе, начиная еще с В. С. Иконникова [48], она без каких-либо оснований приписывается Арцыбашеву. Этот псевдоним встречается в других периодических изданиях, в том числе и более раннего времени, причем однажды под статьей, рьяно отстаивающей крепостнические порядки [49].

Неизвестным остается автор письма об «Истории», скрывший себя под псевдонимом «Житель Девичьего Поля» [50]: И. Ф. Масанов связывает его с именем Погодина [51], хотя приводимые в письме автобиографические сведения (автору 57 лет, он бывший «бригадир», два последних года находящийся в отставке) никак не подходят для начинавшего свою научную деятельность историка.

Нет твердых оснований полагать, что под псевдонимом «Т.» в 1818 г. в «Вестнике Европы» с письмом «От любителя изящных искусств к его другу», содержавшим критику Карамзина, выступил Каченовский [52]. Да и наиболее известную критику «Истории» Карамзина в этом журнале, подписанную псевдонимом «Ф.» [53] и также приписываемую Каченовскому [54], можно рассматривать как отражение только позиций редактора «Вестника Европы», а не принадлежащую ему лично. На это, во всяком случае, наталкивает внимательное прочтение единственного свидетельства, которое используется в литературе как доказательство авторства Каченовского [55].

Неясным остается авторство статьи, помещенной Булгариным в «Северном архиве» под псевдонимом «Московский уроженец А. М.»[56]: С. С. Волк называет ее автором декабриста А. Н. Муравьева[57], С. С. Ланда[58], а за ним М. И. Гиллельсон[59] — редактора «Северного архива».

Неизвестен автор заметки о переводах «Истории» за рубежом, скрывший себя под псевдонимом «N. N.»[60]. Можно предположить, что им был Вяземский, находившийся в Варшаве и имевший возможность получить информацию из европейских стран.

Установление авторства опубликованной части материалов полемики имеет важное значение для конкретизации позиций участников дискуссии. Но в ряде случаев этот вопрос является далеко не принципиальным. Говоря так, мы имеем в виду те случаи, когда источники свидетельствуют о коллективном характере подготовки ряда работ либо об отражении в них позиций определенных группировок, общественных объединений. Так, например, Й. Лелевель готовил свою критику «Истории» вместе с И. Онацевичем, К. Контрымом, И. Н. Лобойко[61]. Последний по его просьбе запросил мнение об «Истории» Ходаковского, часть соображений которого вошла в рецензию Лелевеля[62]. Современный исследователь, касаясь работ Вяземского, помещенных в «Московском телеграфе», справедливо отмечает, что «сотрудничество Вяземского с Н. А. Полевым было столь тесным, что вряд ли представится возможным полностью разграничить их авторство»[63].

Второй особенностью подцензурной части материалов полемики является довольно распространенное расхождение их с подлинными авторскими рукописями. Прежде всего это характерно для тех из них, которые публиковались в периодике. В практике издания журналов и альманахов авторские рукописи проходили по меньшей мере двухступенчатый барьер: редакторскую правку, подчас не согласовывавшуюся с авторами, и цензурные рогатки. К сожалению, из-за того, что документы редакций журналов и альманахов этого времени дошли до нас в фрагментарном виде, мы не можем показать по отношению хотя бы к наиболее интересным материалам полемики «потери» при прохождении этих барьеров. Но и то, что сохранилось, достаточно красноречиво говорит о них. Так, рецензия Лелевеля, написанная на польском языке, была не только опубликована Булгариным в воль-

ном переводе, но редактор-издатель «Северного архива» пошел еще дальше, исключив ряд мыслей автора и добавив в рецензию свои соображения. В частности, из нее были исключены мысли Лелевеля о вреде религиозной нетерпимости историка, об отрицательном отношении античных писателей к деспотизму, ряд сравнений труда Карамзина с сочинением польского историка А. И. Нарушевича [64]. В то же время Булгарин включил в рецензию Лелевеля важную фразу о том, что историческая истина может искажаться от ослепления «политическими мнениями» [65]. Сохранившаяся рукопись «Московского вестника» со статьей Вяземского против Арцыбашева показывает, насколько решительно члены редакции — М. П. Погодин и С. П. Шевырев — правили эту работу, смягчая имевшиеся в ней оценки и вставляя свой текст [66].

Не менее существенными были и цензурные правки. Так, например, со значительными купюрами увидело свет послание Вяземского к Каченовскому. В нем, в частности, были исключены (А. И. Тургеневым) строки о Б.-Х. Минихе и сочувственное упоминание о А. Н. Радищеве, а также разоблачение лагеря литературных и политических ретроградов [67]. Письмо об «Истории» декабриста Н. И. Тургенева, по свидетельству его брата А. И. Тургенева, было «изуродовано цензурою». В авторском тексте письма декабриста, говоря словами А. И. Тургенева, «не было недобрых татар, но было коечто прочее, которого теперь нет» [68].

Стремясь обойти цензурные рогатки, многие участники полемики были вынуждены прибегать к хорошо понятным современникам иносказаниям, недомолвкам, намекам, теперь подчас с трудом поддающимся расшифровке. Эзоповский язык многих материалов подцензурной части дискуссии является ее третьей особенностью.

Примеры хорошо известны. Так, С. С. Ланда [69] убедительно показал, что выступления в полемике декабриста Н. И. Тургенева одновременно представляли попытку не только защитить Карамзина от критики Каченовского, но и использовать подцензурную печать для пропаганды своих социально-политических убеждений. В одной из своих заметок Н. И. Тургенев остроумно перевел обсуждение вопроса о последствиях ордынского ига и рассказ об извозчике, вернувшем ему по ошибке полученный империал, на осуждение «внутреннего татарского ига» (крепостного права) и его защитников.

К наблюдениям Ланды следует добавить еще одно: эпизод с извозчиком прямо высмеивал Карамзина, поместившего в 1802 г. на страницах журнала «Вестник Европы» заметку «Русская честность». В ней в сентиментально-восторженном духе рассказывалось о бедном мещанине, который нашел портфель с деньгами и возвратил его владельцу. «Я читал где-то,— замечал Тургенев,— довольно остроумное рассуждение о том, надобно ли детей или людей простого состояния, что во мнении добрых людей значит одно и то же,— надобно ли их награждать или одобрять за дела честные, происходящие от их произвола? И рассуждающий серьезно решил, что такие награды и одобрения вредны и что на добрые поступки детей и простых людей не должно в их присутствии обращать никакого внимания, дабы показать им, что они не сделали ничего особенного и только исполнили долг свой» [70]. В другой заметке Н. И. Тургенев, говоря о существовании в Древней Руси понятий чести и рыцарства (которые связывались им с республиканскими добродетелями), пропагандировал свою излюбленную идею о наличии давних республиканских традиций в отечественной истории [71].

Примечательна иносказаниями и недомолвками и рецензия Лелевеля на «Историю». Внешне она, отличавшаяся ненавязчивым тоном, неторопливыми, обстоятельными рассуждениями, сопоставлением достоинств и недостатков труда Карамзина с «Историей польского народа» Нарушевича, содержала высокую оценку труда историографа. Но за всем этим скрывалась решительная и последовательная критика «Истории», и прежде всего ее монархической концепции, представлений автора о задачах и предмете исторического труда. «Я хотел вежливо говорить обиняками»,— признавался польский ученый Булгарину [72].

Исследования советских ученых обнаружили немало других примеров использования подцензурной печати в полемике вокруг «Истории» для рассказа о важных событиях в общественной жизни России и выражения отношения к труду Карамзина. В 1828 г. А. С. Пушкин, используя систему намеков, несложной «зашифровки» фамилий современников их начальными буквами, сумел рассказать на страницах альманаха «Северные цветы» о нелегальной критике, которой была подвергнута «История» со стороны декабристов Н. М. Муравьева и М. Ф. Орлова, а также о спорах, которые вызвал труд

Карамзина в русском обществе [73]. Об откликах на «Историю» в московском обществе с помощью тех же приемов сообщил в печати А. Е. Измайлов. В его заметке фигурируют несомненно реальные лица московского салона некоей «Ефразии»: «лукавый учтивец света», «простодушный мудрец», «муж славный талантом и добродетелью», «явный враг ума, достоинства и славы» и другие, решительно не сходящиеся в своих мнениях об «Истории». По словам Измайлова, один из его собеседников заметил, что, если бы был остракизм, он написал бы на черепке имя Карамзина, «как афинский поселянин имя Аристида... по одному с ним побуждению» [74]. Намек очевиден: как легендарному афинянину в свое время надоело слушать о справедливости древнегреческого политического деятеля, так и собеседнику Измайлова — о «беспристрастии» Карамзина.

Целую систему намеков использовал и автор опубликованной в «Вестнике Европы» рецензии на предисловие к «Истории». Фактически рецензия была направлена не только против Карамзина. Как известно, незадолго до ее опубликования в списках получили распространение письма декабриста Орлова из Киева к Вяземскому в Варшаву от 4 мая и 4 июня с критикой «Истории» [75]. В числе прочего они содержали обвинения Карамзина в отсутствии у него «пристрастия к Отечеству», в стремлении к «сухой истине», в непродуманной концепции «дорюрикова могущества» Древней Руси. Название рецензии («Письма от Киевского жителя к его другу»), подзаголовки ее двух частей («Письмо 1», «Письмо 2»), псевдоним «Ф.», которым она подписана (первая буква отчества Орлова), были призваны создать у информированного читателя впечатление о принадлежности этой рецензии Орлову, связать ее с подлинными письмами декабриста. В какой-то степени это удалось, о чем свидетельствует письмо А. И. Тургенева к Вяземскому в феврале 1819 г. В Москве, сообщал Тургенев, «приписывают эту рецензию молодому генералу, разумея М. Орлова, вероятно, потому только, что письмо из Киева» [76].

Одним из ответов на публикацию рецензии в «Вестнике Европы» стало упоминавшееся выше стихотворное послание Вяземского к Каченовскому. Автор послания использовал для критики редактора «Вестника Европы» не менее остроумный прием. Послание было написано в подражание стихотворению Вольтера «От зависти» и внешне содержало осуждение зависти, как порока, осо-

бенно несносного у писателя. Подлинный же смысл послания — обвинение Каченовского в зависти к Карамзину — открывался перестановкой знаков препинания в начальных строках («Перед судом ума сколь, Каченовский, жалок талантов низкий враг, завистливый Зоил» на «Перед судом ума, сколь Каченовский жалок, талантов низкий враг, завистливый Зоил»), в результате которой обращение превращалось в обвинение. Позже К. А. Полевой писал: «Послание это написано так ловко, что из него нельзя вытолковать никакой личности, почему оно и было напечатано» [77]. Соответственно и Каченовский, опубликовав ответное послание Аксакова, скрыл его адресата (без ведома автора) за вымышленной фамилией Птелинского-Ульминского, представлявшей русскую транскрипцию греческого и латинского слова «вяз» (т. е. «Вяземскому»).

Опубликованные материалы полемики представляли доступную широкому кругу современников ее часть. Другая часть осталась неопубликованной и в силу особенностей видов составивших ее документов, и по причине невозможности их появления на страницах печати. Ряд неопубликованных материалов полемики по форме близок к опубликованным. Письма декабриста Орлова к Вяземскому напоминают эпистолярные материалы, помещавшиеся в периодической печати о труде Карамзина. Известны постраничные замечания (как в ряде статей Арцыбашева) на отдельные тома «Истории» историка и археографа К. Ф. Калайдовича [78]. Они были написаны по просьбе самого Карамзина и касались конкретных исторических и источниковедческих неточностей в «Истории». Среди неопубликованных материалов полемики мы встречаем сочинения и различных поэтических жанров: стихотворения С. П. Румянцева, Н. Иванчина-Писарева, прославлявшие Карамзина и его труд; эпиграммы П. А. Вяземского, А. С. Пушкина на М. Т. Каченовского и А. С. Пушкина, Н. И. Тургенева, С. Н. Марина, А. С. Грибоедова на Карамзина и др. «Мысли об „Истории государства Российского" Н. М. Карамзина» декабриста Н. М. Муравьева, явно предназначавшиеся для печати, по форме представляют документ, сочетающий элементы рецензии и самостоятельного исторического исследования.

Одним из интересных источников неопубликованной части дискуссии стали маргиналии на сочинениях ее участников. Замечания в текстах и на полях произведе-

ний, судя по всему, являлись довольно распространенной формой отношения современников Карамзина к его труду, характерной особенностью работы многих из них с книгой и вообще научного и литературного творчества. Нам известны сведения о маргиналиях и маргиналии трех участников дискуссии — критиков Карамзина. Это пометы на первом томе «Истории» С. Н. Бегичева[79], замечания, которыми испещрил свой экземпляр труда историографа декабрист Н. М. Муравьев[80], и многочисленные поправки З. Ходаковского в его экземпляре «Истории» Карамзина. О последних красочно рассказал в своих воспоминаниях К. А. Полевой. «...пять, шесть разрозненных томов „Истории" Карамзина были у него исписаны заметками, иногда самыми циническими»[81]. В настоящее время известны четыре первых тома «Истории» с замечаниями Ходаковского[82].

Наряду с такими бесцензурными материалами полемики представляют интерес сохранившееся эпистолярное наследие первых читателей «Истории», их дневниковые записи и воспоминания. Среди них выделяются переписка Вяземского, Пушкина, Жуковского, Каченовского, Булгарина, Лелевеля, Ходаковского, братьев Тургеневых[83] и др., дневники Погодина, Снегирева, Кюхельбекера, Тургеневых и др., воспоминания Булгарина, Аксакова, К. Полевого, Сербиновича, Н. Тургенева, Вяземского, Никитенко и др.

Полемически заостренные суждения об «Истории» мы встречаем и в ряде документов, носящих официальный характер. Пространное мнение о труде Карамзина было помещено в неопубликованном политическом трактате декабриста Н. И. Тургенева, условно названном его первыми издателями «Политикой»[84]. Свое несогласие со взглядами историографа на процесс закрепощения русских крестьян он выразил в конфиденциальной записке «Нечто о крепостном состоянии в России», поданной в 1819 г. Александру I[85]. Полемические выпады, навеянные чтением «Истории», содержатся и в ряде других документов официального характера: замечаниях неизвестного лица на проект цензурного устава А. С. Шишкова и М. Л. Магницкого[86], послании калужского губернского предводителя дворянства князя Н. Г. Вяземского к малороссийскому военному губернатору Н. Г. Репнину (1818 г.)[87], письме барона В. И. Штейнгеля Александру I (1823 г.) об освобождении крестьян[88]. Пример перехода подцензурной части полемики вокруг «Истории»

на официальный уровень правительственных учреждений дает нам цензурная тяжба Каченовского с редактором-издателем «Московского телеграфа» Н. А. Полевым и его цензором С. Н. Глинкой в 1828 г.[89] Характеристика «Истории» с точки зрения идеологических задач, стоящих перед самодержавной властью, была дана в 1823 г. Магницким в конфиденциальной записке для Александра I «О воспитании»[90]. Оценка труда Карамзина еще до его выхода в свет содержалась в ряде официальных сообщений попечителя Московского учебного округа П. И. Голенищева-Кутузова министру народного просвещения графу А. К. Разумовскому[91]. Сохранились также протоколы заседаний ряда научных и общественных организаций, зафиксировавшие отношение некоторых их членов к сочинению Карамзина и развернувшейся вокруг него полемике. Наиболее интересный из них — протокол заседания Российской академии от 30 марта 1818 г., где с критикой Карамзина выступил Т. С. Мальгин[92].

Названные материалы дополняют суждения участников полемики в ее подцензурной части, донося до нас непосредственность восприятия «Истории» современниками. Эти суждения примечательны откровенностью мнений авторов, нередко содержат сведения об отношении к труду историографа лиц, не оставивших каких-либо письменных «следов» в полемике, а значит, расширяют круг ее участников. Кроме того, в них нашла отражение тактика участников полемики в ее опубликованной части, содержатся подчас важные дополнения к подцензурным материалам. Важной особенностью указанных материалов является в ряде случаев откровенная оценка политических идей «Истории».

Бесцензурная часть материалов полемики вокруг «Истории» вызывает необходимость рассмотрения двух вопросов, ответы на которые важны для понимания их роли в спорах о труде Карамзина.

Первый вопрос — это степень известности таких материалов современникам. Она определялась видовым составом документов полемики, замыслами их авторов и рядом других обстоятельств. Понятно, что мемуары, в подавляющей части создававшиеся спустя многие годы после завершения полемики и к тому же отнюдь не только ради того, чтобы рассказать о ней, не могли быть известны современникам. Ясно, что и дневники, как документы сугубо личного характера, не предназначались для обнародования, хотя известно, что некоторые из их

авторов нередко устраивали своеобразные публичные чтения своих записей среди наиболее близких друзей. Так, например, поступал Погодин в кругу семейств Трубецких и Тютчевых.

Иное дело переписка. Эпистолярный жанр в начале века был средством не только личного общения, но и общественной агитации. Письма предназначались подчас не для одного, а для нескольких корреспондентов. Их зачитывали в кругу друзей, распространяли в списках нередко даже без согласия авторов. Именно так случилось с упоминавшимися письмами Орлова к Вяземскому. Посланные из Киева в Варшаву, они (по крайней мере первое из них) уже, очевидно, в копии, изготовленной Вяземским, попали в Россию и стали известны, во всяком случае в Москве [93], за что варшавский корреспондент Орлова получил от него осторожный упрек: «Прошу тебя,— писал Орлов Вяземскому,— не быть щедрым в разглашении сего письма» [94]. Зато Ходаковский, направляя Лобойко по его просьбе свои замечания на «Историю», прямо просил своего виленского корреспондента сообщить о них по крайней мере Лелевелю [95].

Характер открытой бесцензурной полемики с Карамзиным носили известные замечания на «Историю» Н. Муравьева. Они не только читались в кругу близких ему людей, в том числе в присутствии Карамзина, но и распространялись в списках [96]. Именно после этого Муравьев снискал заслуженный авторитет в среде декабристов своими историческими познаниями. В то же время пространные замечания Калайдовича предназначались исключительно для Карамзина, с тем чтобы тот использовал их при переиздании «Истории». О многих из них историограф (как и о ряде написанных по его просьбе замечаниях Ходаковского) демонстративно сообщил современникам в дополнениях и поправках ко второму изданию первых восьми томов своего труда.

Совершенно очевиден публичный характер стихотворных жанров полемики (особенно эпиграмм на Карамзина). Известно, например, что послание Вяземского к Каченовскому до публикации в «Сыне Отечества» в полном виде читалось в московском Английском клубе. Списки эпиграмм говорят об их хождении среди современников. Бескомпромиссное звучание, полемическая заостренность и политическая направленность эпиграмм предопределили их анонимность. Установление авторов эпиграмм в полемике вокруг «Истории» — одна из сложных задач, реше-

ние которой имеет богатую, преимущественно литературоведческую, традицию. Достаточно сказать, что до сих пор нет уверенности в том, какие из известных эпиграмм на Карамзина принадлежат Пушкину, собственное свидетельство которого на этот счет достаточно неопределенно [97]. Речь идет о трех эпиграммах: «Решившись хамом стать», «Послушайте: я сказку вам начну» и «В его Истории, изящность простота». Первая из них когда-то приписывалась Пушкину:

Решившись хамом стать пред самовластья урной,
Он нам старался доказать,
Что можно думать очень дурно
И очень хорошо писать [98].

Затем эпиграмма была предположительно отнесена к «кружку» декабриста Н. И. Тургенева [99]. Л. Н. Лузянина обратила внимание на то, что в несколько измененном виде и, по всей вероятности, вне связи с именем Карамзина эта эпиграмма была опубликована еще в 1823 г. в журнале «Благонамеренный» под заголовком «К портрету N. N.» и под псевдонимом «В.»:

Благих законов враг, добра противник бурный,
Умел он явно доказать,
Что можно думать очень дурно
И очень хорошо писать.

Полагая, что в таком виде эпиграмма была помещена в журнале поэтом В. И. Туманским, близким к декабристским кругам (вслед за редактором собрания стихотворений Туманского С. Н. Браиловским), Лузянина справедливо отмечает, что идейное содержание и фразеология первоначального варианта эпиграммы соответствуют «кружковой фразеологии младших Тургеневых» *. Она приводит веское доказательство авторства Н. И. Тургенева. Эпиграмма представляет почти дословный стихотворный пересказ мыслей Тургенева о Карамзине и его труде, отразившихся в его переписке и дневнике. В письме к брату Сергею (1816 г.) Тургенев отмечал: «Что касается до Карамзина, то я по самым суждениям брата (А. И. Тургенева.— *В. К.*) о его Истории, заключаю мало о ней выгодного, т. е. хорошего, либерального и, следовательно, полезного. Брат пишет: „в ней нет рас-

* Впрочем, публикацию эпиграммы в этой редакции можно трактовать и как ответ на известное стихотворение Шаликова «К портрету Н. М. Карамзина», опубликованное в 1822 г.

суждений", „может со временем послужить основанием *возможной русской* конституции". Вот его похвала. Я понимаю оную так: автор видел, что рассуждать хорошо трудно, а иногда опасно, и потому молчал. Второй же период „*со временем*", „*возможной*" да еще и русской, делают Карамзина в глазах моих хамом» [100]. В дневниковой записи 31 декабря 1819 г. Тургенев, передавая разговор с Карамзиным, отметил его «гнусные рассуждения о простом народе русском». «Он говорит об Отечестве,— продолжал Тургенев,— языком для меня непонятным, и, попросту сказать, он иногда пустомеля, а чувство его, ибо в чувстве нельзя отказать ему, есть чувство непростое, истинное, бескорыстное» [101].

Вторая эпиграмма («Послушайте: я сказку вам начну...») также долгое время связывалась с именем Пушкина, но затем его авторство было поставлено под сомнение Б. В. Томашевским [102]. Совсем недавно с обоснованием принадлежности этой эпиграммы перу А. С. Грибоедова выступил Ю. П. Фесенко [103]. Несмотря на относительность его аргументации, особенно в части трактовки этой эпиграммы как попытки оценить разные этапы творчества Карамзина, что встретило справедливую критику со стороны П. В. Бекедина [104], представляются заслуживающими внимания два наблюдения Фесенко. Во-первых, автор вслед за Томашевским обратил внимание на наличие близких по характеру выпадов против раннего стихотворения Карамзина «Илья Муромец» в комедии Грибоедова и Катенина «Студент», созданной до выхода «Истории», что не может не приниматься во внимание при атрибуции эпиграммы. Во-вторых, Фесенко принадлежит тонкое наблюдение о связи эпиграммы с информацией о скором выходе труда Карамзина, помещенной в 1816 г. в журнале «Сын Отечества», в которой трижды употреблено слово «кончил». По мнению Фесенко, тавтология «кончил» в этой информации и вызвала иронию в эпиграмме. Нам представляется, что, наоборот, информация в «Сыне Отечества» с ее демонстративной тавтологией была уже ответом на эпиграмму. На наш взгляд, соображения Томашевского и Фесенко об авторстве эпиграммы и времени ее создания при существующем положении дел имеют серьезные основания, и к авторству Пушкина, следовательно, можно отнести знаменитую эпиграмму «В его Истории изящность, простота».

Второй вопрос изучения бесцензурной части материалов полемики вокруг «Истории» — это степень их сохран-

ности. К сожалению, их известная в настоящее время часть представляет собой лишь остатки когда-то существовавшей широкой устной и рукописной традиции обсуждения труда Карамзина. Прежде всего сохранились лишь открывочные известия об устных обсуждениях «Истории» современниками, интересные злободневностью, непосредственностью восприятия труда Карамзина, отсутствием каких-либо условностей в формах выражения мыслей о нем, особенно в кругах единомышленников. Свидетельство Пушкина о разговорах по поводу «Истории» в салоне Голицыной, остротах в адрес Карамзина лиц катенинского кружка, критических выступлениях Н. М. Муравьева лишь одно из немногих сохранившихся. Между тем известно, что «История» активно обсуждалась в кругу студентов Московского университета, близких к Погодину, в кружке Тютчевых, в беседах, а возможно, и спорах Пушкина в 1829 г. с генералом А. П. Ермоловым. Нам неизвестны московские «молодые люди» и их критические замечания об «Истории», о которых в октябре 1818 г. сообщал А. И. Тургеневу И. И. Дмитриев [105]. Неизвестны и конкретные «мнения» какой-то «партии» в Министерстве народного просвещения, князя А. Н. Голицына, А. Н. Оленина, частично М. М. Сперанского, на которые ссылался в переписке с Лелевелем Булгарин.

Общеизвестен факт уничтожения декабристами своих материалов накануне и после восстания. В их числе переписка, дневники, а возможно, и специальная критика «Истории». В частности, не сохранилось письмо С. Г. Волконского к Орлову о труде Карамзина. Неясен характер второй части замечаний Н. М. Муравьева на «Историю» (так называемого «Продолжения»): является ли она только фрагментом так и незавершенного труда или же представляет собой только промежуточную редакцию несохранившегося цельного исследования. Загадочным остается свидетельство жены Карамзина, Екатерины Андреевны, которая в 1820 г. сообщала Вяземскому: «Г-н Муравьев печатает критику на „Историю" мужа» [106]. Была ли эта «критика» окончательно оформленным «Продолжением» замечаний декабриста или же неизвестным нам трудом Муравьева, по каким-то причинам не увидевшим света,— ответы на эти вопросы остаются открытыми. В воспоминаниях брата Н. М. Муравьева — А. М. Муравьева — содержится указание, которое, кажется, дает основание склониться к тому, что продолжения не последовало. «Он (Н. М. Муравьев.— *В. К.*),— пишет А. М. Му-

равьев,— предполагал написать критику на „Историю" Карамзина, но только коснулся темы: науки политические стали единственным предметом его размышлений»[107].

Неизвестен и экземпляр «Истории», на котором, как свидетельствуют источники, были многочисленные пометы декабриста. Он использовал их при подготовке «Мыслей об „Истории государства Российского" Н. М. Карамзина». Н. М. Дружинин предположил, что этот экземпляр находится во Флоренции вместе с архивом А. М. Муравьева. Впрочем, характер маргиналий Н. М. Муравьева на «Истории» можно в определенной степени представить, поскольку недавно стали известны замечания декабриста на «Письмах русского путешественника» в изданном в 1814 г. собрании сочинений историографа, возникновение которых исследователи относят к 1818 г.— времени знакомства декабриста с «Историей»[108].

Неизвестен в настоящее время и экземпляр второго издания «Истории», принадлежавший Погодину, с его пометами, ставший, по свидетельству владельца, его «другом и неразлучным спутником». Еще будучи студентом, Погодин написал целую тетрадь замечаний, по всей видимости, на первую главу первого тома «Истории». В 1829 г. он систематизировал свои замечания на весь первый том «Истории», а затем прочитал в Московском университете специальную лекцию о Карамзине. Нам не удалось среди опубликованного наследия поэта В. Л. Пушкина обнаружить две написанные им в связи с полемикой вокруг «Истории» эпиграммы на Каченовского, о которых сообщил 4 мая 1819 г. А. И. Тургеневу И. И. Дмитриев[109].

Сохранились сведения о том, что замечания на «Историю» по просьбе автора писали его друзья — И. И. Дмитриев и А. Ф. Малиновский. О целой «тетради» замечаний на труд историографа, частично известных Карамзину, печатно сообщил в 1828 г. Строев[110]. По свидетельству Каченовского, пространный разбор «Истории» готовил рано умерший талантливый московский историк С. Г. Саларев[111]. В фрагментарном виде до нас дошли уже упоминавшиеся замечания Калайдовича. Не сохранились лекции Каченовского, на которых он, по свидетельству его слушателей, выступал с разбором труда Карамзина.

Перечень несохранившихся материалов бесцензурной части полемики вокруг «Истории» можно было бы продолжить. Но и перечисленного достаточно, чтобы сделать вы-

вод: их известный в настоящее время комплекс носит фрагментарный характер. Разумеется, не исключена возможность обнаружения некоторых из них, а также находки новых (прежде всего, переписки). Как ни покажется странным, но более полно представлена бесцензурная критика Карамзина со стороны декабристских и близких к ним кругов. Критика же «справа» отразилась в совсем небольшой группе документов, к тому же без достаточно развернутой аргументации.

Для дальнейшего рассказа важно представление о «партиях», как говорили современники, принимавших участие в полемике. Необходимо отметить, что по мере все большего развертывания дискуссии уже сами ее участники пытались наметить эти «партии», или лагери. Первый лагерь — почитатели Карамзина. В 1819 г. Иванчин-Писарев выделил в нем «толпу крикунов» — фанатичных поклонников всего творчества историографа — и «беспристрастных» — признающих истинный талант Карамзина, отдающих ему дань глубокого уважения, но не считающих совершенным во всех отношениях труд историографа, признающих необходимость его «истинной критики» в интересах дальнейшего развития науки и литературы [112]. Спустя 11 лет, анализируя ход полемики, А. В. Никитенко дал несколько иную, с политическим оттенком, характеристику лагеря защитников Карамзина. По его мнению, «партия эта состоит из двух элементов. Одни из них царедворцы, вовсе не мыслящие или мыслящие по заказу властей; другие, у которых есть охота судить и рядить, да недостает толку в образовании, в простоте сердца веруют, что Карамзин действительно написал „Историю русского народа“, а не историю русских князей и царей». Размышляя дальше, Никитенко выделяет в этой партии еще одну группу — людей «благомыслящих и образованных», «суд которых основывается на размышлении и доказательствах». По его мнению, «эти последние знают, чем отечество обязано Карамзину, но знают также, что его творение не удовлетворяет требованиям идеи истории столько, сколько удовлетворяет требованиям вкуса» [113].

Второй лагерь — это, как выразился однажды О. М. Сомов, «критики „Истории государства Российского“ и их сопричетники». В подцензурной части полемики в этом лагере современники выделяли несколько направ-

лений. Шаликов привел мнения литературных противников Карамзина и некоего «скромного человека», обвинявшего историографа в защите «деспотизма», а также легкомысленные критические суждения светских лиц[114], которых позже, в 1825 г., Н. А. Полевой метко обозвал «литературными простолюдинами». В 1829 г. И. В. Киреевский и М. А. Дмитриев в лагере критиков труда Карамзина наметили два направления: Киреевский — критиков «частных ошибок» историографа и критиков «системы и плана» ученого[115], а Дмитриев — «изыскателей» и «крикунов».

Ключом к пониманию расстановки сил в лагере критиков «Истории» в значительной мере являются «Отрывки из писем, мысли и замечания» Пушкина. С помощью намеков, легко разгадывавшихся современниками, Пушкин коротко и точно обрисовал направления критики труда историографа в начале полемики. Здесь мы встречаем указание на «глупые светские суждения» (как у князя Шаликова в его заметке-фельетоне), упоминание об отношении к «Истории» «некоторых остряков» — лиц катенинского кружка, бывших литературными противниками Карамзина, не принимавших «слог» его ранних повестей и романов, и, наконец, характеристику негодования «молодых якобинцев» и близких к ним лиц, выступивших с критикой монархической концепции историографа.

Сохранившиеся источники позволяют следующим образом представить расстановку сил участников полемики вокруг «Истории». Дискуссия развернулась между двумя основными лагерями: ее защитников и критиков. Внутри этих лагерей не было единства во взглядах на «Историю», в оценках ее и в использовании аргументов для обоснования своих позиций. Лагерь защитников Карамзина включал по меньшей мере три группы, преимущественно оттенявшие то или иное «достоинство» труда историографа. Первая группа — это последователи литературных и языковых новаций Карамзина. В их числе мы видим плодовитых писателей и поэтов Шаликова, Иванчина-Писарева, Хвостова. Вторая группа — это убежденные сторонники политических идей историографа, осознавшие важность его труда в обосновании крепостничества и самодержавной власти. Среди них можно назвать Н. И. Греча, Воейкова, Руссова. Третья группа — это широко образованные, либерально мыслящие и лично близкие к Карамзину люди, убежденные в его таланте и искренности, пытавшиеся найти среди «апофегм» «Истории» идеи, со-

звучные своим либеральным убеждениям. Кроме того, они разделяли высокую оценку деятельности Карамзина в преобразовании русского литературного языка, его литературно-эстетические взгляды. В их числе мы видим прежде всего членов литературно-политического объединения «Арзамас» и близких к нему лиц (П. А. Вяземского, Д. Н. Блудова, А. И. Тургенева, И. И. Дмитриева и др.).

Лагерь критиков Карамзина представлял собой еще более сложный конгломерат различных, подчас непримиримо враждебных, групп и течений. Критика политических основ «Истории» развернулась с двух сторон. «Справа» труд историографа подвергался нападкам представителей реакционных слоев русского общества. Их рупором стали выступления М. Л. Магницкого, Д. П. Рунича, П. И. Голенищева-Кутузова, Н. Н. Муравьева, загадочной «партии» в Министерстве народного просвещения. Критика «слева», из декабристской среды, воплощалась в письмах М. Ф. Орлова, замечаниях на «Историю Н. М. Муравьева, письмах и выступлениях Н. И. Тургенева и др. «Ученая» критика «Истории» была представлена работами Арцыбашева, Каченовского, Калайдовича, Погодина, Полевого, Ходаковского и других исследователей. Наконец, как уже отмечалось, существовала сильная струя критики литературных позиций Карамзина, отрицательное, порой откровенно враждебное отношение к его стилевым и языковым новациям.

Разумеется, подобное распределение сил, участвовавших в полемике, в значительной мере условно. Дискуссия об «Истории» велась на протяжении более чем 20 лет. За это время произошло много важных событий в политической, литературной, научной жизни страны. Восстание декабристов резко размежевало общественные силы. Явившись, по выражению Вяземского, критикой Карамзина «вооруженною рукою» со стороны декабристов, восстание вырвало из рядов участников полемики одних из самых непримиримых противников концепции историографа. В этом смысле в условиях последовавшей николаевской реакции политическая острота критики неизбежно должна была притупиться. Одновременно происходили важные изменения в духовной жизни страны, в том числе становление новых литературных и историографических направлений, включивших «Историю» в борьбу вокруг проблем исторического познания, совершенствования языка, развития литературы.

Да и сами выступления участников полемики в зна-

чительной части не были ограничены рамками политической, литературной или научной критики и защиты «Истории». Критика Каченовского, Арцыбашева затрагивала вопросы не только исторического познания, но и языка «Истории». Н. М. Муравьев наряду с критикой политических идей Карамзина предпринял попытку научного доказательства несостоятельности выводов историографа относительно древнейшей истории славян. «Ученая» критика Лелевеля, Булгарина имела под собой, как и критика Арцыбашева, Ходаковского, более широкие общественные основания. К этому следует добавить, что участники полемики в процессе ее не оставались неизменными и в своих убеждениях, и в оценках «Истории». Так, Погодин, пережив период юношеской влюбленности в Карамзина и его труд, затем стал одним из лидеров критиков, а спустя несколько лет оказался активным защитником историографа. В процессе эволюции своих взглядов Н. И. Тургенев от открыто неприязненного отношения к Карамзину постепенно перешел на позиции более лояльного восприятия труда историографа. Похожее произошло с Пушкиным — от своей знаменитой эпиграммы на «Историю» он пришел к защите труда историографа.

Эти сложные переплетения позиций и взглядов обусловлены определенными ситуациями и сдвигами в общественной жизни страны, о чем пойдет речь в следующих главах. Сейчас же интересно посмотреть, как эти ситуации и сдвиги влияли на тактику участников полемики, предопределяя формы, характер и аргументы их выступлений. Решение этого вопроса может дать новую, дополнительную информацию о восприятии труда Карамзина, подчас скрытую первичным пластом сохранившихся (опубликованных и неопубликованных) материалов полемики, информацию, связывающую подцензурные и бесцензурные мнения об «Истории» ее критиков и защитников, усиливающую общественное звучание опубликованных материалов дискуссии.

Поясним нашу мысль несколькими примерами. Прежде всего, перед нами на первый взгляд парадоксальное явление: преобладавший в подцензурной части полемики критический тон по отношению к «Истории» был задан и поддерживался вплоть до 1828 г. (года вступления в полемику «Московского вестника» Погодина) журналами, являвшимися полуофициальными и официальными органами различных правительственных учреждений. Исклю-

чение составлял лишь «Сын Отечества» Греча, с самого начала занявший благожелательную позицию по отношению к Карамзину. Это не может не показаться странным, если учесть, что журналы «Вестник Европы», «Казанский вестник», «Северный архив» не только в той или иной степени являлись органами соответственно Московского и Казанского учебных округов и Министерства народного просвещения, но и, согласно существовавшему порядку, проходили в них цензуру. Помещение критики против Карамзина на страницах этих журналов придавало даже известную пикантность полемике: в официальных и полуофициальных органах правительственных учреждений (а не в частных журналах или изданиях общественных организаций типа «Благонамеренного», «Соревнователя просвещения и благотворения») подвергался критике государственный историограф, печатавший свой труд по высочайшему повелению.

Можно полагать, что за этими журналами стояли определенные влиятельные лица, чье общественное положение и личные мнения могли помочь беспрепятственному прохождению через цензуру критических материалов против Карамзина. В письмах друзей историографа мы встречаем осторожные (хотя, может быть, и небеспристрастные) намеки на это. Так, 17 октября 1818 г. Дмитриев, сообщая о намерении Каченовского приступить к критике «Истории», писал: «Многие распускают слух, будто журналист делает это в угодность министру просвещения» [116]. Если верно это предположение, то становится понятным, например, появление критики Арцыбашева в «Казанском вестнике» — официальном органе Казанского учебного округа, как раз в то время ставшего поприщем небезызвестной «попечительской» деятельности Магницкого. Сохранившиеся материалы по изданию журнала подтверждают это. В присланной Магницкому программе «Казанского вестника» специальный пункт предусматривал публикацию «основательных, беспристрастных и скромных рассмотрений книг, изданных в России». Рукой попечителя на полях против этого пункта записано: «Хорошо. Я рекомендую рецензию на Историю Карамзина и классический разбор Подражания Христу Сперанского» [117], что и решило вопрос с публикацией критики Арцыбашева. Кажется, подобное объяснение может быть дано и появлению рецензии Булгарина на десятый и одиннадцатый тома «Истории» на страницах «Северного архива». Не случайно Булгарин, подталкивая Лелевеля

на продолжение критики Карамзина, намекал на то, что «Северный архив» с 1823 г. приобрел статус неофициального органа Министерства народного просвещения [118].

Разрозненные факты, на которые мы обратили внимание, позволяют говорить о недовольстве «Историей» не только декабристских кругов. Недовольство носило более широкий характер. Отчасти оно могло иметь личные причины. Независимое положение Карамзина при дворе снискало ему немало недоброжелателей, получавших простое удовольствие от критики «Истории». «Здешняя публика,— сообщал Булгарин Лелевелю,— по преимуществу обращает внимание на это (малейшие неточности в труде Карамзина.— *В. К.*) и жадно ловит ошибки человека, которого приверженцы почитают непогрешимым, как католики папу» [119].

Но очевидно, что появление критики на «Историю» в ряде периодических изданий имело и более глубокие причины. Идея самодержавия, благонамеренность основ политического мировоззрения Карамзина, конечно же, отвечали официальной идеологии. Однако антидеспотическая направленность «Истории», особенно в девятом и последующих томах, не могла не показаться в условиях российской действительности необычной, смелой и вредной тем кругам, которые еще в первом десятилетии XIX в. видели в авторе «Марфы-посадницы» пропагандиста республиканских идеалов. Показательно в этом смысле, что появление критических материалов в адрес «Истории» в печати резко увеличилось именно после выхода девятого тома.

Таким образом, если признать соответствующими действительности наши предположения и справедливыми основанные на них наблюдения, со всей очевидностью напрашивается вывод: открытая критика «Истории» (обоснованная в значительной части), по крайней мере до восстания декабристов, если и не была инспирирована, то, во всяком случае, получила возможность легализации, появления в широкой печати благодаря санкции лиц крайне правых убеждений.

Материалы нелегальной части полемики убедительно свидетельствуют: об «Истории» было что сказать в критическом плане декабристам и близким к ним кругам. Причем не только о первых восьми томах, но и о последующих, ставших для прогрессивного лагеря сильным идеологическим подспорьем в развенчании самодержавия. Тем не менее ни декабристы, ни близкие к ним лица не

выступили открыто против «Истории», хотя и прекрасно понимали ее антиреспубликанские, антиреволюционные идеи. Конечно же, отсутствие широкой подцензурной критики труда Карамзина с их стороны объясняется невозможностью ее появления в том виде и с тех позиций, которые могли бы устроить декабристов.

Но это лишь одна, хотя и самая важная причина. Критика Карамзина, как отмечалось, началась в официальных и полуофициальных органах правительственных учреждений. К тому же она оказалась связанной с достаточно одиозными в глазах прогрессивного лагеря фигурами: литературными врагами многих его представителей — Каченовским и Арцыбашевым, наконец, со все более и более раскрывавшим свою беспринципность Булгариным. Усиление критики пришлось на время после выхода девятого тома. Выступление против Карамзина в этих условиях означало бы солидарность с Каченовским, Арцыбашевым и Булгариным и одновременно компрометацию последних томов труда историографа, дискредитировавших самодержавие. Учитывая цензурные препятствия, представители прогрессивного лагеря были вынуждены из политического расчета следовать карамзинскому же принципу: «Либо говорить все, либо безмолвствовать». И они молчали. Молчали, несмотря на то, что благородный гнев на историографа за «пренечестивые рассуждения», восхваление самодержавия и умиление «единением» монархов и народа не раз заставлял их тянуться к перу. И вставали на защиту Карамзина, как Пушкин, когда видели, что образ живущего, а вскоре и сошедшего в могилу «честного человека» может сыграть положительную роль для русской литературы.

Такова была тактика в полемике двух противоположных политических лагерей русского общества, объединенных только одним — неприятием политических идей труда Карамзина. Своеобразной оказалась тактика в полемике и «ученых» критиков «Истории».

Можно сказать, что в целом они стремились использовать любую возможность для критики труда Карамзина и его защитников. Отсюда энтузиазм Каченовского, Арцыбашева, Лелевеля, Погодина и других исследователей в стремлении разобрать недостатки «Истории». Но время и обстоятельства накладывали свой отпечаток и на их действия.

Первое осторожное критическое выступление Ходаковского об «Истории» относится к 1819 г. Получив после

этого при поддержке Карамзина субсидии от Министерства народного просвещения на организацию археологического обследования России, он отказался от участия в полемике вплоть до 1823 г., когда экспедиция была неожиданно прекращена. Необоснованно считая Карамзина одним из виновников крушения своих планов, Ходаковский решил теперь открыто выступить с критикой «Истории». Свою тактику он откровенно изложил в письмах к Лобойко, осторожно пытавшегося убедить Ходаковского в том, что Карамзин непричастен к прекращению экспедиции. «История Карамзина,— писал Ходаковский,— при первом появлении обрадовала половину славян и незнатоков, послужив мне предлогом к показанию новых идей... Тогда потребно было придраться, устрашить историографа, чтобы получить его дружбу и подпору; ныне, бывши им доволен, не имею надобности стоять в оппозиции и устремляться против его... Не окончив труда моего, не приведши оного в полноту и возможную зрелость, должен ли я отрывистыми, невнятными статьями являться в журналах, как индус среди Лондона? Раздражать с моей стороны Карамзина было бы неблагодарно за его одобрение, которого требовал Департ[амент] просв[ещения]». Но, не отправив еще этого письма, Ходаковский получил какую-то «ведомость о коварстве Карамзина» по делу о прекращении экспедиции (а с ней и чей-то «наказ, чтобы нимало не щадить (историографа.— *В. К.*) в критических замечаниях» (!)) и тотчас заявил: «С *Гуляй-городка* на Оке 1572 г. и с второго Рима, т. е. Москвы, понесу бремя стрел на Карамзина, и с 2-го Царьграда Киева» [120].

Можно привести и другие примеры подобных уловок «ученых» критиков «Истории» в разворачивавшейся полемике. Около 3 лет печаталась в «Северном архиве» рецензия Лелевеля. Ее автор явно медлил с присылкой Булгарину очередного продолжения, ожидая реакции общественности на свою критику. Сам Булгарин после 1825 г. просто молчал, даже постарался публикацией фрагментов воспоминаний [121] показать свою близость к «верноподданному» Карамзину, хотя Булгарину же принадлежала до этого одна из самых резких критик «Истории».

Выжидал и Полевой. Его первая большая статья в полемике [122] имела многозначительный подзаголовок: «Статья первая». Вторую читателям «Московского телеграфа» пришлось ждать около 4 лет [123]. После серии

критических статей об «Истории» в начале 20-х годов молчал и Погодин. Он вновь вступил активно в полемику едва ли не с первых номеров своего «Московского вестника» — новому журналу были нужны подписчики, а статьи об «Истории» могли стать хорошим способом привлечь их.

В этих условиях лагерь сторонников Карамзина оказался в течение долгого времени (по крайней мере, до восстания декабристов, когда елеем полились славословия политических союзников историографа, воодушевленных «монаршей милостью» к нему Николая I) в менее выгодном, пассивном положении. Тактика его представителей сводилась в целом к тому, чтобы осудить и нейтрализовать любые критические выступления в адрес «Истории», с какого бы фланга, из какой-бы группы критиков они ни раздавались. Лишь после 1825 г. этот лагерь начинает проявлять опережающую активность (что выразилось, например, в публикации Иванчиным-Писаревым обширных выписок из сочинений Карамзина), все более энергично призывая к «беспристрастному» разбору труда историографа.

Полемика вынуждала ее участников использовать целую систему аргументов против своих противников. Примечательно, что подавляющая часть этих аргументов оказалась общей и у критиков и у защитников Карамзина. Расхождения были лишь в их интерпретации.

Первый аргумент — это апелляция к западноевропейской мысли. Отражено это в нескольких формах: публикация рецензий на труд Карамзина из западноевропейских газет и журналов, приведение библиографии отзывов на «Историю», ссылки на мнения европейских ученых о работе историографа, а также об историческом труде вообще. Так, например, Каченовский свои оценки «Истории» пытался подтвердить ссылками на работы А. Л. Шлецера, Б. Нибура, информациями о критических рецензиях на труд Карамзина в европейской периодике; Полевой — ссылками на европейскую философскую и историческую литературу «новейшего времени»; Н. И. Тургенев — сообщением мнения об «Истории» геттингенского профессора А. Геерена; Вяземский — обширным сводом зарубежных рецензий на «Историю». Как мнение о труде Карамзина известного европейского ученого была представлена Булгариным и Сенковским рецензия Лелевеля.

Движущим мотивом апелляции к европейской истори-

ко-философской мысли являлось стремление одной стороны либо подчеркнуть отсталость исторических и философских идей Карамзина (например, у Полевого), либо указать на наличие критической струи по отношению к «Истории» в Европе, а другой — желание подчеркнуть ее положительное восприятие (в частности, издания французского, немецкого, итальянского, польского переводов) более «просвещенной» европейской общественностью. В 1828 г. это очень ярко продемонстрировал Шаликов. Опубликовав заметку об «Истории» из одной парижской газеты, он заявлял: «Тогда как у нас всячески стараются лишить Карамзина всех или почти всех литературных заслуг и говорят, что ни стихи, ни проза, ни „История“, ни философия его ныне не имеют ни малейшего или почти ни малейшего достоинства, тогда иностранцы за нас ценят таланты, заслуги и достоинства сего великого писателя»[124]. Своеобразную интерпретацию этого аргумента можно обнаружить в отзыве на девятый том Н. Любороссова: жаль, заключал автор, что о небывалых казнях при Грозном узнают в Европе[125].

Второй аргумент, использовавшийся участниками полемики,— это попытка определить отношение «Истории» к предшествующим отечественным историческим сочинениям, прежде всего к трудам В. Н. Татищева, И. Н. Болтина и М. М. Щербатова. Для защитников историографа было характерно стремление существенно принизить значение работы, проделанной в области изучения русской истории предшественниками Карамзина, и тем самым подчеркнуть появление труда Карамзина как уникального явления в отечественной историографии. Критикам историографа в этом смысле была присуща более объективная оценка: они справедливо утверждали, что разработка отечественной истории началась задолго до Карамзина и что сам он нередко использовал выводы Шлецера, повествование Щербатова, (лишь литературно обрабатывая текст последнего), стремясь скрыть зависимость от него и других предшественников. Эта мысль наиболее отчетливо звучала в выступлениях Каченовского, Арцыбашева и Лелевеля.

Третий аргумент — использование официального положения Карамзина как государственного историографа. В лагере защитников «Истории» не было единства в трактовке этого аргумента. Для Греча, например, должность или звание Карамзина — «государственного историографа» и его положение при дворе — свидетельство

умилительного «единения» монарха и мыслителя-патриота. Вяземский, Пушкин, А. И. Тургенев подчеркивали не столько официальное положение Карамзина-историографа, сколько то, что Александр I читал труд Карамзина, в том числе в рукописи. Тем самым по тактическим соображениям (возможно, чтобы облегчить прохождение через цензуру «Бориса Годунова» Пушкина) ими в полемику как бы вводилось положительное мнение арбитра, которое не могло быть подвергнуто какой-либо критике, особенно в подцензурной части полемики.

Иной смысл придавали этому аргументу многие критики «Истории». По их мнению, должность-звание историографа обязывало Карамзина к осторожности суждений. «Упомянутая книга,— завершал одну из своих статей Арцыбашев,— не есть произведение частного бытописателя, представившего без видов и долга на суд отечества все, что он знает, а г. историографа, который взялся сам за свою должность, имел все пособия и ободрения, питал лестную надежду читателей несколько лет; следственно, при таковой доверенности ошибочные мнения о разных предметах отечественной нашей истории гораздо более могут служить ко вреду ее» [126]. Зловещий, доносительный оттенок приобрел этот аргумент в критике девятого тома «Истории» Н. Любороссова. «Внезапно,— писал он,— все подробности убийств и мучительств открыты из-под спуда древних летописей и всякому в печати известны стали» [127].

Четвертый аргумент — рассуждения о том, какова должна быть «истинная критика» вообще и «Истории» в частности. Ссылки на «истинную критику» одной стороне (Каченовскому, Зубареву, Арцыбашеву, Погодину, Строеву и др.) служили обоснованием не только ее необходимости, но и той формы, в которую она вылилась по отношению к труду Карамзина.

Другая сторона ссылками на «истинную критику» пыталась свести выступления своих противников до уровня личной неприязни к Карамзину или его защитникам, «мелочных придирок», недостойных быть в серьезном разборе серьезного сочинения.

Долгое время обе стороны не были свободны от крайнего субъективизма в трактовке «истинной критики». И лишь завершение полемики проходило под знаком более заинтересованного поиска критериев ее созидательного характера, поиска, который нашел наиболее удачное воплощение в рецензии Полевого.

С предшествующим аргументом в полемике вокруг «Истории» оказался связанным еще один — использование прецедентов критики, имевших место в истории отечественной и зарубежной науки и литературы. Разумеется, интерпретация таких прецедентов была подчинена тем задачам, которые ставили перед собой участники полемики. Для защитников «Истории» характерно подчеркивание мысли о том, что время показало несправедливость критических выступлений, например, П.-Ф. Дефонтена против Вольтера или В. К. Тредиаковского против М. В. Ломоносова. Критики же историографа фактически впервые обратили серьезное внимание на основательно забытую к этому времени полемику Болтина с Щербатовым, справедливо подчеркивая ее положительное значение в развитии исторической науки. Стремление показать положительное значение «достойной» критики послужило причиной публикации активными участниками полемики Погодиным и Полевым на страницах издававшихся ими журналов двух вариантов замечаний Ломоносова на «Историю Петра Великого» Вольтера [128]. Когда же не хватало этого аргумента, противники апеллировали к потомству как главному арбитру в споре об «Истории».

Общим для многих участников полемики аргументом в споре оказалось стремление подчас не столько защищать или критиковать «Историю», сколько дискредитировать научные, литературные и другие заслуги своих противников. Ссылки на некомпетентность, отсутствие профессиональной подготовки в области литературы, истории едва ли не в равной мере присущи выступлениям и сторонников и противников Карамзина. О «модных обществах» и «людях со вкусом», но без знаний, не интересующихся и презирающих кропотливые исторические разыскания, писали, например, Каченовский, Погодин, Арцыбашев. В конце полемики обстоятельный, но не беспристрастный критический разбор всего творчества Каченовского предпринял Полевой. К аналогичным заключениям пришел М. А. Дмитриев, анализируя сочинения Арцыбашева. Попытку скомпрометировать научные заслуги Строева предпринял Руссов, а Полевого, Греча, Булгарина — Воейков [129].

Таким образом, сохранившиеся материалы полемики вокруг «Истории» позволяют говорить о существовании в общественной жизни России первой трети XIX в. многолетней традиции подцензурного и бесцензурного обсуждения вопросов, поставленных в труде Карамзина. Пред-

мет обсуждения — «История государства Российского» — породил многочисленные опубликованные и рукописные сочинения, разнообразные по жанрам и формам, кругу авторов, представлявших различные политические, литературные, историографические направления. Противоречивость, а вернее, непримиримость оценок труда Карамзина, их связь с общественными движениями эпохи определяли остроту разговора об «Истории», вынуждали его участников в отстаивании своих позиций использовать широкий набор тактических уловок и аргументов. Спор об «Истории», тесно связанный с злободневными проблемами общественной жизни, как бы выделился из ее общего фона, приобрел самостоятельность исторического явления, важного для понимания духовных исканий современников Карамзина. Именно прежде всего поэтому полемика вокруг труда историографа «принадлежит истории», интересна и важна для характеристики исторической и шире — общественной мысли России первых десятилетий XIX в. В чем сущность этой полемики, каковы были вопросы, затронутые в ее ходе, об этом мы и расскажем в следующих главах.

Глава 3. «Перед судом ума»

Мы отмечали, что полемика между первыми читателями «Истории» продолжалась около 20 лет. Начавшись еще во время подготовки Карамзиным первых томов своего труда, она в дальнейшем протекала в период бурного национального подъема, вызванного победой в Отечественной войне 1812 г., и формирования декабристской идеологии. События эпохи не могли не отразиться на позициях многих участников спора, неизбежно по самым различным причинам оказывали влияние на их оценки «Истории». Именно поэтому важно последовательно рассмотреть ход полемики и выяснить позиции ее участников в тот или иной момент, давая оценку отношению к труду Карамзина с учетом не только научного, но и общественного звучания суждений в каждом конкретном случае.

Начало полемики обычно относят к 1816—1818 гг.— времени первых публичных чтений Карамзиным отрывков из «Истории», печатания и выхода ее первых томов. Однако источники позволяют говорить о том, что спор вокруг труда Карамзина возник гораздо раньше — уже в тот период, когда историограф приступил к «Истории». На протяжении первой трети XIX в. с определенной условностью можно выделить шесть этапов, через которые прошла полемика: 1803—1818, 1818—1821, 1821—1824, 1824—1826, 1826—1829 гг. и позже. Начало каждого из них, исключая первый (когда историограф приступил к работе над трудом) и пятый (год смерти Карамзина), связано с выходом очередных томов «Истории».

Едва ли не первым известным откликом на труд Карамзина следует считать отзыв одного из будущих его активных защитников — А. И. Тургенева. Отзыв был пропитан откровенным скепсисом в «достоинствах» того, что может выйти из-под пера Карамзина [1]. Но уже в 1808 г., ознакомившись по рукописи с написанной частью «Истории», тот же Тургенев решительно поменял свое мнение о ней. В письмах В. А. Жуковскому и брату Николаю он с восторгом отмечает тщательные источнико-

ведческие штудии историографа, его умелое пользование летописными источниками. Сравнивая Карамзина с А. Л. Шлецером, В. Робертсоном и Э. Гиббоном, А. И. Тургенев подчеркивал и важное общественное значение издания труда историографа [2]. Безоговорочно восторженны в это время и отзывы близких к Карамзину людей, поклонников его литературного таланта — В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, В. Л. Пушкина [3].

Однако постепенно обсуждение «Истории» выходит за рамки карамзинского кружка литературных единомышленников. Вне всякого сомнения, рубежом здесь стал 1810 год, когда в «тверском салоне» члены императорской семьи и сам Александр I впервые прослушали с одобрительным восхищением (как свидетельствуют воспоминания присутствовавших) [4] отрывки из труда Карамзина, год, когда историограф был награжден орденом Владимира третьей степени. Последний факт, сам по себе не такой уж значительный, породил целый поток славословий в адрес Карамзина его литературных подражателей и поклонников. Один из них — Е. В. Аладьин, редактор-издатель журнала «Аглая», поместил, например, такие вирши в честь Карамзина:

В потомстве Карамзин близ Тацита, Плутарха
И Тита Ливия назначил тем себе
И место верное и должные награды! [5]

А затем — и еще более беспомощные:

Клио в истории зря нашей мрак один,
Рекла: да будет свет, родился Карамзин [6].

Немудрено, что они немедленно возбудили критический дух одного из самых непримиримых в будущем противников Карамзина — Каченовского, назвавшего в письме к Жуковскому подобные упражнения «болтанием, ослеплением, ребяческим энтузиазмом» [7].

Более искусным в этом смысле оказалось стихотворение графа Н. П. Хвостова, посвященное Карамзину. Написанное в жанре послания, оно приветствовало внимание императора к историографу — крупнейшему представителю отечественного просвещения и выражало надежду русских читателей вскоре познакомиться с трудом автора, который:

К Отечеству питая ревность,
Ты вшел летописанья в храм,

Где мраками покрыту древность
Открыть желая вскоре нам,
Из гроба предков вызываешь,
Вещаешь им и вопрошаешь
О нравах, битвах и делах...[8]

Но если у Каченовского пока вызывали негодование только авторы подобных славословий, то поэт-сатирик С. Н. Марин в 1811 г. не удержался от эпиграммы и на самого Карамзина:

Пускай наш Ахалкин стремится в новый путь
И, вздохами свою наполня томну грудь,
Опишет свойства плакс, дав Игорю и Кию
И добреньких славян и милую Россию[9].

Выступления Аладьина, Хвостова и Марина представляли собой одну из известных первых попыток включения «Истории» в литературную борьбу тех лет между сторонниками так называемого «старого слога», возглавляемыми А. С. Шишковым, и приверженцами «нового слога», лидером которых пытались сделать Карамзина его последователи. К 1810 г. борьба имела уже давнюю традицию. Не вдаваясь в сущность этого сложного литературного явления, нужно подчеркнуть, что литературные противники Карамзина не ожидали с выходом «Истории» каких-либо принципиальных новаций историографа по части слога и языка.

Важно отметить и другое: вовлечение труда Карамзина в научно-историческую и общественно-политическую борьбу тех лет. Нам неизвестно, какую роль играл Карамзин в организованном в 1803 г. при Московском университете Обществе истории и древностей российских как один из его первых членов. Зато хорошо известно другое: Общество, на которое была возложена задача издания русских летописей, мало продвинулось к 1810 г. в ее реализации, как бы наглядно подтверждая однажды сказанное историографом: и десяти обществам не под силу сделать того, что способен человек, полностью посвятивший свою жизнь одному делу. Награждение Карамзина означало признание успешного хода работы над «Историей». Немудрено, что оно встретило негодование у нового попечителя Московского учебного округа, известного реакционера П. И. Голенищева-Кутузова, вынашивавшего планы реорганизации Общества. В его письмах-доносах министру народного просвещения содержатся

многочисленные обвинения Карамзина в якобы чинимых препятствиях работе Общества, «лживости», «вымыслах и фантазиях», которыми будто бы переполнены написанные историографом тома «Истории».

Доносы содержали и серьезные политические обвинения. Голенищев-Кутузов сообщал, что сочинения Карамзина пользуются в Москве огромной популярностью, все они «исполнены вольнодумческого и якобинского яда», а сам их автор стремится чуть ли не в первые консулы. «Давно бы пора его запереть, не хвалить бы его сочинения, а надобно бы их сжечь»,— заключал в одном из таких доносов Голенищев-Кутузов [10]. 2 декабря 1810 г. он же вновь писал министру о необходимости «демаскировать» Карамзина «как человека, вредного обществу и коего все писания тем опаснее, что под видом приятности преисполнены безбожия, материализма и самых пагубных и возмутительных правил, да и беспрестанные его публичные толки везде обнаруживают его, яко якобинца» [11]. Как свидетельствует одно из писем Карамзина к своему другу И. И. Дмитриеву, ставшему в 1810 г. министром юстиции, было еще одно «московское донесение» уже прямо Александру I, в котором историограф обвинялся в связях с масоном и французским шпионом шевалье де Месансом [12].

Когда читаешь доносы Голенищева-Кутузова, невольно кажется, что за ними скрывается человек с больным воображением, мелочный, завистливый и злопамятный. Очевидно, так оно и было. Но характер обвинений не может не настораживать: «правый крылос», как однажды выразился Вяземский, в сочинениях и поведении Карамзина видел вольнодумство и якобинство, недвусмысленно предупреждая, что ими может быть пропитан и новый труд историографа.

Насколько Карамзин был далек от «якобинства», скоро показала его «Записка о древней и новой России». Непосредственными же ответами на доносы, ставшие известными современникам, следует считать две информации на страницах официальной правительственной газеты, выходившей под редакцией хорошего знакомого Карамзина, министра внутренних дел О. П. Козодавлева. Для успокоения общественного мнения и нейтрализации обвинений Голенищева-Кутузова в них «*заподлинно*» (подчеркнуто в тексте.— *В. К.*) сообщалось «*самое достоверное и никакому сомнению не подверженное известие*» об успешном ходе работы историографа над «Историей» [13].

Источники позволяют отнести следующую вспышку полемики к 1815 г., когда современники получили возможность познакомиться со стихотворением Карамзина «Освобождение Европы и слава Александра I». Несмотря на патриотический пафос, стихотворение вызвало недовольство в определенных кругах русского общества. Крайне раздраженно отнесся к нему даже такой поклонник Карамзина, как К. Ф. Калайдович [14]. Откликом на эти недовольства стало послание В. Л. Пушкина к П. А. Вяземскому, в котором тот жаловался, что патриотические идеи стихотворения историографа не встречают сочувствия у «мнимых знатоков» [15]. В ответном послании Вяземский брал под защиту Карамзина, а заодно и подготавливаемый им труд:

Что век зоила? – день. Век гения – потомство.
Учись! Здесь Карамзин, честь края своего,
Сокрывшихся веков отважный собеседник,
Не знает о врагах, шипящих вкруг него [16].

Одна из известных эпиграмм на Карамзина:

Послушайте: я сказку вам начну
Про Игоря и про его жену,
Про Новгород, про время золотое
И, наконец, про Грозного царя...
– И, бабушка. Затеяла пустое,
Докончи лучше нам Илью-богатыря [17],

принадлежащая, по всей видимости, перу А. С. Грибоедова и написанная между 1815–1818 гг., оказалась всего лишь наиболее известной из тех, что были написаны упомянутыми в послании Вяземского «зоилами». Она, например, находит аналогию в двух строках сатирического стихотворения князя Д. П. Горчакова, посвященных Карамзину:

И даже Мирлофлор, прозопиита дамской,
Мечтающий пленять то былью нас, то сказкой [18].

Вообще скептическое отношение к тому, что выйдет из-под пера Карамзина-историка (а не сомнение в его способности «справиться с поставленной задачей», как иногда трактуют, например, эпиграмму «Послушайте: я сказку вам начну...» [19]), было, по всей видимости, широко распространено в кругах литературных противников историографа до выхода «Истории», т. е. до знакомства с ней

читателей. В этом убеждают и приведенное выше мнение А. И. Тургенева, и эпиграмма Марина, и эпиграмма Грибоедова.

Но уже первые публичные чтения в Петербурге в 1816 г. Карамзиным отрывков из «Истории» должны были их существенно поколебать. Понятна высокая оценка услышанного Жуковским, который полагал, что труд Карамзина составит эпоху в развитии русской литературы, языка и исторических знаний, наполнит яркими образами отечественную историю[20]. Зато куда необычней звучал отзыв не питавшего особых симпатий к Карамзину Н. М. Лонгинова. В письме в Лондон к графу С. Р. Воронцову он сообщал о прослушанных главах о нашествии Мамая и писал, что «если все таково, как эти две главы, то труд будет прекрасным, стиль простой и величественный, без цветистости и большей частью такой же, как и документы, которые цитирует автор из наших архивов»[21]. Если добавить к этому восторженное удивление, которое вызвал слог и язык «Истории» у П. П. Татаринова, одного из членов катенинско-грибоедовского кружка, скептически относившегося к литературному творчеству Карамзина, то можно представить, насколько поражены были современники литературной стороной «Истории».

Впрочем, вскоре первые слушатели и читатели «Истории» обнаружили интерес и к другой ее стороне. А. И. Тургенев в письме к брату Николаю, назвав «превосходным» предисловие, одним из достоинств труда Карамзина считал отсутствие в нем «рассуждений», летописную манеру повествования и наличие «апофегм», которые могли бы, по его мнению, стать основой русской конституции[22]. В ответном письме прозучали иные оценки. Н. И. Тургенев был готов, как уже говорилось, считать Карамзина «хамом», трусливо или по неумению отказавшимся от «рассуждений». По словам Н. И. Тургенева, «История», хотя и может обогатить современников фактическими знаниями о прошлом, не будет способствовать распространению в России «либеральных идей», скорее наоборот[23].

После выхода первых восьми томов «Истории», по свидетельству А. С. Пушкина, «несколько времени нигде ни о чем ином не говорили». Об этих устных обсуждениях мы узнаем из переписки и дневников современников. По свидетельству Татаринова, много нареканий вызвало посвящение «Истории» Александру I[24]. Позже,

в 1821 г., М. П. Погодин в своем дневнике запишет одно из распространенных нареканий. «Мне и на Карамзина мочи нет досадно,— писал он,— за подносительное письмо к государю. Неужели он не мог выдумать с приличием ничего такого, в чем не видно было бы такой грубой, подлой лести? Этого я ему не прощаю. Притом, кроме лести, связано с целым очень дурно» [25]. Н. И. Тургенев, перебравшийся к этому времени в Петербург, записывает суждения о труде Карамзина посетителей Английского клуба: одни вроде Н. В. Венгерского не находили в нем ничего нового, другие, как барон Г. А. Розенкампф, заявляли, что сами могли бы написать лучше, третьи посмеивались над отдельными фразами «Истории» типа «великодушное остервенение», четвертые недоумевали над названием, отсутствием в предисловии даже упоминания о Петре I и т. д.[26] О петербургских критиках предисловия сообщал в Москву В. Л. Пушкину и арзамасец Ф. Ф. Вигель. В передаче адресата они звучали так: «Некоторые критикуют предисловие, утверждая, что он (Карамзин.— *В. К.*) в нем предсказывает падение нашей империи, что автор мало говорит похвального о предках наших» [27].

Среди «глупых», по определению А. С. Пушкина, светских суждений постепенно оформлялись основные направления критики «Истории». Критическая струя все больше набирала силу, хотя в среде поклонников историографа, прежде всего в «Арзамасе», она первоначально не принималась всерьез. Разговор об «Истории» начал подниматься до серьезных общественно-политических и литературных споров, в которых снобизму и патриархальному консерватизму посетителей петербургского салона княгини Е. И. Голицыной и Английского клуба противопоставляли антимонархические и антикрепостнические идеи будущие декабристы.

Жадно прочитывал страницу за страницей Н. И. Тургенев. Его дневник отразил преодоление обволакивающей, усыпляющей «прелести» картин и слога «славного творения» Карамзина. С нескрываемым презрением записывая мнения посетителей Английского клуба, он начинает спорить и с историографом. Это пока еще краткие, несвязные мысли: история народа принадлежит народу, а не самодержцам, как утверждал в предисловии Карамзин; историограф явно идеализирует царствование Ивана III, его правление — это не только возрождение могущества государства, но и усиливающееся «рабство подданных и

укореняющийся деспотизм правительства». В письме к П. Б. Козловскому декабрист окончательно формулирует свое отношение в это время к «Истории». «Я уверен,— пишет он своему корреспонденту,— что вы отдадите полную справедливость этому бессмертному творению. Но заметьте также и непривлекательность правила историка относительно тех причин, которые утверждают и возвеличили Россию и которые, по мнению его, и на будущее время должны быть палладиумом нашей национальности»[28]. Не самодержавие, заключал Тургенев, делало и сделает счастливым русский народ, не оно является двигателем исторического прогресса. Карамзин со своей идеей самодержавия — не беспристрастный историк, а придворный историограф. Сурово-презрительным осуждением монархической концепции историографа была пронизана и написанная, по всей видимости им, эпиграмма на Карамзина «Решившись хамом стать пред самовластья урной».

Нотки тургеневских оценок отчетливо слышатся и в мнениях об «Истории» других декабристов и близких к ним лиц. М. И. Муравьев-Апостол назвал ее «царедворной подлостью». Позже такой же эпитет применительно к «Истории» употребит и П. И. Катенин, члены кружка которого, по свидетельству А. С. Пушкина, к тому же сочиняли издевательские пародии на встречавшиеся в труде Карамзина сентиментальные места, а также отмечали «трудность его нового слога»[29]. Отзвуки тургеневской и катенинской оценок слышны и в отзыве об «Истории» генерала И. А. Вельяминова, который в 1820 г. писал поэту и переводчику Д. И. Языкову: «В ней нет ни исторической критики, ни духа философского, ни проницания государственного человека; не найдешь в ней ни одной части, которая бы была искусно обработана — ни военная, ни гражданская, ни законодательная, ни политическая, ни географическая, ни критическая российских древностей; даже самый слог во многих местах не имеет исторической важности и весьма часто сбивается на Бедную Лизу и Наталью, боярскую дочь. Одним словом, она есть произведение весьма посредственного ума. Ее потому только читать будут, что она полнее и слог в ней новый, а следовательно, и приятнее. Желательно было, чтоб последние тома были лучше первых, но, судя по духу автора, он еще более выставит себя царедворцем, нежели историком»[30].

Этот «дух» Карамзина встретил решительное осужде-

ние и в эпиграмме, написанной, по всей видимости, Пушкиным:

В его Истории изящность, простота
Доказывают нам без всякого пристрастья
Необходимость самовластья
И прелести кнута [31].

Вскоре из стен Российской академии раздалась и первая публичная критика «Истории». Академия была давним оплотом противников литературных и языковых новаций Карамзина. Не случайно в начале 1818 г., еще до выхода «Истории», на страницах журнала «Благонамеренный» появилось стихотворение «Ответ и совет», в котором, откликаясь на новый устав Российской академии, автор, скрывший свое имя под псевдонимом «О. Н...», зло высмеивал этот устав и, между прочим, предупреждал читателей:

Устав их в двух статьях: одною он вели
Чтоб даже в мадригалах
Славянские слова всегда ты помещал;
Другою, чтоб *своих* отважно защищал.
Притом писателей, прославивших Россию,
Осмеивай, брани – пристрастность не нужна –
И проклинай Ка[рамзи]на:
Сочлены чувствуют к нему антипатию
За то, что первый он осмелился ввести
В стихи и прозу слог приятный
Для них и дикий и невнятный [32].

Однако критика, раздавшаяся из стен Российской академии, касалась не литературных и языковых недостатков «Истории». Известный и плодовитый историк Т. С. Мальгин обрушился на первые главы «Истории». Развивая концепцию С. Сестренцевича-Богуша и других исследователей о варягах — славянах, призванных княжить на Русь, он заявлял, что она «мне как русскому кажется и приятнее и справедливее всех натяжек, насильных и странных наименований, иностранцами даемых, а некоторыми русскими попускаемых, но час от часу более несносных». В патриотическом воодушевлении он заключал свое большое выступление сожалением, что «самый новейший и много обещавший писатель российской истории уклонился от очищенных стезей и самонадеятельно упустил многие истины о славянах, наших

неотрицаемых предках, оставивших и у нас, и у прочих окрестных народов неизгладимые следы языка своего и славных деяний, почитаемых некоторыми за басни и вымыслы несодеянные и невероятные» [33].

Эти и другие устные высказывания с критикой «Истории» не прошли мимо внимания отечественной периодики. Еще до выхода труда Карамзина, явно откликаясь на них, Н. И. Греч в «Сыне Отечества» заявил, что в России с появлением сочинения историографа будет наконец «настоящая русская история». Лишь только невежды, по его мнению, толкуют, что она написана в том же сентиментальном духе и тем же языком, что и ранние работы Карамзина [34].

В том же журнале вскоре появился и прямой отклик на устные обсуждения, принадлежавший перу поэта П. И. Шаликова. Письмо Шаликова представляло собой попытку осмеять московских критиков труда Карамзина, рассуждающих о нем «по всем кабинетам — ученым, светским и дамским». Отмечая большой читательский успех «Истории», Шаликов свидетельствовал, что не у всех москвичей она встретила положительную оценку. Как и Н. И. Тургенев, он писал о критике, которую вызвало название сочинения историографа. Автор привел мнение некоего «бригадира», который обнаружил в «Истории» несколько действительно неудачных выражений. Рассказав об этих и других замечаниях своих московских собеседников, Шаликов счел выполненной свою задачу скомпрометировать критиков «Истории», заканчивая письмо целой тирадой в их адрес: «В продолжение двух или трех недель,— пишет он,— со времени появления *здесь* Истории г-на Карамзина, не удалось мне, думаю, и другим слышать от премудрых ареопагитов нашего большого и посредственного света, например, о расположении ее, о том, удовлетворительным ли образом изъясняются в ней темные и запутанные места и обстоятельства нашей истории... и прочее, сему подобное. Нет! Но берутся учить *языку* и слогу того, чей язык и слог составляют одну из блестящих эпох нашего отечества!» [35]

К «зоилам» Карамзина Шаликов вскоре вновь вернулся в одном из своих стихотворений, где пригрозил им совершить «подвиг Ахиллов», пока останавливаемый только величием историографа [36].

Выступления Шаликова представляли собой типичный образчик «защиты» Карамзина бездарными литературными последователями и подражателями. Спустя не-

сколько лет В. К. Кюхельбекер, ознакомившись с первым из них, назвал его «великой ахинеей», «удивительной, трогательной, изящной, словом, достойной Шаликова!»[37]

«Очаровательность слога» «Истории», составившего «эпоху в истории отечественной словесности», была отмечена в небольшой заметке литератора В. Н. Олина[38]. Высокую общую оценку труда Карамзина вновь подтвердил Греч в специальной рецензии. Предоставляя другим более пространный разбор «Истории», Греч вслед за Шаликовым и Олиным особое внимание обратил на «слог», считая его непревзойденным[39].

Событием незаурядным назвал выход и обсуждение «Истории» Каченовский в заметке на страницах издаваемого им «Вестника Европы». Это событие было поставлено им в один ряд с недавно состоявшимся открытием в Москве памятника К. З. Минину и Д. М. Пожарскому. Естественно, заметил автор, что «История» находит восторженных поклонников и критиков. Труд Карамзина, заключал он, требует не скороспелых суждений, а «рассмотрения прилежного, ученого, почтительного, но и беспристрастного, ибо *грубое пристрастие*, скажем собственными словами знаменитого историка... есть следствие ума слабого или души слабой»[40].

На первый взгляд эта заметка содержала обычные вежливые сентенции, усыпившие, например, бдительность В. А. Жуковского, который, прочитав ее, писал А. И. Тургеневу, что Карамзин «сделал чудо: победил Каченовского, который говорит о его творении с благоговением»[41]. Но на самом деле в заметке уже содержалась установка на критику «Истории»: фраза о беспристрастии и грубом пристрастии явилась первым камешком в огород историографа.

Уже в апрельском номере журнала была помещена статья, поправлявшая частное мнение Карамзина о медных дверях Новгородского Софийского собора. Ее автор, ссылаясь на недавно опубликованные «Записки» С. Герберштейна, отрицал возможность вывоза дверей из Херсона, как считал Карамзин[42]. Статья демонстрировала понимание Каченовским «ученого» и «беспристрастного» разбора «Истории».

Впрочем, вскоре редактор «Вестника Европы» не упустил возможности в критике труда историографа использовать и хлесткий журналистский прием. Зимой 1817/18 гг. была легализована конфиденциальная «Записка о московских достопамятностях». Сначала она

распространялась в списках *, а затем по одному из них с рядом ошибок неожиданно для историографа была опубликована В. Н. Каразиным в майском и июньском номерах «Украинского вестника»[43]. «Записка» вызвала бурю негодования, особенно среди жителей Москвы и Петербурга, уязвленных мнением Карамзина о Московском университете и строительстве храма на Воробьевых горах. Вот что писал, например, в Лондон Воронцову Лонгинов еще до ее публикации в журнале: «Ваше сиятельство абсолютно правы в своем строгом осуждении описания Москвы, сделанного Карамзиным для императрицы. Он предпочитает выглядеть сам более привлекательным, особенно при дворе, где он и так избалован свыше меры. Таковы во все времена пороки большей части сочинителей»[46].

Каченовский ловко использовал атмосферу вокруг «Записки», явно враждебную Карамзину, особенно в Московском университете. В июльском номере «Вестника Европы» он поместил письмо к издателям «Украинского вестника». В письме выражалось притворное удивление тем, что «Записку» мог написать Карамзин, проживший большую часть своей жизни в Москве и тесно связанный с Московским университетом. Одно даже предположение об этом, с гневом замечал Каченовский, «должно быть оскорбительным для личности писателя, стяжавшего славу». «Записка» принадлежит перу анонима, прикрывшегося именем историографа. Такой прием открывал широкие возможности для критики обоих сочинений Карамзина.

В письме отмечаются многочисленные ошибки исторической части «Записки», ее фактические расхождения с уже вышедшей «Историей», «неприличные суждения» и хвастовство, несовместимые «со скромностью не только писателя, но даже всякого благовоспитанного человека». К их числу рецензент отнес содержащееся в «Записке» лишь предположение об основании Москвы Юрием Дол-

* Карамзин ссылался «на общих наших любезных приятелей», пустивших ее по Москве[44]. По свидетельству В. К. Кюхельбекера, он, выполняя просьбу В. А. Жуковского, перевел ее на немецкий язык «с своеручного подлинника» Карамзина[45]. Возможно, что это сделала сама императрица. К такому заключению приводит запись на списке этого сочинения, оказавшемся у П. А. Вяземского. Из нее следует, что по крайней мере А. Л. Нарышкин, об усадьбе которого шла речь в «Записке», прочитал ее у Марии Федоровны и даже заверил ту, что усадьба будет отремонтирована.

горуким, тогда как в «Истории» об этом сказано вполне однозначно, сведения о боярине Кучке и пустыннике Букале, которые в «Записке» поданы как достоверные факты, а в «Истории» названы легендарными. В числе «неприличных суждений» автор письма называет мнение о Московском университете и строительстве храма на Воробьевых горах. В последнем случае прямо указывалось на оппозицию «Записки» замыслу Александра I. Касаясь автобиографических мотивов «Записки», рецензент с издевкой спрашивал: «Ужели почтеннейший Николай Михайлович, сочиняя Записку для назначения высокого, вздумал бы и о себе говорить там, где сие не может и не должно быть терпимо?» [47]

Письмо к издателям «Украинского вестника» не только отмечало расхождения между исторической частью «Записки» и «Историей», но и компрометировало последнюю так же, как и самого Карамзина. Спустя несколько лет Кюхельбекер, вновь прочитав письмо Каченовского, записал в дневнике: «Начинаются в Вестнике щелчки Каченовского историографу; надобно признаться, что они не глупы и очень злы. Всего забавнее письмо к издателям Харьковского вестника: это истинно предательская штука... критик говорит о них (Кюхельбекер называет «Записку» «Записками».— *В. К.*) такие вещи, от которых нет другого средства как только отмалчиваться» [48].

Карамзин колебался в поисках путей выхода из ситуации, в которой он оказался: признать публично свое авторство «Записки» или сохранять молчание. Выход в конце концов был найден: спустя два года «Записка» с компрометирующими Карамзина купюрами была опубликована в собрании сочинений историографа. Сейчас же по горячим следам он решил обратиться в Министерство народного просвещения с жалобой на «наглость» «Украинского вестника», опубликовавшего без ведома автора его сочинение. Отголоском этой жалобы, очевидно, следует считать предложение министра в цензурный комитет: «...не следует ли вовсе не допускать „Украинский вестник" к печатанию или лучше прекратить его немедленно?» [49]. В 1820 г. журнал прекратил свое существование.

В лагере Карамзина «плюгавое произведение плюгавого Каченовского», как выразился П. А. Вяземский, было встречено с нескрываемым раздражением. В. Л. Пушкин писал Вяземскому: «...неистовая критика Каченовского меня бесит: московский Фрерон (французский

публицист, критик Вольтера.— *В. К.*) злобою и глупостью превосходит парижского»[50]. Не меньше был возмущен и сам Вяземский. В письем к Д. В. Дашкову, сотоварищу по «Арзамасу», он делился своими впечатлениями: «Вы не поверите, что делает Каченовский? Вы один могли бы надеть намордник этой бешеной собаке, которая в Вестнике с цепи сорвалась на Карамзина»[51]. Но что-либо противопоставить в этот момент Каченовскому сторонники Карамзина не смогли, обращая весь пыл своего негодования на цензуру Московского университета. В глазах Вяземского и И. И. Дмитриева выступление «Вестника Европы» явилось глумлением над «представителем нашего просвещения в глазах ученой Европы». «Я и сам удивляюсь,— писал Вяземский Дмитриеву,— что князь Андрей Петрович (Оболенский, новый попечитель Московского учебного округа.— *В. К.*) дозволяет таким образом бесчестить и марать журнал, издаваемый университетом»[52].

Пока лагерь Карамзина был занят обсуждением «выходок» «Украинского вестника» и «Вестника Европы» — противников давних и хорошо знакомых по литературной борьбе тех лет, все больше набирала силу критика из иного лагеря. Едва ли не первым с ней пришлось познакомиться Вяземскому, одному из самых горячих защитников Карамзина. В мае и июне 1818 г. он получил два письма арзамасца Рейна — декабриста М. Ф. Орлова. Я ждал от «Истории», заявлял в них Орлов, «не торжества словесности, но памятника славы нашей и благородного происхождения, не критического пояснения современных писателей, но родословную книгу нашего, до сих пор для меня еще не понятного древнего величия»[53]. Основной упор в своей критике Орлов перенес на разбор карамзинской концепции древнерусского государства. Как могло случиться, спрашивал декабрист, если следовать повествованию Карамзина, чтобы иноземец Рюрик «воцарился над чуждым народом», а затем государство всего за полвека из небытия стало могучим, «обратилось в одно целое» и «реки просвещения и обилия протекли в Отечестве нашем». По мнению Орлова, этот немыслимый с точки зрения здравого рассудка феномен Карамзин оставил без объяснения. Положив в основу своего труда недостоверные источники, историограф полностью игнорировал эпоху, предшествующую призванию Рюрика, эпоху могущества славянских племен, подготовившую ее «древнее величие».

Критика Орлова широко и серьезно ставила вопрос об истоках древнерусской государственности. Ответ на него имел принципиальное значение в общественной борьбе тех лет, поскольку Карамзин связывал его в соответствии со своими монархическими убеждениями с основанием династии Рюрика. Своего ответа на этот вопрос в сохранившихся письмах декабрист не дал. Но то, что, возможно, оставалось непонятным или смутно угадывалось Орловым, было очевидно для Н. М. Муравьева. В его замечаниях на «Историю» мысль декабриста постоянно вращается в направлении постижения социального и политического строя славянских племен, направлении, *кардинально противоположном* концепции Карамзина. Муравьев осторожен в своих выводах, но одно для него ясно: Карамзин устранился от свидетельств многих источников о высоком уровне развития древних народов России, не предпринял попыток разобрать гипотезу о принадлежности части их к славянам, во многих местах своего труда «темен», нередко неточно излагает свидетельства источников [54].

Еще более беспощаден декабрист в критике предисловия к «Истории». Он решительно не соглашается с представлениями историографа о «пользе» истории с вытекающими из них политическими выводами, обосновывающими примирение с действительностью, с его взглядами на задачи и предмет исторического труда. Возражения Муравьева вызывает отождествление Карамзиным древних греческих и русских удельных междоусобий. Декабрист решительно не соглашается с мыслью историографа о том, что главное в историческом труде — сила и красота повествования.

Критика «Истории» Муравьевым носила откровенно политический характер, отрицая целый ряд общетеоретических и конкретно-исторических положений и выводов Карамзина, связанных с основополагающей идеей историографа о «благотворности» для России самодержавной власти.

«Без гнева и пристрастия, причины которых я оставляю в стороне». Эти слова Тацита Муравьев выбрал в качестве эпиграфа к своей работе об «Истории». Решительно не соглашаясь с политическими идеями исторической концепции историографа, декабрист не отрицал в то же время «великости» его труда. После выхода «Истории» «мы гораздо знакомее стали с делами предков наших», констатировал он.

«Мысли об „Истории государства Российского" Н. М. Карамзина» Муравьева представляли собой наиболее яркий и аргументированный образец дошедшей до нас критики труда историографа, раздавшейся из лагеря его политических противников — декабристов. Вместе с письмами М. Ф. Орлова, вместе с критикой Н. И. Тургенева в его письмах и дневнике, вместе с устными обсуждениями «Истории» в декабристской среде «Мысли» Муравьева придали полемике злободневное политическое звучание, связав обсуждение конкретных вопросов отечественной истории, в частности «дорюрикова» периода истории славянского народа, с поиском путей решения современных проблем русской жизни, и в первую очередь с поиском и обоснованием формы государственного устройства будущей России, которая так интересовала декабристов.

На фоне этих выступлений еще большую силу набирала критика «Истории» со страниц «Вестника Европы». В сентябрьском номере журнала было опубликовано письмо «От Киевского жителя к его другу», являвшееся, как отмечалось, фальсификацией Каченовским писем Орлова из Киева к Вяземскому в Варшаву. В письме признавалось, что Карамзин сделал «российскую историю известнее для многих, даже и для строгих судей его». Однако автора письма не удовлетворяют появившиеся на страницах отечественных журналов отклики на «Историю». Редакторов этих журналов он сравнивает с военным караулом, отдающим ей «честь игранием на трубах или барабанным боем». В письме содержалось обещание разобрать предисловие к «Истории» (возможно, этим же намекалось и на разбор предисловия Н. М. Муравьева, уже ставшего известным), вызывающее по мнению автора, в ряде мест серьезные возражения [55].

Постепенно оправлялись от шока, вызванного разбором Каченовским «Записки о московских достопамятностях», и сторонники Карамзина. Они были серьезно обеспокоены ударом, который нанес редактор «Вестника Европы» авторитету историографа. Наиболее активный из них — Вяземский — предпринимает попытку организовать коллективный отпор выступлениям Каченовского. Под знаменем «Арзамаса» он предлагает принять в нем участие В. Л. Пушкину, Д. В. Дашкову, А. И. Тургеневу [56]. Отпор вылился в написание многочисленных эпиграмм на редактора «Вестника Европы». Особой хлесткостью отличалась эпиграмма А. С. Пушкина:

Бессмертною рукой раздавленный зоил,
Позорного клейма ты вновь не заслужил!
Бесчестью твоему нужна ли перемена?
Наш Тацит на тебя захочет ли взглянуть?
Уймись – и прежним ты стихом доволен будь,
Плюгавый выползок из гузна Дефонтена[57].

Приведя в последней строке эпиграммы слова И. И. Дмитриева из ранней эпиграммы на Каченовского, Пушкин вслед за Дмитриевым намекал тем самым, что Каченовский несправедливо ополчился на Карамзина, как когда-то Дефонтен – на великого Вольтера.

Мотивами зависти и клеветы объяснял выступления Каченовского против Карамзина в своей эпиграмме и Вяземский:

Иссохлось бы перо твое бесплодно,
Засухою скончались бы листы,
Но помогать бедам искусства сродно:
В желчь зависти перо обмокнешь ты,–
И сызнова на месяц – два свободно
С него польются клеветы[58].

В июле–сентябре 1818 г. пишет стихотворение «К творцу „Истории государства Российского“» К. Н. Батюшков. Опубликованное только в 1824 г., оно содержало высокую оценку творчества Карамзина. Автор сравнивал историографа с Фукидидом, а себя – с молодым греком, жадно слушающим «Историю»:

И я так плакал в восхищенье,
Когда скрижаль твою читал,
И гений твой благословлял
В глубоком сладком умиленье.
Пускай талант не мой удел!
Но я для муз дышал недаром,
Любил прекрасное, и с жаром
Твой гений чувствовать умел[59].

На разбор Каченовским «Записки» Карамзина откликнулись журналы «Благонамеренный» и «Сын Отечества». Любопытно, что в последнем случае автором отклика был декабрист Н. И. Тургенев. Выступление «Вестника Европы» с критикой Карамзина, полагал он, свидетельствует, что «русская литература разделяет с нашими обычаями влияние варварства татарского: последний из

воинов Батыевых не показал бы в суждениях своих менее достоинства и менее вкуса, как г. двоюродный брат *Московского бродяги* в письме своем к издателю Украинского вестника... Вот истинное нашествие на совесть и здравый рассудок!»[60]. Однако, как показал С. С. Ланда, выступление Тургенева одновременно представляло собой скрытую полемику и с Карамзиным. Отмечая, что «наш бессмертный историк изобразил яркими чертами те несчастия, которые отечество наше претерпело от ига татарского», в том числе оставленные им следы в «русском характере», декабрист подчеркивал, что последствий ига оказалось больше, «сколько обыкновенно думают». Например, возникновение в это время одного из самых страшных зол современной России — «внутреннего татарского ига» — крепостничества. Спор о роли иноземного господства Тургенев использовал для осуждения крепостничества, подспудно обвиняя историографа в том, что тот в своей «Истории» обошел этот важный вопрос[61].

Статья Тургенева, а также «эпиграммный залп» защитников Карамзина не прошли мимо внимания Каченовского. В октябрьском номере «Вестника Европы» он поместил «Записки Лужницкого старца». В них сообщалось, что разбор публикации «Украинского вестника» был «перетолкован в Москве по-разному». Одни полагали, что автор разбора — рьяный защитник Карамзина, взявшийся отстоять честь историографа от посягательства неизвестного фальсификатора. Зато другие «отыскали мою квартиру, и не проходит дня, чтобы кто-нибудь не пожаловал ко мне с укоризнами, угрозами в зависти, неблагодарности, невежливости, с угрозами сочинить на меня комедии, сатиры и напечатать уже давно и мастерски написанные эпиграммы, с просьбами о том, чтобы я раскаялся, признался в своем проступке»[62].

«Записки Лужницкого старца» показали, что редактор «Вестника Европы» не намерен отступать в своей позиции по отношению к «Истории». В ноябре Каченовский опубликовал письмо «От любителя изящных искусств к его другу», содержавшее пространные выписки из сочинений разных авторов о значении, задачах и форме критики. Главная мысль автора была выражена следующим образом: «В благоустроенных республиках словесности должна быть своя оппозиция, точно такая же, как и в республиках политических»[63]. По его мнению, критика всегда приносит пользу. В ее основе должна

лежать не сатира, клевета, зависть или оскорбление, а внимательное, беспристрастное рассмотрение положительных и отрицательных сторон любого сочинения. Такая критика «приводит в движение множество голов и делает чудеса».

Письмо «любителя изящных искусств» прямо включалось в общий контекст полемики. Во-первых, автор с негодованием писал своему «другу» о том, что некоторые не только выступают против критики вообще, но и к критике «исторической», т. е. к источниковедческому анализу, относятся с презрением. Здесь Каченовский имел в виду слова Карамзина, сказанные в предисловии к «Истории» об источниковедческой критике как «мелочном труде». Во-вторых, письмо содержало выпад против защитников историографа, превозносящих его труд в «модных обществах *людей со вкусом*», никогда не имевших дела с историческими источниками.

В какой-то степени ответом на это выступление «Вестника Европы» стала речь Карамзина в Российской академии по случаю принятия его в ее члены. Сейчас в России, заявлял историограф, необходимо «более хвалить достойное хвалы, нежели осуждать, что осудить можно». Где нет предмета для хвалы, заключал он, «там скажем все — молчанием» [64]. Чтение и публикация этой речи [65] для сторонников Карамзина выглядели своеобразной реабилитацией позиции терпимости, занятой историографом по отношению к своим критикам, стали торжеством над литературными и языковыми принципами консервативной академии. «И он не произносил речь, но, кажется, наставлял своих слушателей с чувством, которое отзывалось в думах наших и оживляло лица»,— делился своими впечатлениями А. И. Тургенев [66]. Даже Кюхельбекер спустя несколько лет записал в дневнике: «Речь, произнесенная Карамзиным в Российской академии 5 декабря 1818 г., невольно заставляет улыбнуться — не содержанием своим, слогом (хотя содержание и слог и не совершенно таковы, каковыми должны были быть в сем случае). Но... Шишков слушал Карамзина, Шишков должен был слушать с изъявлением удовольствия слова: *чувствительность*, *симпатия*, слушать и некоторые мысли, которые он давно объявил ересью, сверх всего этого слушать даже нечто похожее на поучение» [67].

Между тем свое обещание разобрать предисловие «Истории» начал реализовывать в специальной рецензии,

опубликованной в январе—марте 1819 г. в «Вестнике Европы», Каченовский.

В целом предисловие автор рецензии считает «совершенным за легкость в ходе, за связь в главных мыслях». Однако в ряде мест оно у него вызывает серьезные возражения. Рецензент не соглашается с утверждением Карамзина о соотношении для русского читателя «занимательности» отечественной и древней всемирной истории. История любого народа важна для человечества, утверждает он, главное — в «искусстве» ее повествования. В этом смысле автор рецензии берет под защиту от критики Карамзина древних и новых историков — Фукидида, Тацита, Ливия, Юма, считая их образцами для подражания. Рецензент не соглашается с мнением историографа о патриотизме, который, по словам Карамзина, «оживляет повествование», дает историку «жар, силу, прелесть». Автор рецензии возражает против включения в исторический труд нравоучительных и политических апофегм, рассуждений. Он не соглашается с периодизацией русской истории, предложенной Карамзиным, на древнюю, среднюю и новую. Отмечая ее недостаточную обоснованность и противоречивость, рецензент берет под защиту от критики Карамзина периодизацию А. Л. Шлецера.

Вообще рецензент старался всячески подчеркнуть авторитет Шлецера, особенно как знатока и критика исторических источников. Немецкий историк, по его мнению, своим «Нестором» показал образец того, без чего невозможен любой исторический труд. «Между тем,— продолжал автор рецензии,— мне самому случалось от некоторых слышать, что Шлецер ничего не смыслил в нашей истории, что одни *только невежи полагаются на его разыскания*»[68]. Это был скрытый упрек Карамзину. Подчеркнутое Каченовским представляло собой почти дословный пересказ фразы, сказанной историографом в 1810 г. в Обществе истории и древностей российских. Об этом Каченовский тогда же сообщал Жуковскому: «Вот что я услышал от Карамзина: Шлецер шарлатан, он иностранец; история русская была для него дело совсем стороннее; он ничего по этой части не знает и только что несет пустое, он пускает пыль в глаза для незнающих!!!»[69]

Автор рецензии уделяет много внимания неточностям вышедших к этому времени томов французского перевода «Истории». В контексте мыслей о Шлецере и других

критиках исторических источников (Г. С. Байере, А. Х. Лерберге, Ф. И. Круге), много сделавших, по его мнению, для очищения русской истории от недостоверных фактов, рецензент решительно возражает против замены во фразе русского текста предисловия слов об «учености немецкой» на слова «ученость обширную», а также против исключения во французском переводе пространного рассуждения Карамзина об «источниках поэзии» для писателя и воображения для историка в древнейшей русской истории. Указания на эти неточности перевода также представляли собой скрытый упрек Карамзину. Современникам было хорошо известно, что историограф принимал участие в подготовке этого перевода. Тем самым рецензент компрометировал Карамзина, обвиняя его в том, что тот не захотел показать более «просвещенной» европейской общественности свои поиски баснословных схем древнейшей русской истории и то, чему он обязан немецким исследователям. Кроме того, указывая на пропуски в переводе предисловия, Каченовский недвусмысленно намекал и на то, что переводчики как бы «стыдились» «гиперборийскую», т. е. мнимую, «нашу ученость» показать искушенному европейскому читателю. Тем самым рецензент отрицал и европейскую значимость труда Карамзина.

Рецензия, опубликованная в «Вестнике Европы», поставила под сомнение труд историографа как серьезное историческое сочинение. Не «свет познаний», а «забава», которая может принести удовольствие вроде романа,— вот что представляет собой «История», если внимательно присмотреться к мыслям ее автора, изложенным в предисловии,— таков был вывод автора рецензии. В этом смысле он прямо говорит, что один из приемов исторического повествования Карамзина — «влагать» в уста исторических лиц речи, основанные на пересказе источников — безнадежно устаревший прием, лишь драматизирующий повествование, но не имеющий ничего общего с подлинным историческим рассказом.

И тем не менее направленность рецензии была более широкой. Рецензия явно откликалась и на письма декабриста Орлова к Вяземскому, в частности на обвинения, адресованные им Карамзину, в «беспристрастном космополитизме», отсутствии патриотизма. Не вникая в подлинный смысл слов Орлова, подробно раскрытый им во втором письме к Вяземскому, сознательно искажая точку зрения Карамзина о влиянии патриотизма на исто-

рика (слова историографа об этом отнюдь нельзя понимать в том смысле, что патриотизм он ставил выше беспристрастия), Каченовский искусственно объединял кардинально противоположные позиции Орлова и Карамзина, пытался показать, что они якобы далеки от представлений о подлинно научном историческом труде.

Соответствует ли повествование Карамзина истинному ходу происшествий — этот вопрос, поставленный в рецензии «Вестника Европы», повторил в письме к его редактору и анонимный «Житель Девичьего Поля» [70]. Письмо написано в духе позиции, занятой журналом по отношению к труду историографа. Во-первых, оно откликается на приведенную выше заметку Шаликова. Автор признается, что именно его навещает регулярно «бригадир», упомянутый Шаликовым, и что именно «бригадир» упрямо повторяет: «Я хочу, хочу критиковать» Карамзина без каких-либо обоснований своего права на критику. Во-вторых, письмо прямо обвиняет историографа в том, что в погоне за «риторическими украшениями» он пренебрегает научной достоверностью. Откуда известно, передает «Житель Девичьего Поля» вопрос «бригадира», что Нестор, как пишет историограф, слушал «со вниманием» народные сказки, беседовал с путешественниками, старцами, читал церковные записки и т. д.? Все это, по мнению «бригадира», противоречит собственным словам Карамзина о том, что «истина служит основанием для исторической поэзии, но поэзия не история». Не прошли мимо внимания «бригадира» вычурность слога «Истории», отсутствие в обзоре источников упоминания о писцовых книгах, произведениях художественных ремесел и других источниках.

Письмо «Жителя Девичьего Поля» не ставило тех серьезных теоретических проблем исторического познания, которые ранее прозвучали в рецензии Каченовского. Оно являлось типичным примером той критики в адрес Карамзина, которую его приверженцы называли «мелочной». Новые критические статьи об «Истории» вызвали среди них очередную волну негодования. Об этом свидетельствует сам редактор «Вестника Европы» в письме к Н. И. Гнедичу: «Не говорите, бога ради, о критике на „Историю“. Досталось мне уже и за рецензию на одно лишь предисловие: одни отворачивались от меня, другие меня не узнавали, третьи называли меня попеременно то сумасбродом, то опасным человеком, иные даже старались вредить мне по службе; Жуковский, выругавши

меня добрым порядком в письме, прекратил со мной всякие сношения»[71]. Вяземский вновь попытался организовать печатное выступление против редактора «Вестника Европы». По некоторым сведениям, в это время он задумал стихотворный памфлет «Московская флора», где под видом различных представителей растительного царства намечал высмеять московских критиков Карамзина. Каченовский фигурировал в качестве «репейника»[72]. В апреле 1819 г. Вяземский прислал А. И. Тургеневу некие «розги» Каченовскому. Карамзин, ознакомившись с ними, просил передать Вяземскому: «...он всякую защиту почитает ниже себя и хотя сердцем и радуется твоему и Дмитриева участию, но не может согласиться с желанием вашим отвечать Каченовскому»[73].

В какой-то степени ответом на выступления «Вестника Европы» стал пересказ рецензии на первый том французского издания «Истории», помещенной в парижской газете «Le Constitutionnel», пересказ был опубликован в «Сыне Отечества»[74]. Он оказался чрезвычайно показательным, оттеняя те достоинства, которые подчеркивали в труде Карамзина его защитники. В нем сообщалось, что том «подает весьма выгодное понятие о сем творении», доказывая, что до нашествия Батыя Россия «находилась на одной степени просвещения с остальною Европою и что дальнейшую остановку в последующие веки надлежит приписать единственно пагубному нашествию татар». Весьма недвусмысленно подчеркивалось также, что «автор изображает характеры тогдашних государей, выводя их самих на позорище».

Вскоре тот же журнал поместил и более пространный отклик на «Историю» и развернувшуюся вокруг нее полемику, принадлежавший перу Н. Д. Иванчина-Писарева[75]. Автор просил, чтобы его не смешивали с толпой «крикунов»-карамзинистов. Он с презрением говорил и о «завистниках» историографа, пытаясь таким образом поставить себя над теми и другими. Иванчин-Писарев предпринял попытку краткого обозрения всего творчества Карамзина. Он особенно выделил «Письма русского путешественника», где, по его мнению, наряду с сентиментальными местами присутствовал уже дух великого писателя — «друга добродетели» — и историка, который если начнет служить музе истории Клио, «тогда вострепещите, Нероны! он отличит вас от Траянов, а вы, благодетельные гении народов, украсившие нить веков минувших, ожидайте венца». По мнению Иванчина-Писа-

рева, и в других сочинениях Карамзина обнаруживается его гений: в «Марфе-посаднице» виден образец ораторского слога, в «Похвальном слове» Екатерине II чувствуется истинный философ, в мелких исторических отрывках, опубликованных на страницах «Вестника Европы», заметны следы гиганта, идущего в храм истории.

Касаясь последнего труда Карамзина, Иванчин-Писарев в качестве его главных достоинств выделяет беспристрастие, связь повествования, патриотизм, стремление автора к сравнительно-историческому анализу и показу «сближения нас с иноплеменными народами», попытки определять «причину силы и славы царства русского, изображая характер его народа». Везде, утверждает Иванчин-Писарев, Карамзин сумел сохранить «силу и характер» подлинных действий и мыслей исторических лиц, снабдив «цветами и водопадами» свой рассказ о прошлом России, в результате чего труд историографа стал «палладиумом нашей словесности». «История», заключал Иванчин-Писарев, поставила русский народ «на ряду с просвещенными народами» мира.

Статья Иванчина-Писарева в наиболее концентрированном виде отразила позиции целой группы защитников труда Карамзина и их аргументы в споре с его критиками. Она переносила дискуссию о научных достоинствах и недостатках «Истории», о чем пытались говорить такие ее критики, как Муравьев, Орлов, Каченовский, в плоскость прежде всего ее чисто литературных достоинств и лишь отчасти затрагивала общественное звучание основных идей «Истории» и ее собственно научную значимость.

Но те вопросы, от которых пытался уклониться Иванчин-Писарев, последовательно ставил Каченовский. В октябрьском номере «Вестника Европы» он поместил большую статью польского историка З. Я. Ходаковского. Ходаковский перебрался в Петербург, стремясь добиться от русского правительства ассигнований на осуществление грандиозного плана археологического обследования России для сбора сведений о дохристианской истории славян. Основная часть работы Ходаковского[76] посвящена замечаниям на карту Руси XI в., составленную Карамзиным. Он уточняет места расселения славянских племен, объясняет происхождение их названий, определяет местоположение конкретных мест и урочищ, упоминавшихся в письменных источниках. Ходаковский поставил под сомнение летописное сообщение (и основанную на нем концепцию Карамзина) о призвании варягов, полагая, что

«варяги-русь» летописи — это не норманны, а одно из славянских племен.

Статья Ходаковского открыто подрывала представления Карамзина о «дорюриковом» периоде славянской истории. Объективно в основных положениях она совпадала с критикой «Истории» Орловым и Муравьевым, дополняя эту критику солидной и в значительной степени новой источниковой базой.

О том, насколько тщательно подошел польский ученый к построениям Карамзина, свидетельствуют сохранившиеся четыре первых тома «Истории» с его маргиналиями [77]. Его письма к И. Н. Лобойко позволяют еще более детально раскрыть отношение ученого к труду историографа. В них он отметил как серьезные недостатки «Истории» пристрастие автора («чужое опорочить, свое похвалить»), однообразные приемы исторического повествования, стремление красотой рассказа прикрыть натяжки, спорные места, некритическое использование иностранных источников, ошибки в «эпохе славянской», необоснованную модернизацию прошлого. Общий вывод Ходаковского в одном из писем к Лобойко звучал уничтожающе: «Сию Историю, во всех веках *единообразную*, всегда *нежную*, постоянно *легкую*, можно занимательно читать при алтаре в Книдосе и в собрании прелестей, нежели привязать к земле Российской, угрюмой и по характеру жителей, и по закону климата. Это прекрасный шар воздушный, который высоко парит, не касаясь ногами земли и всех мест, достопамятных происшествиями» [78]. Вслед за Каченовским Ходаковский отрицал какое-либо научное значение труда Карамзина, относя его в разряд занимательной литературы.

Выступление Ходаковского не прошло мимо сторонников Карамзина. Защиту концепции историографа об образовании Древнерусского государства взял на себя известный историк С. В. Руссов. К началу 1820 г. он подготовил книгу с разбором построений польского ученого [79]. Ее основной замысел — попытка доказать достоверность географии летописи Нестора в части, связанной с расселением славянских племен, а также летописного рассказа о призвании варягов. Автор скептически относится к планам Ходаковского на основе археологических источников установить территорию расселения славян и определить границы конкретных славянских племен. Призыв Ходаковского к расширению круга источников о славянской истории вызывает у него откровенную иро-

нию. Особенно иронично воспринимает Руссов идею польского ученого выделить исторические основы народных песен. «О счастливый век! — восклицает он.— В одно время вышли две российские истории. Одна, как выше видно, в начале своем согласная с повествованием Нестора, а другая (имеется в виду сочинение В. Н. Татищева.— *В. К.*) с мнимою рукописью Иоакима. В то же время образуется уже и третья российская история из мазовецких песен и из нашей мовы» [80].

Руссов обвиняет Ходаковского в некритическом использовании таких источников, как сочинения Я. Длугоша, Петра Динабургского, вообще в неверном методе исследования. Если Карамзин, утверждает он, сначала всесторонне анализирует источники, даже сверяет их данные путем запросов «местных начальников», чтобы после этого включить тот или иной факт в свой труд, то Ходаковский, наоборот, «событие прежде вносит в историю или на карту, а потом требует рассмотрения». Касаясь в целом критики Ходаковского, Руссов напоминает о критике И. Н. Болтиным «Истории» М. М. Щербатова. Последний, замечает он, в лице Болтина имел не завистника, а соперника, «целую жизнь свою посвятившего на ученые изыскания». На долю же Карамзина «достались Ходаковский и бродяги, может быть нарочно так в „Вестнике Европы“ называющиеся».

Критика Руссовым статьи Ходаковского являлась первым серьезным выступлением защитников Карамзина, выступлением, в котором звучал голос профессионального исследователя, хотя и приглушенный сильным налетом субъективизма и в восприятии труда историографа и в отношении к идеям и планам Ходаковского.

В начале 1820 г. в полемике появляются новые оттенки в высказываниях противников, которые были связаны с публичным чтением Карамзиным в Российской академии отрывков из девятого тома своего труда. На первое такое выступление историографа откликнулся ряд отечественных журналов. «Сын Отечества» поместил об этом информацию В. Н. Каразина. Сообщение Каразина было достаточно осторожным. Автор основное внимание сосредоточил на описании зала Российской академии, слушателей и других подробностей заседания, а о самом чтении ограничился замечанием: «Слушатели были умилены и восхищены чертами великого характера россиян, сильно представленными глубокомысленным, красноречивым историком» [81]. Если информация Каразина была осто-

рожной, то сообщение об этом же декабриста А. А. Бестужева, написанное по поручению Вольного общества любителей российской словесности взамен отклоненной заметки А. Ф. Рихтера [82], оказалось скорее сдержанным, чем осторожным. Отмечая, что прочитанные Карамзиным отрывки написаны «слогом Тацита, рукою патриота, духом беспристрастного историка», Бестужев в то же время с явной иронией заключал, касаясь бед, свалившихся на Россию при Грозном: по Карамзину «недоверчивость Иоанна» была их «виною» [83].

Зато как «торжество таланта» было представлено чтение Карамзина в заметке, опубликованной в журнале «Благонамеренный». Автор ее отмечал, что «картина постепенного изменения в нраве сего государя, его распутство, его жестокость, угнетение народа, гонение достойных вельмож и добродетель знаменитых страдальцев изображены кистью Тацита» [84].

Судя по письму И. И. Дмитриева к П. А. Вяземскому, в лагере наиболее рьяных защитников историографа не были удовлетворены ни осторожностью Каразина, ни сдержанностью Бестужева, «Жаль,— писал Дмитриев,— что тупые наши журналисты ни о чем не умеют писать. Я чуть не плакал, читая в „Сыне Отечества“ кудрявое и надутое описание академического собрания... Один только неизвестный угодил мне в „Благонамеренном“» [85]. Как бы спеша восполнить недостаточно внятно прозвучавшие положительные оценки девятого тома, поэт Д. И. Хвостов по случаю чтения Карамзиным в Российской академии выступил в Вольном обществе любителей российской словесности со стихотворным посланием к И. И. Дмитриеву [86]. Хвостову вторил князь Шаликов:

Платя России долг великий и священный
Талантом и любовью к ней,
От современников отличнейших мужей
Той справедливости стяжай залог нетленный,
Которую тебе потомки воздадут
За твердый, сильный дух и за бессмертный труд! [87]

Сторонники Карамзина использовали для нейтрализации критических выступлений против историографа завершение второго издания «Истории». Сообщая о выходе в свет ее восьмого тома, Н. И. Греч не преминул обратить внимание читателей на содержавшиеся в этом издании поправки и дополнения, сделанные историографом. «Помещение сих прибавлений,— подчеркивал он,— усу-

губляя цену творения г. Карамзина, служит новым доказательством его благородной скромности и искреннего желания всеми средствами изыскивать истину и сообщать ее соотечественникам, отдавая справедливость тому, кто первый нашел ее».[88]

Начало 1821 г. было ознаменовано очередным критическим выступлением «Вестника Европы». В его январском номере Каченовский поместил рецензию на французский перевод «Истории», опубликованную в парижском «Журнале прений» и принадлежавшую перу историка Гофмана[89]. В кратком предисловии к ней Каченовский отметил, что в целом она поверхностна, обнаруживает незнание автором русской исторической литературы, вообще мало что дает «для изыскателя исторических истин». Вместе с тем, отмечает редактор «Вестника Европы», французский рецензент раскрывает «*две* главные мысли, уже остановившие над собой внимание одного из наших любителей отечественной истории», имея в виду письма «Киевского жителя». Эти мысли и приводит Каченовский.

Гофман обвинял Карамзина в том, что тот пытается доказать в предисловии, будто история России имеет «общее достоинство», т. е. представляет интерес не только для русского, но и зарубежного читателя. Неверно понятую мысль Карамзина о соотношении важности знания отечественной и всеобщей истории рецензент, тем не менее, склонен оправдать патриотизмом автора. Ошибочно, по мнению Гофмана, то, что историограф якобы заявляет о влиянии патриотизма историка на «способ писать историю», т. е. «старается патриотизм поставить выше беспристрастия в историке». Дальнейшие рассуждения французского рецензента фактически повторяли мысли второго письма «Киевского жителя». Гофман утверждает также, что история любой страны представляет «историческую важность» с точки зрения ее вклада в общую сокровищницу человеческой культуры, в прогресс человечества. С этой точки зрения, по его мнению, в отличие от греческой и римской истории русская история вряд ли представляет интерес: в ней, пренебрежительно замечает он, видно лишь «варварство Золотой Орды, варварство казанских, варварство азовских и варварствующих племен внутри России». Истинная же важность истории России в представлении рецензента в том, что она может объяснить теперешнее могущество государства: «Всякому любопытно видеть,— заключает он,— семена, бывшие на-

чалом огромного колосса, всякому любопытно знать, какими пособиями искусства или же по какому благоприятству фортуны все враги России от Японского моря до берегов Вислы соделались ее подданными» [90].

Ответ на это и на предшествующие антикарамзинские выступления «Вестника Европы» последовал очень скоро, поскольку готовился давно. В «Сыне Отечества» Вяземский опубликовал сатирическое послание к Каченовскому, написанное в подражание известному стихотворению Вольтера «От зависти» [91]. Послание, очень резкое и злое, непосредственно затрагивало три вопроса: общую оценку творчества Карамзина, осуждение критических выступлений против него Каченовского и оправдание, даже восхваление молчаливой реакции историографа на критику.

Карамзин рисуется Вяземским выдающимся человеком, обеспечившим себе славу «Историей»:

На рубеже веков наш с предками посредник
Заветов опыта потомкам проповедник.

В различных критических замечаниях против него Вяземский увидел «скуку и вранье», зависть, стремление к дешевой популярности. Авторам этих придирок, в первую очередь Каченовскому, противопоставлен Карамзин с его молчаливым презрением к мелочным придиркам «площадного враля», поддерживающий тем самым высокий сан слуги литературы и науки. Как справедливо отметил советский исследователь М. И. Гиллельсон, послание Вяземского приобретало характер прогрессивного общественного манифеста. Пронизанное высоким гражданским пафосом, оно клеймило врагов просвещения и свободы, избравших Каченовского своим орудием. В недопущенной цензурой части послания находились, например, такие строки в адрес литературных и политических ретроградов:

В превратном их уме свобода – своевольство!
Глас откровенности – бесстыдное крамольство!
Свет знаний – пламенник кровавый мятежа!
Паренью мысли – есть граничная межа,
И к ней невежество, приставя стражей хищной,
Хотят сковать и то, что разрешил всевышний.

Более того, критические выступления в адрес «Истории» Вяземский прямо связал с теми гонениями на человеческое достоинство, с той «враждой», которая

Свергает Миниха, сподвижника Петра,
И, обольщая ум Екатерины пылкой,
Радищева она казнит почетной ссылкой [92].

Послание Вяземского, представляя блестящую стихотворную композицию, приобрело широкую известность. И. И. Дмитриев сообщал его автору о впечатлении, произведенном этим сочинением на московское общество: «Наконец, могу вас уведомить, что эпистолу вашу один Пушкин (В. Л.) *всем и каждому* в клубе читает, брызжет и всхлипывает от умиления, другой Пушкин (А. М.) не апробует, вероятно, потому только, что встречает в ней имя, давно ему противное» [93]. Дмитриев называет Вяземского едва ли не героем, смело бросившим перчатку неприятелю, в отличие от Жуковского и Батюшкова, не ставших защищать историографа, оробевших и побоявшихся попасть под критику Каченовского. «Прекрасно! любезный мой, бесподобно! — делился с Вяземским своими впечатлениями В. Л. Пушкин.— Ты раздавил *змию Каченовского* и написал образцовое послание в стихах; жаль только, что *гасила ценсор* много стихов по невежеству своему и трусости не пропустил» [94].

Однако таково было мнение «арзамасцев». Приблизительно с этого времени нам становятся известны и голоса целой группы других современников Карамзина, с живым интересом и пристальным вниманием следивших за разворачивавшейся борьбой. 16 апреля 1821 г. М. Н. Загоскин писал Н. И. Гнедичу: «Ну, мой друг, что ты думаешь о войне, которая возгорается между „Вестн[иком] Евр[опы]“ и „Сын[ом] Отечества“? Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, Каченовский не во всем виноват, и те, которые называют последние две сатиры (очевидно, имеется в виду и эпиграмма «Репейник».— *В. К.*) князя Вяземского *превосходными творениями*, заслуживают, чтобы над ними посмеялись» [95]. И. И. Дмитриев сообщал А. И. Тургеневу мнение поэта Ф. Г. Волкова, который откровенно заявил, что «стихи Вяземского никуда не годятся, да и сам Карамзин не заслуживает своей славы» [96].

Впрочем, главную роль — скомпрометировать Каченовского — сатира сыграла. К. А. Полевой вспоминал, что «все поняли, кого изобразил князь Вяземский, и желчный Каченовский сделался непримиримым его противником. Он выставил против него целую фалангу своих приверженцев, которые начали нападать в „Вестнике Европы“ на князя Вяземского» [97].

Стремясь нейтрализовать выступление Вяземского, Каченовский перепечатал послание в «Вестнике Европы», снабдив его язвительными примечаниями, недоуменными восклицаниями, вопросами, а заодно раскрыв читателям имена автора и «Зоила» [98]. В мартовском номере журнала было опубликовано письмо к редактору Ф. Яковлева о разбором сочинения Вяземского [99]. Автор письма считает, что «бедный подражатель» Вольтера поставил все с ног на голову: вместо разоблачения зависти как гнусного порока, особенно нетерпимого среди литераторов, он превозносит Карамзина и унижает всякого, кто «дерзнул бы пуститься в исторические изыскания». Высоко оценивая труд историографа, Яковлев считает, что вряд ли и сам Карамзин почитает свой труд совершенным. По его мнению, историограф лишь посеял «великую жатву и предоставил собрать плоды будущему времени». «История» представляется автору письма образцовой для современного состояния исторической науки, но он с удовольствием и пользой для себя знакомится и с дельными критическими замечаниями на нее.

На послание Вяземского «Вестник Европы» откликнулся и «Посланием к Птелинскому-Ульминскому» — аналогичной стихотворной сатирой, принадлежавшей перу С. Т. Аксакова [100]. Историю ее создания автор рассказал в своих воспоминаниях. «Я,— пишет он,— вовсе не был пристрастен к скептику Каченовскому, но мне было жаль старичка, имевшего некоторые почтенные качества, и я написал начало послания, чтобы показать, как можно отразить тем же оружием князя Вяземского, но Загоскин (М. Н.— *В. К.*), особенно Писарев (А. И.— *В. К.*), а всех более М. А. Дмитриев упросили меня дописать послание и даже напечатать. Они сами отвозили стихи Каченовскому, который чрезвычайно был ими доволен и с радостью напечатал» [101]. Послание Аксакова отстаивало право на критику вообще и Карамзина в частности, обвиняя защитников историографа в слепом благоговении перед своим кумиром. В науке и литературе, утверждал автор, немыслима дисциплина, безоговорочная вера в печатное слово. Аксаков стремится отвести от Каченовского обвинение Вяземского в критике, продиктованной завистью, утверждая, что

...Презрителен зоил,
Который не разбор, а пасквиль сочинил.
И, испестрив его весь низкими словами,
Стал точно наряду с поденными вралями.

В заключительной части своего послания Аксаков ополчается против тех, кто стремится ввести самовластие в республике словесности. Обращаясь к сторонникам Карамзина, он обвиняет их в корыстных побуждениях: из неких «видов» хвалить историографа, и «друг друга заживо бессмертием дарить». Апеллируя к потомству, он заключает:

Ни связи, ни родство, ни дружески обеды,
Взаимною хвалой гремящие беседы
Не могут проложить к бессмертию следа:
Суд современных лжив, потомков – никогда.

Замысел послания был вовсе не столь нейтрален, как представил его в своих воспоминаниях Аксаков. Помимо обоснования позитивного значения объективной критики творчества Карамзина, оно содержало призыв к демократизации научной и литературной жизни, освобождению ее от давления заслуженных и незаслуженных авторитетов. Характеризуя защитников Карамзина как замкнутый круг самоуверенных эстетствующих представителей столичного света, послание отразило умонастроения новой, молодой волны литераторов и ученых, пробивавших себе дорогу. Язвительные намеки на несправедливые суждения Вяземского о Каченовском, вообще о критиках «Истории» содержались и в стихотворном послании А. И. Писарева к Аксакову («К молодому любителю словесности») [102].

Как бы подводя итоги первых двух этапов полемики вокруг «Истории», в майском номере «Вестника Европы» Каченовский поместил заметку о статье во французском журнале «La Revue Encyclopédique», где утверждалось, что только «Вестник Европы» поместил «основательные замечания» о труде Карамзина. Здесь же Каченовский окончательно сформулировал свое принципиальное отношение к «сему памятнику русской словесности»: смотреть на него «с уважением, но и без предрассудков, свойственных умам слабым и поверхностным» [103].

Таким образом, на первых двух этапах полемики вокруг «Истории» зародились и частично оформились основные линии критики и защиты труда историографа. Главными противниками политических идей «Истории» в это время выступили декабристы, увидевшие в ней попытку идеологического обоснования тех порядков, против которых постепенно оформлялся и идейно обосновывался их протест. Именно благодаря бесцензурным выступлениям по поводу «Истории» декабристов Н. И. Тургенева,

Н. М. Муравьева, М. Ф. Орлова полемике было придано злободневное политическое звучание. Суд декабристов был строг и бескомпромиссен. Вместе с тем в лице П. И. Голенищева-Кутузова мы видим оценку «Истории» из противоположного политического лагеря, оценку, которую нельзя не принимать во внимание, поскольку она отразила идеалы реакционного слоя русского общества.

Не менее широкое общественное звучание приобрела и «ученая» критика «Истории». Основным организатором этой критики в это время выступил Каченовский. Ее нельзя не оценить двойственно. С одной стороны, она во весь голос ставила серьезные вопросы исторического познания и даже, как статья Ходаковского, объективно совпадала с критикой политических идей труда Карамзина из лагеря декабристов. С другой стороны, критические выступления «Вестника Европы» в ряде случаев были слишком «личными» и развязными, возбудив справедливое негодование в прогрессивном лагере и породив не без оснований подозрение в том, что они могли быть инспирированы недовольными «Историей» «справа».

И наконец, нельзя не учитывать ожесточенные споры вокруг литературных достоинств труда Карамзина, которые еще больше осложняли оценки, заставляя восхищаться одних и иронизировать других, приведя к появлению в ходе полемики несвойственных для политической и ученой критики жанров и в конечном счете отразив те сложные процессы, которые переживала русская литература.

Этому потоку критических выступлений, серьезных и обывательских, пространных и мелочных, защитники историографа (исключая работу Руссова) противопоставили злые эпиграммы и общие рассуждения о «достоинствах» труда Карамзина и значении проделанной им работы по воссозданию живых, занимательных и поучительных картин и героев отечественной истории. Они явно оказались не на высоте на первых двух этапах полемики вокруг «Истории».

Новый, третий этап полемики начинается с мая 1821 г., когда на книжные прилавки поступает девятый том «Истории». Опубликованные ранее объявления о подписке на него обещали читателям захватывающие картины. «Сей том,— сообщалось, например, в «Сыне Отечества»,— обогащен такими историческими сведениями и чертами, которые доныне вовсе не были известны

или, по крайней мере, известны весьма сбивчиво и недостаточно»[104].

В литературе уже не раз отмечалось сложное, неоднозначное восприятие этого тома современниками Карамзина[105]. Образ царя-тирана, нарисованный с блестящим мастерством на основе многочисленных источников, породил не меньше толков, чем после выхода предшествующих томов «Истории». На первый взгляд этот образ мог показаться неожиданным для пера последовательного сторонника самодержавия, дискредитируя саму идею монархической власти как «палладиума» России. Но на самом деле характеристика царствования Ивана Грозного, данная Карамзиным в девятом томе, целиком соответствовала политическому мировоззрению историографа и его идеологическим устремлениям. Согласно им, «истинное самодержавие» воплощено только в лице монарха, обладающего целым набором личных и государственных «добродетелей». Их отсутствие чревато бедствиями для государства. На примере Грозного Карамзин стремился показать, каким *не должен быть* самодержец. Можно сказать, что, если бы в русской истории не было Ивана Грозного, Карамзин обязательно постарался бы найти фигуру, похожую на него. Образом царя-тирана историограф старался провести консервативную политическую идею, имевшую важное идеологическое значение для самодержавия периода царствования Александра I: монархия как форма правления не может быть плохой, особенно для России; беды, свалившиеся на государство в прошлом или ожидающие его в будущем, были и могут быть только от отсутствия у монарха положительных государственных и личных качеств.

И все же необычность характеристики русского царя, с которой читатели познакомились в условиях все более усиливавшегося цензурного гнета, не могла не поражать. Именно таково было первое впечатление слушателей и читателей девятого тома «Истории». Впрочем, за этим общим впечатлением скрывались и различные политические мнения.

В преддверии декабристского восстания многие деятели первого этапа русского освободительного движения рассматривали девятый том как мощное идеологическое оружие, развенчивающее самодержавные устои. Общеизвестны мемуарные и эпистолярные свидетельства на этот счет. Появление девятого тома декабрист В. И. Штейнгель описывал в своих воспоминаниях как небывалый

феномен, «смелыми, резкими чертами изобразивший все ужасы неограниченного самовластия и одного из великих царей открыто наименовавший тираном, какому подобных мало представляет история»[106]. «Ну, Грозный! Ну, Карамзин,— писал К. Ф. Рылеев Ф. В. Булгарину после прочтения девятого тома.— Не знаю, чему больше удивляться — тиранству ли Иоанна или дарованию нашего Тацита»[107]. Поэт И. М. Фовицкий, близкий к декабристским кругам, был потрясен не меньше: «Боже мой! Что за зверь был Грозный! Вот вам — поэтам — предмет! Зачем пугать призраками слабые души! Возьмитесь-ка выплакать над бедствиями России в царствование Грозного. Устраните жестоких тиранов, злодействами им подобных, пролейте слезы жалости и утешения для добрых, которых сердца *вскипали негодованием на злодеяния*, пролейте свет истины во мрак политических систем деспотизма и проч. и проч.»[108].

Но исподволь раздавались иные голоса, о которых осторожно сообщал в цитированном нами письме декабрист Н. И. Тургенев своему брату Сергею. К сожалению, мы не располагаем достаточно полными данными на этот счет, но кое-что сохранилось, и дает нам возможность представить те выводы, которые были сделаны из девятого тома «Истории» представителями иного, реакционного лагеря русского общества.

Будущему митрополиту Филарету, после того как он 8 января 1820 г. прослушал отрывки о Грозном в Российской академии, казалось: «Читающий и чтение были привлекательны, но читаемое страшно. Мне думалось тогда, не довольно ли исполнила свою обязанность история, если бы хорошо осветила лучшую часть царствования Грозного, а другую более бы покрыла тенью, нежели многими мрачными чертами, которые тяжело видеть положенными на имя русского царя»[109].

Сохранились неясные свидетельства и об отрицательном отношении к девятому тому цесаревича Николая Павловича, в резиденции которого якобы называли Карамзина «негодяем, без которого народ не догадался бы, что между царями есть тираны»[110]. Вряд ли восторгался описанием царствования Ивана Грозного Д. П. Рунич, готовивший поход против «безверия» в Петербургском университете. Даже спустя много лет в мемуарах он не смог скрыть своего отношения к Карамзину и, как в свое время П. И. Голенищев-Кутузов, видел в историографе человека, который «слишком рано стал восхвалять во все-

услышание свободу, коей пользуется народ под небом Швейцарии»[111].

Не могли понравиться картины девятого тома и М. Л. Магницкому: разработанный им к этому времени проект цензурного устава предписывал запрещать книги, чем-либо дискредитирующие «особы отечественных государей, в бозе почивающих». Более того, перу Магницкого принадлежит донос на Карамзина, содержащийся в конфиденциальной записке для Александра I о воспитании (1823 г.). В ней недвусмысленно указывалось на тот вред, который приносит труд Карамзина в преподавании истории. Обозревая постановку исторического образования в стране, Магницкий писал: «В истории отечественной, следуя „Истории государства Российского", некоторые помазанники божии поносятся именами тиранов и злодеев»[112].

Вскоре раздалась и первая печатная критика девятого тома. В июньском номере «Вестника Европы» за 1821 г. была опубликована статья Н. С. Арцыбашева с обоснованием недостоверности одного из основных источников этого тома — «Истории» князя А. Курбского[113]. Вывод, который был сделан Арцыбашевым, звучал категорически: «большую часть нравоизображений и особенных событий, описанных князем Курбским, не принимать за совершенную истину и даже с осторожностью верить самой сущности оных, а всего менее подробностям».

Статья Арцыбашева, несмотря на то что не содержала ни одного упоминания о труде Карамзина, положила начало серии его критических работ об «Истории». Уже в сентябрьском номере «Вестника Европы» Арцыбашев поместил новую критическую статью, теперь уже прямо на девятый том[114]. Отмечая недостоверность «Истории» Курбского, он ставил под сомнение достоверность и других источников труда Карамзина — сочинений иностранцев И. Таубе, А. Гваньини, Е. Крузе.

Арцыбашев пытался найти иные, чем Карамзин, объяснения тех шести «эпох казней», которые выделил историограф. Если они и были, полагал критик, то причинами их являлись либо жестокие нравы, обычные для того времени не только в России, либо измены, заговоры, «своевольства» бояр и вельмож, испортившие характер выдающегося монарха или вынудившие его прибегнуть к законной «строгости». Примечательно, что в целом эти объяснения не противоречили и концепции Карамзина, также называвшего в качестве причин «перемены в ха-

рактере» Грозного разврат бояр и отстранение от государственных дел «мудрых советников» А. Адашева и Сильвестра. Однако если для Арцыбашева последовавшие жестокости Грозного — неизбежный и оправданный акт самодержца, то для Карамзина — это нравственный и политический урок современникам, урок, который упорно не желал принять и понять его критик, видя в этом только «предубеждение или желание похвалиться силой слога».

Статьи Арцыбашева тем не менее отличались широтой и известной логичностью аргументации. Совсем иначе прозвучала критика девятого тома в заметке Н. Любороссова, опубликованной в декабрьском номере того же «Вестника Европы»[115]. Автор привел суждения об Иване Грозном французского историка Н.-Ж. Леклерка, подчеркивая, что даже такой якобы недоброжелательно настроенный к России человек обнаруживает в характеристике русского царя «умеренность». Вообще, заключает критик, «о памяти предков говорить должно с осторожностью и единственно то, что достойно и полезно читать потомкам». Эпигонство всегда примитивно. Объявив себя последователем Арцыбашева, Любороссов придал своей критике откровенно охранительное звучание. В ней чувствуется та обеспокоенность, о которой вспоминал позже Филарет и суть которой — страх перед открываемыми девятым томом «из-под спуда древних летописей» подробностями тирании одного из представителей самодержавной власти.

Выступления Арцыбашева оценить не просто. С одной стороны, они подрывали достоинства повествования Карамзина как достоверного, обоснованного источниками, а в более широком плане колебали и всю изощренную монархическую концепцию историографа. В этом смысле очевидно их положительное звучание. Но, с другой стороны, критика Арцыбашева нейтрализовала антитиранические сюжеты труда Карамзина, использовавшиеся прогрессивным лагерем в идеологической борьбе с самодержавием, притупляла остроту их звучания и даже бралась на вооружение, как свидетельствует выступление Любороссова, реакционными кругами русского общества.

Можно легко представить реакцию на статьи Арцыбашева, опубликованные в «Вестнике Европы», почитателей Карамзина. Правда, вначале они еще не представляли, что за критик появился на горизонте. Поддаваясь инерции, лагерь защитников историографа все еще склонен был считать главным «порицателем» Каченовского. 19 ок-

тября 1821 г. Вяземский с негодованием писал А. Ф. Воейкову о второй статье Арцыбашева: «Каков Каченовский в своем 18-м №! Теперь недостает только защищать ему моровую язву 1771 года, и, верно, защитит, если Карамзин дойдет до нее. О такой гнусности и шутить не хочется: общее презрение и без помощи остроумия прибивает имена таких людей к позорному столбу» [116]. С ним соглашался поэт Фовицкий. 9 января 1822 г. он писал Вяземскому: «Я не знаю, что за побуждение имел Каченовский защищать Ивана Васильевича. Не есть ли он адвокат ex officio, какого имел и Лувель. Смешно!» [117]. Очередным стихотворным панегириком («К портрету Карамзина») разразился князь Шаликов:

И в прозе и в стихах он дал нам образцы
Таланта редкого и редкого искусства,
А зависти – познать мучительные чувства!
И видим, что талант и зависть – близнецы [118].

Сохранились и иные отклики: Погодин, например, записал в дневнике беседу со своими друзьями А. С. Шираем и А. М. Кубаревым, которые «излишне порочили Карамзина и восхваляли Арцыбашева за его статьи».

В пылу полемики карамзинисты долгое время были склонны объяснять выступления «Вестника Европы» всего лишь личным нерасположением его редактора к Карамзину. Но уже с 1822 г. они не смогли не заметить, что открытый фронт критических выступлений в адрес «Истории» резко расширился

Первым подал голос «Казанский вестник» — орган Казанского учебного округа, основательно реорганизованного его новым попечителем Магницким. С мая 1822 по февраль 1823 г. на страницах «Казанского вестника» начал публиковаться пространный постраничный разбор первого тома «Истории», автором которого был тот же Арцыбашев, настойчиво добивавшийся в это время профессорской кафедры в Казанском университете.

Выступление Арцыбашева затрагивало широкий круг далеко не равнозначных вопросов, начиная от оформления труда Карамзина и кончая проблемами теории исторического познания. Критика включила общие ко всей «Истории» и конкретные по ее первому тому замечания. Общими недостатками «Истории» автор считал ее неудачное название, расположение «материй» по главам и параграфам (заимствованное, по его мнению, Карамзиным у английского историка Юма), «слог», включивший иност-

ранные слова и обороты, множество «напыщенных» выражений, наконец, само «изложение». В последнем случае рецензент замечал, что историограф в погоне за читательским успехом достоверность, точность «изложения» принес в жертву неуемному красноречию. В «Истории» много «суесловия» — излишних подробностей в описании исторических событий, сюжетов, не имеющих отношения к собственно русской истории, излишних «мудрований» при оценке происшествий и исторических лиц. Возражения Арцыбашева вызывали отсутствие в «Истории» подробного описания использованных при работе рукописей, ограниченное приведение в «Примечаниях» выписок из источников, действительно необходимых, и в то же время погоня, как считал рецензент, за наукообразием, выразившаяся в «куче» ссылок на известную литературу.

Далее Арцыбашев спорит с Карамзиным по многочисленным конкретным вопросам, отмечает противоречия «Истории» в описании и трактовке многих событий. Критик не соглашается с тем, как историограф определил территорию Древнерусского государства, показал расселение славянских племен, дал этимологию ряда древнерусских слов («славяне», «князь», «боярин»), выражает сомнения в достоверности легенды об основании Киева, договора Олега с греками и т. д. Арцыбашев отмечает отступление повествования Карамзина от данных источников, его многочисленные дополнения, умолчания, искажения «подлинных слов Нестора», противоречащие заявлениям историографа о его стремлении не позволять «изобретать» в своем труде. Он демонстративно проводит сопоставление текста «Истории» с положенными в его основу источниками, сопровождая его язвительными замечаниями. Откуда стало известно Карамзину, спрашивает он, например, о стойкости и мужественной внешности славян, о народе, устрашенном злодеяниями князя Олега, о крови Оскольда и Дира на «пятне» Олега, об «удивлении», с которым греки смотрели на князя Святослава, и т. д. Все это, по мнению Арцыбашева, говорит не о добросовестности Карамзина, а о его «желании блистать умом или казаться глубокомысленным».

Арцыбашев выступил в унисон с критикой, раздававшейся до этого со страниц «Вестника Европы». В своей критике он попытался противопоставить Карамзину не какую-то иную концепцию истории Древнерусского государства или же иные источники, как было сделано, например, в критике Муравьева, Орлова или Ходаковского,

а сопоставить «Историю» с положенными в ее основу источниками. После выявления откровенного отхода историографа от показаний источников обвинения Карамзина в «пристрастии», впервые публично выдвинутые «Вестником Европы», получали наглядное подтверждение. Сохранившееся письмо Арцыбашева к Д. И. Языкову (1818 г.) еще красноречивее характеризует его общее отношение к тому, что вышло из-под пера Карамзина. В труде историографа Арцыбашев нашел «безобразное смешение посторонщины, недоказательности, безразборности, болтливости и преглупейшей догадочности». Его возражения вызвали включение в «Историю» сведений о гуннах, готах, аланах, отождествление волохов с потомками древних гетов, Траяна «Слова о полку Игореве» с императором Траяном и т. д. «Но в скором времени,— заключал Арцыбашев свое письмо,— не исчислить всех глупостей этой книги, которые встречаются страницами. Вот тебе историограф и давно ожидаемая история! Будучи в старину великим человеком на маленькие дела, писал бы он лучше Бедных Лиз и тому подобные мелочи, а неумытыми руками не принимался за историю, которою он делает стыд русскому народу в глазах всего ученого света» [119].

Одновременно с критикой Арцыбашева обширный разбор труда Карамзина поместил недавно организованный под редакцией Ф. В. Булгарина журнал «Северный архив». На его страницах в течение 1822—1824 гг. были опубликованы три статьи об «Истории» известного польского ученого профессора Виленского университета Й. Лелевеля.

Первая статья Лелевеля содержала разбор предисловия к «Истории» [120]. В целом этот разбор написан в духе рецензии «Киевского жителя» в «Вестнике Европы». Лелевель не соглашается с оценками, данными Карамзиным историкам древности; вслед за «Киевским жителем» он полагает, что «занимательность» исторического труда зависит не от «описываемых происшествий, но от искусства в их изображении»; его не удовлетворяют мысли Карамзина о том, как надо писать исторический труд.

Вместе с тем ряд вопросов поставлен и решается Лелевелем иначе, чем в рецензии «Киевского жителя», приобретая откровенно политическое звучание. Он упрекает историографа в том, что тот несправедливо «унизил» историю Греции и Рима, которая для современности имеет большое значение; она и сейчас, говорит Лелевель, «на-

учает многому», показывая образцы «общественных добродетелей» и патриотизма. Автор статьи высказывает свои соображения также о периоде раздробленности русского государства и берет под защиту периодизацию русской истории Карамзина.

Нельзя не отметить осторожность первой статьи Лелевеля о труде Карамзина, приглаженной к тому же переводом Булгарина. Редактора «Северного архива» не интересовал неторопливый и солидный подход польского историка к всесторонней оценке «Истории» и изложению своих взглядов на задачи, предмет исторического труда и русскую историю. Он требовал от Лелевеля рецензии типа статей Арцыбашева, в которой, по его словам, можно было бы «не подарить гордому историографу ни малейшей ошибки в исторических фактах» [121]. Стараясь ускорить работу Лелевеля в этом направлении, он сообщал ему о популярности и одобрении его критики «у самых высокопоставленных лиц, как Голицын, Сперанский, Оленин» [122].

В лагере критиков Карамзина рецензия Лелевеля у многих вызвала одобрение. По словам Ходаковского, историограф после публикации Лелевеля «не имел надобности жаловаться на запор живота» [123]. Об успехе рецензии в Петербурге сообщал и О. И. Сенковский в одном из своих писем к ее автору: «...общий голос говорит, что это первый труд, написанный по-русски такою умелою рукою и так философски». Впрочем, тот же Сенковский отмечал, что «партия автора (Карамзина.— *В. К.*), т. е. его домашние друзья, бесятся с досады. Славный поэт Жуковский даже плакал» [124].

Льстя Лелевелю и подталкивая его к продолжению критики «Истории», Булгарин не забывал и о «журнальной дипломатии». В письме к польскому ученому он поделился своим планом: для «уврачевания» Карамзина и его сторонников опубликовать в «Северном архиве» «глупейшую похвалу ему, взятую из немецких газет, присланных мне его горячим приверженцем», а затем «разбить» ее [125].

Перевод статьи, написанной известным немецким историком А. Г. Гееpеном и напечатанной в «Геттингенских ученых ведомостях», появился вслед за первой статьей Лелевеля [126]. История появления этого перевода, а также значение, которое он имел в общественной и литературной борьбе тех лет, всесторонне рассмотрены С. С. Ландой [127]. За этой публикацией стоял ученик

Геерена по Геттингенскому университету декабрист Н. И. Тургенев. В обстановке усиливавшейся критики труда Карамзина Тургенев счел возможным вновь публично выступить в полемике в защиту «Истории», а заодно, как и в 1818 г., использовать это выступление для пропаганды собственных историко-политических убеждений *.

Тургеневу, приславшему в «Северный архив» рецензию Геерена, стало известно о намерении Булгарина сделать на нее замечания. В письме к Булгарину он ультимативно потребовал от того либо отказаться от ее публикации, либо опубликовать без каких-либо замечаний. «Всякий может думать о Карамзине, как хочет,— писал он Булгарину,— но я ни в каком случае не хочу быть поводом какой-либо против него критики» [128]. Судя по тому, что рецензия (с примечаниями переводчика) появилась на страницах «Северного архива», Булгарин в этот момент был вынужден принять ультиматум Тургенева.

Рецензия содержала высокую общую оценку «Истории». По мнению автора, Карамзин сумел нарисовать верную картину русской истории; смог (особенно начиная с шестого тома) преодолеть пристрастие и превзойти в мастерстве «изображения» Т. Ливия. Геерен подчеркнул, что историограф поставил в своем труде задачу не просто установить историческую истину, но пропагандировать высокие нравственные и политические идеи, «коими наполнена собственная душа его». По мнению рецензента, это заметно везде: «...ненависть к тиранству и угнетению, к войне несправедливой и к страсти завоеваний обнаруживается во многих местах, но вместе с сим автор открыто признает и ясно показывает, что Россия обязана самодержавию своим величием» [129]. Именно в том, что труд Карамзина представляет «зеркало» его мыслей, Геерен увидел беспристрастие историографа.

Среди недостатков «Истории» Геерен отметил модернизацию в мотивировке поступков, показе характеров, мыслей и чувств русских людей прошлого, в частности

---

* В дополнение фактов, приведенных Ландой, следует отметить, что выступление Тургенева не было единоличным актом; оно отразило намерения целой группы сторонников Карамзина, а возможно, было и санкционировано самим историографом. Так, во всяком случае, заставляет думать письмо И. И. Дмитриева П. А. Вяземскому от 6 ноября 1822 г. «Карамзин,— сообщал он,— предупредил мое желание: пишет, что он поручил перевести Геерена, и обещает прислать перевод не замешкав».

приписывание им чести — «рыцарства». Последнее было не случайно отмечено немецким рецензентом. Как показал С. С. Ланда[130], Геерен являлся сторонником теории коренного отличия русской истории от западноевропейской. Одной из составных частей этой теории был тезис об отсутствии в России феодализма, а значит, и тех элементов «муниципального правления», которые затем на Западе, согласно представлениям немецкого ученого, переросли в систему конституционных учреждений. Иначе говоря, Геерен отрицал существование конституционных традиций в истории России. Отсюда и его согласие с монархической концепцией Карамзина. Но именно с этим замечанием Геерена решительно не согласился Тургенев, питавший надежды на возможность создания в России представительного правления и пытавшийся найти его истоки в русской истории. «Рыцарство и некоторые из установлений оного не были совсем чужды России»,— заявил он в примечании на рецензию Геерена. Защищая карамзинскую модернизацию истории, Тургенев отстаивал свои убеждения, коренным образом расходившиеся с карамзинскими.

Рецензия Геерена имела важное значение в формировании положительного отношения к «Истории» и ее автору. Карамзин был представлен в ней как человек, остающийся сыном своего времени, честно, с любовью к родине старающийся донести до современников свои выстраданные «нравственно-политические» убеждения. Спор о научных достоинствах «Истории» рецензия впервые публично переводила в спор о «честном человеке» — ее авторе, искренне верящем в спасительность для своей родины тех идей, которые сформировались у него в процессе изучения ее прошлого.

«Похвала» Геерена оказалась вовсе не «глупой», как полагал Булгарин. Для ее нейтрализации он был вынужден нарушить первоначально существовавшую договоренность с Тургеневым. В начале 1823 г. на страницах «Северного архива» появился разбор рецензии немецкого профессора, подписанный «Московский уроженец А. М.».

Автор разбора полагает, что в России есть критики, способные разобрать труд Карамзина. Статьи Арцыбашева и Лелевеля, отмечает он, наглядно подтверждают это. В сравнении «Истории» с положенными в ее основу источниками, которое позволяет «судить о настоящем оных употреблении, об изображении характеров исторических лиц, о связи происшествий и достоинстве целого в

политическом, философском и нравственном отношениях», а не в отвлеченных рассуждениях о ее достоинстве и личных качествах Карамзина видит рецензент основной принцип оценки труда историографа. У него вызывает возражение утверждение Геерена о верном повествовании «Истории». Он полагает, что сильное авторское начало мешает постижению истины, упрекает историографа в некритическом использовании ряда иностранных источников, например «Хроники» М. Стрыйковского, и в то же время в игнорировании важных польских, шведских и других источников. «Московский уроженец» заключает, что Геерен не должен был пенять Карамзину за его стремление к наделению людей прошлого высокими и благородными чувствами, а Тургенев не должен был настаивать, что такие чувства были. «Народ русский,— пишет автор разбора,— никогда не отдалялся от высоких и благородных чувств, следовательно, не имел нужды в том, чтобы сближать его с сими чувствами. Древняя и новая история России изобилует возвышенными чувствами, и они-то воспламенили гений автора и возбудили его красноречие» [131]. «Московский уроженец» не соглашается с Геереном, сравнившим Карамзина с Ливием.

Заметка в целом была написана в русле «ученой критики» Каченовского, Арцыбашева, Лелевеля. Она содержала немало интересных соображений об историческом труде и в этом смысле вряд ли могла вызвать какие-либо возражения в прогрессивных кругах русского общества. И тем не менее Тургенев счел необходимым предпринять попытку выступить против этой публикации, попытку, которая по неясным причинам, так и не была им реализована.

Выступление Н. И. Тургенева в полемике отнюдь не свидетельствовало о каком-то кардинальном изменении отношения декабриста к труду Карамзина. Скорее всего, оно было связано с новыми явлениями в дискуссии — все более активным включением в нее реакционных кругов русского общества, использовавших «ученую критику» Арцыбашева, Каченовского, Лелевеля и других исследователей для компрометации труда Карамзина. В результате сложилась ситуация, которую А. И. Тургенев охарактеризовал в письме к П. А. Вяземскому 2 января 1823 г. как «нападение повсюду на Кар[амзина] в официальных и других журналах и запрещение защищать его» [132]. Поэтому становятся понятными желание Н. И. Тургенева, чтобы его перевод рецензии Геерена не

послужил поводом для очередной критики историографа, и написание затем им проекта гневного письма к Булгарину, когда такая критика все-таки появилась.

Сам декабрист оставался последовательным в своей критике монархических идей «Истории». Это видно из записи в его дневнике о впечатлении от чтения Карамзиным отрывков из десятого тома. «Вчера,— записал он 14 января 1823 г.,— было заседание в Арзамасе (т. е., очевидно, в кругу близких к Карамзину лиц, где историограф «репетировал» свое выступление на следующий день в Российской академии.— *В. К.*). В чтении Карамзина мне не понравился der dominirende Geist [господствующий дух]: эти слезы, эта тоска народа при смерти Федора Ивановича и при просьбе к Годунову о принятии престола. Cela fait pitié [жаль] или quelle pitié que tout Cela! [какая жалость!]» [133].

Дальнейший ход полемики разворачивался в значительной мере под воздействием критики «Истории» Лелевелем, две следующие статьи которого Булгарин буквально «выцарапывал» у польского историка, подзадоривая его тем, что молчание ученого «карамзинисты» рассматривают как свое торжество, говоря, что критик Карамзина «или исписался, или пожалел о начатом» [134]. В начале второй статьи Лелевель счел необходимым остановиться на зарубежных откликах на «Историю». По его мнению, «во всей Европе ныне весьма мало найдется сочинений, описывающих прошедшие события, которые подверглись бы столь многочисленным разборам» [135]. Среди зарубежных рецензий он выделяет лишь отзыв Геерена, полагая, что все остальные, затрагивая отдельные тома «Истории», «неосновательны».

Главное внимание в своей второй статье Лелевель уделяет сравнению труда Карамзина с «Историей польского народа» польского историка XVIII в. А. И. Нарушевича. Он отмечает, что Нарушевич писал свою работу накануне и в ходе развала польской государственности, напоминая «больному об угасшем его здоровье», в то время как Карамзин — в период блеска и славы России. У обоих историков Лелевель видит одинаковые намерения в разыскании, самостоятельном критическом осмыслении исторических источников. Однако Карамзин, по его мнению, преуспел в этом больше, уточнив повествование Нарушевича «касательно России», использовав труды авторов, неизвестных Нарушевичу. Вместе с тем Лелевель отмечает, что и в труде Карамзина есть места, кажущиеся не

столь уж «вероятными» и могущие быть объясненными удовлетворительнее. Это произошло от преимущественного внимания историографа к летописным источникам без широкого использования дипломатических и актовых документов, которые, по мнению Лелевеля, точнее отражают «историческую истину».

«История» Карамзина в представлении Лелевеля выигрывает в сравнении с трудом Нарушевича и по кругу рассмотренных в ней вопросов. Несмотря на название, в исследовании Нарушевича собственно история польского народа заслонена «личными подвигами и деяниями князей». Хотя те же сюжеты занимают преобладающее место и у Карамзина, он, полагает Лелевель, пытается осветить и другие вопросы: просвещение, промышленность, торговлю, сословный строй. Все это, заключает критик, придает «изложению событий более зрелости, а труду его более совершенства и рождает в читателях идеи философические». Вместе с тем труд Карамзина, по мнению Лелевеля, уступает исследованию Нарушевича в части, связанной с изложением истории дипломатии, вообще с рассмотрением истории России на фоне исторических событий в других странах.

Рецензент отмечает прекрасные картины и образы, нарисованные историографом с мастерством «поэта-живописца», легкость, изящество стиля, нравственные размышления, порожденные негодованием, состраданием или жалостью. Это сообщает «приятность» труду Карамзина. Возражения у Лелевеля вызывает стремление историографа драматизировать свое повествование, проникнуть в характеры исторических лиц, дать их запоминающиеся образы. Рецензент требует объективного рассказа о «деяниях» исторических лиц. Созданные Карамзиным картины и характеры, по мнению критика, подчас опровергаются его же собственным описанием «хода происшествий».

Лелевель считает, что основа исторической концепции Карамзина — идея самодержавия — придает «Истории» монолитность, единство разнообразным ее сюжетам.

Много внимания уделяет Лелевель сравнению степени беспристрастия Карамзина и Нарушевича. Он считает, в самом беспристрастном историческом труде истина может быть искажена от сообщения прошлому «характера времен настоящих», увлечения историка чувством «народности», т. е. патриотизмом, религиозной нетерпимости и «ослепления политическими мнениями»,

Искажение истины по первой причине, по мнению Лелевеля, в «Истории» Карамзина незначительно. Лишь когда историограф «старается отгадать чувства и внутренние побуждения исторических лиц», он невольно модернизирует свое повествование, как в случае с «честью», отмеченном Гееренам. В целом же Карамзин рассказывает о прошлом языком и понятиями, соответствующими прошлому.

Патриотизм — одно из главных достоинств «Истории», патриотизм придает ей «блеск». Но он, полагает Лелевель, не переходит в кичливость и хвастовство и, следовательно, не искажает истины. Правда, историограф не уделяет должного внимания истории соседних стран, например Польши и Литвы, но все это рецензент признает «извинительным».

Более выражено, по мнению Лелевеля, в труде Карамзина искажение истины из-за приверженности к вере, хотя в ряде мест своего повествования он поднимается до веротерпимости.

Много внимания в статье уделено рассмотрению влияния «политических мнений» Карамзина на изложение событий. Рецензент отмечает, что в «Истории» очевидно стремление показать роль самодержавия в исторических судьбах России, из-за чего допускаются натяжки, искажения. Впрочем, говорится в статье, Карамзин и здесь старается быть беспристрастным. Это усматривается в том, что восторгаясь самодержавием, историограф ненавидит несправедливость и тиранию, показывает и «слабости и ошибки, которых должно избегать владетелям, и зло, от них проистекающее» [136].

Вторая статья Лелевеля, как и первая, отличалась солидностью рассуждений, отсутствием открытой полемической направленности, но, по существу, она повторяла и развивала дальше критику Каченовского, Ходаковского и других ученых. «Вы думаете,— замечал Лелевель в письме к Булгарину,— что в этой моей второй статье находятся больше похвалы Карамзину? Мне кажется, что Карамзин почешет затылок» [137]. Отмечая целый ряд достоинств «Истории», признавая в определенной мере историческую обусловленность монархической концепции историографа, даже указывая на стремление Карамзина в ее рамках к «истине», стремление, основанное на искренних и честных побуждениях, Лелевель проводит мысль о фактическом несоответствии повествования Карамзина реальной картине прошлого, когда она покоится на срав-

нительно-историческом подходе и тщательном анализе широкого круга исторических источников.

Свою третью статью о труде Карамзина польский ученый целиком посвятил рассмотрению повествования «Истории» и данных источников, связанных с проблемой образования древнерусской государственности[138]. Лелевель опровергает тезис историографа о польских и русских славянах, которым якобы «наскучила бурная вольность» и они добровольно подчинились самодержавию Рюрика. Лелевель отмечает, что в источниках нет данных о надоевшем славянским народам вольном правлении, неизвестен и характер правления самого Рюрика. Карамзин явно преувеличивает «блеск» княжения Рюрика, бездоказательно «умствует», выдвигая, по существу, лишь необоснованные гипотезы. Не соглашается Лелевель и с уникальностью самого факта призвания Рюрика. История, отмечает он, «предоставляет множество примеров, что самовластие утверждалось с согласия граждан без кровопролития».

Третья статья Лелевеля — наиболее открытая и убедительная часть его критики «Истории». От общих рассуждений, интересных постановкой и решением целого ряда вопросов исторического познания, он переходит к конкретным замечаниям, избрав для критики опорную точку монархической концепции Карамзина — идею о мирном основании в России самодержавия. В этом смысле критика Лелевеля являлась прямым продолжением критики Орлова, Муравьева, Ходаковского, подводя под их выступления солидную источниковую базу.

Как свидетельствует обзор мнений о критике Лелевеля, данный Б. С. Попковым, статьи польского историка получили в России широкий общественный резонанс. Сходство позиций Лелевеля с его собственными отмечал Каченовский (имея в виду, правда, только первую статью ученого). Серьезность замечаний рецензента «Истории» признавали многие члены Румянцевского кружка. Сам Н. П. Румянцев даже полагал, что Лелевель слишком «вежлив» с Карамзиным, «щадит его, когда сей, конечно полезный, автор подходит, однако же, к осуждению». А. А. Бестужев в своем обзоре русской литературы за 1823 г. назвал критику Лелевеля «приятным и редким феноменом в областях словесности»[139].

Впрочем, по разным причинам высказывались и противоположные суждения. Уже упоминавшийся Румянцев и его активный корреспондент известный историк Евге-

ний Болховитинов соглашались в том, что Лелевель чрезмерно подробно излагает свои взгляды[140]. Поэт Н. М. Языков находил самоуверенным тон статей Лелевеля, ссылаясь на разделявшего это же мнение профессора Дерптского университета Г. Эверса. Любопытно в этой же связи общее мнение об «Истории» авторитетного в научных кругах России В. М. Перевощикова, переданное тем же Языковым. Перевощиков сравнивал Карамзина с Ливием, отмечая и ряд недостатков «Истории»: отсутствие верного изображения нравов, провиденциальный взгляд на исторические события и суждения «о намерениях лиц только по их последствиям, а не по их истинному достоинству»[141]. «Морщился», по свидетельству И. Н. Даниловича, от выступления польского ученого петербургский историк и библиограф В. Г. Анастасевич, считая эту критику «вредной» для Карамзина[142].

Выступления в защиту Крамзина в это время по-прежнему в целом не выходили за рамки стихотворных панегириков. В стиховорении поэта Н. Яковлева «К портрету Карамзина» вновь содержался выпад в адрес «зоилов», которых переживет слава Карамзина и его труд. Шаликов воспел историографа за то, что тот

Отчизне посвятил,
Ее благому просвещенью,
Ее на веки прославленью труды бессмертные сих дней[143].

Если судить по подцензурной части полемики, то в начале 1824 г. в ней наступил на какое-то время период относительного затишья. Возможно, здесь сказались результаты жалоб, с которыми собирались обратиться такие сторонники Карамзина, как П. А. Вяземский и А. И. Тургенев. Во всяком случае, ряд материалов, опубликованных в печати с критикой и защитой «Истории», в том числе заметки Погодина, разбиравшие легенду о призвании варягов и в целом направленные против Лелевеля[144], статьи Арцыбашева[145] и других авторов, поправлявшие отдельные неточности «Истории», по «тону» и характеру рассуждений были свободны от откровенно полемического налета и открытых выпадов против противников.

Впрочем, это отнюдь не означало ослабления внутреннего накала дискуссии. Об этом свидетельствуют и многочисленные дневниковые записи М. П. Погодина и целый ряд других источников. Н. А. Полевой, например, 27 марта 1824 г. писал Булгарину: «Здесь нетерпеливо многие ждут Лелевеля — что Вы замолчали?.. Неужели?..

Видели ли, как юный ученик Каченовского *Погодин* грудь с грудью и рука с рукой хочет бороться с Лелевелем Вашим? Завтрашний Вестник обещает статью на Лелевеля еще. Боже! Что делается с Каченовским от желчи! Петербург загонял Москву. Мы нагло здесь отстаем от Вас. Москва спит крепко и спокойно».

Новый этап полемики начался после одновременного выхода десятого и одиннадцатого томов «Истории». Это была вершина творческого взлета Карамзина. Героические и трагические события русской истории конца XVI — начала XVII в. представлены в его труде в живописном, запоминающемся рассказе, едва прикрывавшем откровенную публицистическую направленность содержавшихся в нем идей. Темы самодержавия, народа, аристократии получили здесь дальнейшее развитие. Образ грозного царя-тирана сменила целая галерея монархов — слабовольного Федора Ивановича, умного преступника, прокравшегося к венцу Бориса Годунова, самозванца Григория Отрепьева, непоследовательного и лживого Василия Шуйского. Вместе с ними в «Истории» все сильнее зазвучал голос народа, то растерянного, то мятущегося в «бессмысленном бунте», то покорно склоняющего голову перед самодержавной властью, страстно желающего ее, умилительно преданного ей, то, наконец, в грозном безмолвии осуждающего самодержцев. В этих двух томах историограф ни на шаг не отступил от своей главной идеи — спасительности для России самодержавной власти. Драматизируя повествование о крупных событиях отечественной истории, он вновь с еще большей наглядностью стремился показать современникам: виновато в государственных бедах не самодержавие, а его отдельные представители, не имеющие или утратившие государственные и человеческие «добродетели». Из этой общей идеи вытекали и более частные «уроки» для монарха и народа — те политические сентенции и нравственные «апофегмы», которыми были особенно наполнены десятый и одиннадцатый тома «Истории».

Сильное художественное и публицистическое начало десятого и одиннадцатого томов прежде всего обратило на себя внимание современников. Десятым томом восхищался, например, Погодин, уже к этому времени занявший критическую позицию по отношению к научным достоинствам «Истории» и отдававший должное ее автору только в «искусстве писать»[146]. Прочитав оба новых тома «Истории», А. С. Пушкин заметил, что повествуемое в

них «злободневно, как свежая газета». А. И. Одоевский, прослушав отрывки из десятого тома в Российской академии, находил, что в нем описание характера Годунова «может быть, красноречивейшее во всей нашей словесности» [147]. Даже такой непримиримый литературный и идейный противник историографа, как П. А. Катенин, прочитав эти тома «Истории», признался Н. И. Бахтину, что они поколебали мнение его: «...я начинаю думать, что он (Лжедмитрий I.— *В. К.*) точно был Лже, а не настоящий». Спустя два месяца, оценивая карамзинский «слог», Катенин признал, что он изменен в «Истории», и невольно сделал историографу комплимент, заявив: «...не другие к нему («слогу» Карамзина.— *В. К.*) приноровились, а, напротив, он сообразился с общим вкусом: это ясно и неоспоримо» [148]. Поэт Н. М. Языков в одном из писем братьям отразил восторженное художественное восприятие десятого и одиннадцатого томов «Истории» многими читателями: «В этих двух томах богатый источник для драматической поэзии» [149].

Разумеется, «уроки» и «апофегмы» Карамзина никак не могли удовлетворить декабристов, до открытого выступления которых против самодержавия оставались уже месяцы. «Время рассудит Карамзина как историка»,— осторожно замечал в своей заметке о десятом и одиннадцатом томах «Истории» А. А. Бестужев, не отрицая, впрочем, ее литературных достоинств («свежесть и силу слога, заманчивость рассказа и разнообразие в складе и звучности языка, столь послушного под рукою истинного дарования») [150]. Однако по-прежнему открытой критики «Истории» с их стороны не прозвучало. И в такой позиции декабристов был известный положительный смысл и политический расчет. Они осознавали идеологическую опасность «заманчивости» повествования историографа, пропагандировавшего народу смирение и покорность. Но они видели, и сколь богатый материал дает «История» для их революционной пропаганды. Отдавая на суд потомства Карамзина-историка, они брали, как, например, К. Ф. Рылеев в «Думах», в свой арсенал борьбы «Историю» как в целом достоверный свод фактического материала, содержащий к тому же санкционированные верховной властью негативные оценки остраполитических для современности событий прошлого. Десятый и одиннадцатый тома «Истории», так же как и девятый, стали для них официальным прикрытием в революционной пропаганде.

Примечательно, что в подцензурной части полемики долгое время (почти год) мы не встречаем каких-либо откликов на десятый и одиннадцатый тома. Исключение составили лишь краткие информации, помещенные в периодике до выхода в свет этих томов, о чтении Карамзиным отрывков в заседании Российской академии и объявления о подписке на них. Информация о чтении в Российской академии, помещенная в «Сыне Отечества» [151], была столь же осторожной, как когда-то опубликованная здесь же информация Каразина о чтении девятого тома. Зато объявление о подписке на новые тома [152] указывало, что в них читатель найдет «происшествия, характеры, уроки, каких тщетно будем искать едва ли не во всей всемирной истории».

Большей откровенностью отличалась заметка П. П. Свиньина [153] о чтении Карамзина в Российской академии. Десятый и одиннадцатый тома «Истории», отмечал он, наиболее «любопытны» для современников «по сближению времени и по необыкновенным отечественным происшествиям, для Европы — по важности сношений с Россией». Свиньин сравнивает Карамзина с музыкантом, «разыгрывающим заданную ему *тему* с непоколебимым постоянством и твердостью, не удаляющимся нисколько от достоинства предмета». Его восхищает, что через переводы «Истории» «русское творение приобщено напоследок к европейской литературе», что в «минуты всеобщего мира» труд историографа «впечатляет выгодные понятия о степени нашего просвещения».

Молчание вокруг десятого и одиннадцатого томов «Истории» нарушил «Северный архив», в котором в течение нескольких месяцев 1825 г. печатался пространный разбор продолжения труда Карамзина. Автором разбора был Ф. В. Булгарин. Критическому рассмотрению в нем подвергся ряд конкретных событий, описанных в «Истории». Прежде всего, рецензент опровергает один из важнейших выводов историографа (о причастности Бориса Годунова к убийству царевича Дмитрия), являвшийся важной опорной точкой всей концепции Карамзина о русской истории конца XVI — начала XVII в. Булгарин соглашается с Карамзиным в том, что царевича действительно убили (иного в подцензурной печати и не могло быть: Дмитрий причислен православной церковью к лику святых как убиенный). Однако полагает, что, если судить «юридически», т. е. с точки зрения современного уголовного права, то причастность к этому убийству Году-

нова не доказана. Булгарин ссылается на отсутствие прямых улик против Годунова, его собственного признания, наличие противоречивых свидетельств современников. Годунова, приходит к выводу рецензент, можно только подозревать, а не обвинять столь яростно, как Карамзин. Громогласные упреки историографа, утверждает Булгарин, не имеют под собой ни уголовных, ни источниковых оснований. Сами по себе они не являются каким-либо доказательством.

Односторонне, считает Булгарин, охарактеризована в «Истории» причина установления патриаршества. Годунов, по его мнению, стремился этим не только привлечь на свою сторону видного церковного деятеля Иова, как писал Карамзин, но главным образом противодействовать папскому влиянию, уничтожить зависимость русской церкви от константинопольской. Серьезные претензии предъявляет рецензент к «наполнению» двух последних томов. Карамзин, полагает он, целые страницы посвящает описанию обрядов, церемоний, пиров, дипломатических переговоров, которые лучше было бы поместить в примечания. В то же время важные исторические события прошли мимо внимания историографа: мало сказано о роли Архангельска в экономике страны, не обратил внимания Карамзин на «удальство казаков», имевшее «важные последствия на дела России» и устройство Земской думы, бегло рассказал о воинском искусстве, государственных податях, судопроизводстве, правах сословий, особенно купечества, и т. д.

Предъявляет претензии Булгарин и к интерпретации Карамзиным источников, вообще к источниковой базе «Истории». По мнению Булгарина, «злодейства» Годунова и Лжедмитрия либо вымышлены их недоброжелателями, либо основаны на свидетельствах, авторы которых пользовались «слухами и вестями». Историограф же без каких-либо оснований в одних случаях доверяет им, в других считает недостоверными (особенно при использовании сочинений иностранцев Д. Флетчера, Ж. Маржерета, П. Петрея, Г. Паерле). Нередко Карамзин сознательно опускает важные места источников, противоречащие его концепции, либо помещает их в примечания, несмотря на явное расхождение их свидетельств с изложением событий в основном тексте «Истории».

Рецензия Булгарина оказалась единственным пространным подцензурным откликом на десятый и одиннадцатый тома «Истории» на четвертом этапе полемики вок-

руг труда Карамзина. Но уникальность рецензии не только в этом. Статья Булгарина содержала, как в свое время и статья Арцыбашева, серьезные аргументы, подрывающие карамзинскую концепцию русской истории конца XVI — начала XVII в. Отрицание причастности Бориса Годунова к убийству царевича Дмитрия ставило под сомнение все душевные терзания русского царя, которыми историограф объяснял многие его действия, наносило удар трактовке Карамзиным успехов Самозванца как неумолимой кары провидения, свалившейся на царя-преступника. Рецензия низводила два тома «Истории» до уровня заурядного литературного произведения, не имеющего под собой сколько-нибудь научных оснований.

Политическое звучание рецензии имело двойственный характер. С одной стороны, упреки в адрес Карамзина о его невнимании к устройству Земской думы и «удальству казаков» можно рассматривать как отзвуки оживленного обсуждения в это время вопросов представительного правления (и поисков элементов этого правления в русской истории), значения выступлений против самодержавия народных масс, в том числе казачества. С другой стороны, в рецензии звучали выпады и откровенно охранительного характера. Так, рецензент, выступая против карамзинской характеристики развала правления последних лет царствования Годунова, упорно отстаивал «правосудие и права» в это время. «У трона,— заявлял он,— были бескорыстные предстатели, в судах верные исполнители законов, в войске строгая дисциплина»[154]. Следующий пассаж носил уже характер откровенного доноса. Рассказывая о касимовском правителе Урез-Магмете, Карамзин заметил, что он был «пожалован» в касимовские цари. Царь — это не чин и не должность, заметил рецензент, продолжая: «...в наше время это одно слово не только дает превратный смысл историческим событиям, но даже рождает многие сомнения в читателе насчет тогдашнего устройства»[155]. Да и сама попытка поставить под сомнение непричастность к убийству царевича Дмитрия одного из представителей самодержавной власти в общественно-политической борьбе того времени шла вразрез с передовой идеологией, пытавшейся любыми способами дискредитировать монархическую идею.

Возможно, что именно такой критический акцент рецензии и объясняет ее появление в печати. Во всяком случае, для Карамзина не было сомнений в том, кто способствовал ее публикации. В письме к И. И. Дмитриеву

он сообщал: «Ты говоришь о нападках Булгарина, это передовое, легкое войско, а главное готовится к делу, как мне сказывали: Магницкий etc., etc. вступаются за Иоанна» [156].

Несмотря на выход десятого и одиннадцатого томов «Истории», подцензурная часть полемики по-прежнему сосредоточилась вокруг ее первых восьми томов. Однако в характере их обсуждения появились новые черты, связанные не просто с критикой труда Карамзина, а с попытками осмысления проблем, навеянных содержащимися в ней идеями.

Одной из них стала статья Д. Зубарева. Вслед за Лелевелем автор считает, что государство времен Рюрика и его преемников не находилось на той «степени величия», о которой писал Карамзин. По мнению Зубарева, вплоть до Ярослава Мудрого Киевскую Русь нельзя считать единым государственным образованием, а власть князей неограниченной. В связи с этим Зубарев возражает против попыток историографа сравнивать состояние Древнерусского государства с Францией времени Карла Великого, с Англией при Альфреде Великом и т. д., а также «унижать сравнением неустройства ее с беспорядками, существовавшими при преемниках оных государей» [157]. Возражение вызывает у Зубарева то, что Карамзин якобы утверждает: ордынское иго не влияло на обычаи, законодательство, язык русского народа. В позиции Зубарева по этому вопросу чувствуется воздействие передовой идеологии. Ордынское иго, пишет автор, явилось причиной подавления в русском народе любви к свободе, породило деспотию князей и царей, способствовало введению пыток, переписей населения, других повинностей, закрепостивших крестьян.

Статья Зубарева, особенно в части, связанной с размышлениями о последствиях ордынского ига, необоснованностью сравнения Руси времен Ярослава Мудрого с другими европейскими государствами, вызвала положительный отклик Булгарина [158]. Вместе с тем Булгарин полагал, что Зубарев не понял мыслей Карамзина о «единодержавии» в Древнерусском государстве. Карамзин, по словам Булгарина, говоря о «единодержавии», имел в виду русское государство времени Ярослава Мудрого.

В 1825 г. итоги полемики вокруг «Истории» попытался подвести редактор-издатель нового московского журнала «Московский телеграф» Н. А. Полевой. По его мнению, в русском обществе появление труда Карамзина вызвало

скорее удивление, чем желание серьезно оценить его достоинства и недостатки. Несмотря на голоса «литературных простолюдинов», в целом, считает он, у современников составилось представление об «Истории» как о «творении превосходном и прекрасном». Последовавшие затем критические выступления вызывают у него «неутешительное» впечатление. В рецензии «Киевского жителя» он отмечает «грубый слог», незавершенность, «сбивчивость суждений». Более основательными Полевой признает замечания Арцыбашева, хотя и отмечает их тенденциозность, а о «критических пиэсах» того же автора на девятый том предпочитает вообще не говорить «ни слова». Характеризуя критику Лелевеля, Полевой считает, что ее начало обещало многое, но затем стало видно, что критик имел в виду не разбор «Истории государства Российского», а изложение своих мнений о разных исторических «предметах». Пристрастием, по его мнению, отличается и статья Зубарева, который неверно понял слова Карамзина о последствиях ордынского ига, вырвав их из общего контекста «Истории». Говоря в целом о полемике, Полевой заключает, что «если статьи почитателей Карамзина отзываются безотчетным восторгом, зато критики на его творение, кажется, пишут под диктатурою какого-то неприязненного чувства. Кроме критики Лелевеля, все другие подвержены сему недостатку»[159].

В противоположность этим двум подходам Полевой формулирует свои принципы оценки труда Карамзина: без мелочного расчета и поиска конкретных ошибок рассмотреть всю «Историю» с позиций установления соответствия ее повествования реальной картине прошлого и глубины содержащихся в ней «философских идей».

Рецензия Полевого предваряла серию его статей о Карамзине, опубликованных спустя несколько лет. Она примечательна двумя особенностями: попыткой автора встать над критиками и защитниками историографа, отмежеваться от них и призывом рассматривать «Историю» в целом. Последнее особенно важно. Полевой вслед за Лелевелем подчеркнул единство исторической концепции Карамзина. Именно потому, что критики историографа ограничивались отдельными «придирками», они не смогли сколько-нибудь существенно поколебать основных выводов «Истории», считает он. Это можно сделать, справедливо утверждал критик, только противопоставив «философской системе» Карамзина иную философскую систему.

Статья Полевого вызвала немедленный ответ Зубарева. Зубарев находит у Полевого «привязчивые», «самоуверенные» замечания без каких-либо доказательств. Соглашаясь с Полевым в том, что из «Истории» нельзя вырывать отдельные места, Зубарев тем не менее полагает, что долг критика «обратить внимание на погрешности в „Истории государства Российского", сочиненной автором, известным и уважаемым, которому доставлены были все возможные средства написания русской истории» [160]. Зубарев отстаивает свое понимание точки зрения Карамзина на последствия ордынского ига. Более того, он обращает внимание на якобы противоречивые формулировки историографа по этому вопросу, заключая далее, что таких противоречий в «Истории» можно обнаружить немало.

Между тем с явным опозданием защиту «Истории» от критики Арцыбашева берет на себя известный писатель М. Н. Макаров, по его словам долго бывший в «чужих краях» и с удовольствием наблюдавший там успех труда историографа [161]. Автор «антикритики», восторженный поклонник всего творчества Карамзина, отстаивает принципы цитирования историографом источников в примечаниях. Он обвиняет Арцыбашева в отсутствии должного уважения к Карамзину и способностей к историческим исследованиям. Приведя как образцы разбора «Истории» критику Лелевеля и работы Руссова, автор заключает, что все остальные критические выступления против Карамзина только унижают «заслуги отечественной словесности».

Реакция Арцыбашева следует незамедлительно, поскольку, заявляет он в своем ответе, его молчание может быть расценено как признание справедливости замечаний оппонента [162]. По мнению Арцыбашева, автор «антикритики» «до безмерности» хвалит Карамзина, прибегает к «заочной брани», в которой сам обвиняет Арцыбашева. Он мало смыслит и в исторической критике, а своими заявлениями о почтении к Карамзину ничего не доказывает, ибо, считает Арцыбашев, важна «суть» спора. Касаясь этой «сути», Арцыбашев вновь заявляет, что автор исторического сочинения, претендующий на доверие читателей, обязан прежде всего строго следовать за источниками.

Ответ Арцыбашева свидетельствует о принципиальной убежденности в недостатках «Истории». Вновь было подчеркнуто, что историограф произвольно цитирует ис-

точники в примечаниях и даже старается приспособить свои цитаты, выписки из источников к тексту «Истории».

Началом 1826 г. завершается четвертый этап полемики вокруг «Истории». Для него, так же как и для третьего, характерны увеличение круга периодических изданий и лиц, принявших участие в обсуждении труда Карамзина, расширение фронта критических выступлений, в том числе со стороны реакционного лагеря русского общества, и одновременно приглушение критики «Истории» в подцензурной части полемики представителями декабристского движения. Обсуждение труда Карамзина сохраняет устойчивое политическое звучание, но параллельно с этим все более и более набирают силу попытки оценить достоинства и недостатки «Истории» как научного исторического сочинения. Наиболее ярко воплощаются эти попытки в статьях Лелевеля, Арцыбашева, отчасти Булгарина и ряда других современников. Вновь, как и на предшествующих этапах дискуссии, «ученым» критикам «Истории» ее защитники не могут противопоставить сколько-нибудь серьезных новых аргументов, упорно подчеркивая факт создания и появления труда Карамзина как выдающееся событие в общественной жизни России. Менее выражена на третьем и четвертом этапах критика литературной стороны «Истории», скорее все более и более оформлялась тенденция к общему признанию ее художественных достоинств.

Начало пятого этапа полемики связано со смертью Карамзина и последовавшими в связи с этим некрологами историографу. Один из первых опубликован «Вестником Европы». Впрочем, редактор этого журнала и тут остался верен себе: поместил всего лишь перевод некролога из «Санкт-Петербургского журнала», издававшегося на французском языке [163]. Некролог содержал положительную оценку «Истории». В нем отмечалось, что она дала «образец классической прозы на языке русском», события в ней представлены «за поручительством самых источников в удивительном порядке, с беспристрастием неизменным», а также подчеркивалось, что в самом Карамзине «человек являлся выше писателя».

Роль Карамзина как преобразователя русского языка была подчеркнута в некрологах П. Шаликова, В. Золотова, Н. Полевого [164]. Касаясь «Истории», Золотов отмечал, что в ней виден «философ и критик», своим трудом пробудивший внимание к русской истории, «истребивший нелепые мнения» о России Левека и Леклерка. По мнению

Полевого, «История» Карамзина всегда будет «велика», хотя настанет время, когда и она окажется превзойденной «и в самом выражении, и в сущности». Труд Карамзина, заключал Полевой, знаменует рождение новой русской литературы.

Однако во всех без исключения некрологах зазвучали ранее лишь слабо выраженные акценты, на которые впервые в советской литературе обратил внимание В. Вацуро. Они связаны с настойчивым подчеркиванием роли в личной и научной судьбе историка Александра I, а затем Николая I и личной преданности к ним Карамзина. Об «истинно царском великодушии» по отношению к историографу пишут Полевой, Золотов, Шаликов. Золотов отмечает, что Карамзин был «любимец двора», рисует трогательную картину его последних дней жизни и похорон. Здесь фигурирует и Таврический дворец, где умер Карамзин, и столичная знать — «друзья» историографа, пришедшие прощаться с ним, и 50 тыс. руб. «пенсиона», выделенного семье Карамзина. Николай I «говорил с подданным как другом», осыпав его «великолепными истинно царскими дарами», живописует В. Измайлов. Образ Карамзина, идеального верноподданного, предстает перед читателями в статье Греча [165]. Некролог Шаликова завершает панегирик «примерным милостям» Николая I, «явившего перед целым светом, до какой степени простиралось внимание монарха к знаменитому подданному».

Наиболее последовательно эти акценты расставлены в похвальном слове Карамзину Н. Д. Иванчина-Писарева, прочитанном им в московском Обществе истории и древностей российских [166]. Здесь полный набор качеств «слуги верного» престола и отечества. Даже смерть Карамзина представлена как результат того, что историограф не смог пережить своего венценосного покровителя Александра I. В целом же сочинение Иванчина-Писарева содержит обычные оценки творчества Карамзина и его основного труда. В преобразовании языка он был последователем Ломоносова. Карамзин открыл русскую историю соотечественникам, прославил Россию своим сочинением, которое читают в Европе. В его труде искусство изображения прошлого соединяется с патриотизмом, благочестием, истинной философией (философией «врачевания сердца»), терпением перед бедами и несчастьями, беспристрастием, верным изображением нравов, обычаев. Карамзин соединил в себе все достоинства Ливия, Ксено-

фонта и Тацита. Недвусмысленно подчеркивалось, что историограф и «верно обозначил постепенность нашего государственного возрастания... По нем яснее видим, как рождались единовластие с самодержавием».

Вскоре тот же Иванчин-Писарев опубликовал сборник выдержек из сочинений Карамзина, подготовленный еще при жизни историографа. Среди них помещены мысли Карамзина о литературе, искусстве, истории, языке и т. д., а также отрывки (с цензурными купюрами!) из «Истории»[167]. Любопытно, что в подготовке сборника, очевидно, приняли участие близкие друзья Карамзина, в частности И. И. Дмитриев и А. И. Тургенев, о чем свидетельствуют отрывки из неопубликованных в это время писем к ним историографа.

В. Вацуро, специально изучавший некрологи Карамзину, справедливо отметил: «Это была канонизация. Черты живого человека складывались в иконописный лик ангела-хранителя монархической России»[168]. «Верноподданный дворянин», «благонамеренный патриот», обласканный монархами, постепенно начал выдвигаться идеологами самодержавия как противовес декабристам, тем кто «святости» и «ангельскому характеру» предпочел виселицу, ссылку и каторгу.

Впрочем, хотя и реже, но раздавались иные голоса. Близкий к М. Л. Магницкому Н. Н. Муравьев в исследовании о древнем Новгороде[169], провозгласив свою приверженность «святильнику исторической истины», тяжеловесным слогом XVIII в. силился доказать несоответствие «сказок и романов» о бывшем некогда могуществе Новгородской республики. «Я ныне то исполняю,— заявлял автор,— желая служить отечеству своему, несколькими неопровержимыми источниками о такой его точке, которая имела в древности некую особенность и тем родила то к себе предубеждение живущих поколений, что она была некоею светлою точкою России, из которой якобы вознеслось и существовало ее величие, ее просвещение, ее ремесленности, ее богатство, которых точка сия ныне якобы и тени не представляет»[170]. Это был откровенный выпад против республиканских идей разгромленного декабристского движения, стремление доказать беспочвенность их попыток отыскать демократические традиции в национальном прошлом. И Карамзин, как свидетельствует ряд осторожных примечаний Муравьева, оказался едва ли не главным среди тех, кто придавал несправедливо в русской истории «столь значущую» роль

и самой Новгородской республике, и ее особому государственному устройству.

Прогрессивный лагерь, особенно те его представители, которые хорошо знали «живого» Карамзина, выражал возмущение теми оценками личности и деятельности историографа, которые раздавались в сочинениях Иванчина-Писарева, Шаликова, Измайлова, Греча и др., не говоря уже о выступлении Муравьева. «Читая в журналах статьи о смерти Карамзина,— писал 10 июля 1826 г. П. А. Вяземскому А. С. Пушкин,— бешусь как они холодны, глупы и низки. Неужто ни одна русская душа не принесет достойной дани его памяти! Отечество вправе от тебя того требовать. Напиши нам его жизнь: это будет 13 том „Истории“»[171]. В ноябре 1826 г. Пушкин решает опубликовать сохраненный им фрагмент воспоминаний о Карамзине и об откликах на его труд в 1818 г., однако по не вполне ясным причинам отказывается от своего замысла.

В какой-то степени противопоставлением иконописным характеристикам официальных некрологов следует считать письмо (из Дрездена) А. И. Тургенева, помещенное при помощи Вяземского в «Московском телеграфе»[172]. По мнению Тургенева, авторы некрологов «не умели или не хотели воспользоваться правом своим возбуждать народное внимание, народное чувство к важным событиям в государстве». Тургенев называет Карамзина представителем европейского просвещения в России, человеком, искренне любившим родину, страдавшим за ее судьбу.

Вскоре Тургенев предпринимает новую попытку оценки деятельности Карамзина. Выходившая в Лейпциге «Литературная газета» публикует рецензию на немецкий перевод первых восьми томов «Истории». В ней говорилось, что Карамзин сумел «изысканно» изложить историю своего отечества с «характером чистой нравственности и благородной филантропии». Рецензент отмечает «превосходные замечания» историографа в предисловии о том, как писать исторический труд, его скрупулезные источниковедческие штудии, особенно в первом томе, интересные сведения о развитии в России ремесел, торговли, просвещения.

Рецензия была прислана Тургеневым в Россию и вместе с его замечаниями на нее опубликована в «Московском телеграфе»[173]. По мнению Тургенева, Карамзин донес до читателей все важное, что сохранилось в ле-

тописях, и представил это в «великой и верной картине». Исполнилась, пишет Тургенев, мечта Шлецера написать историю русского государства «с основательностью Макова, вкусом Робертсона, откровенностью Ганнона и прелестью Вольтера».

Итак, Вяземский, Пушкин, Тургенев в личной переписке, а затем и публично заговорили о другом Карамзине, явно неудовлетворенные, казалось бы, вполне приличными похвалами историографу и его труду в многочисленных некрологах и панегириках. Более того, А. С. Пушкин решается на публикацию своих заметок об «Истории» и ее авторе. Читатели получили возможность познакомиться с ними на страницах альманаха «Северные цветы» в 1828 г. Отмечая «обширную ученость» Карамзина, сообщая о критике, которую вызвал его труд, в первую очередь в декабристской среде, Пушкин подчеркивает, что «„История государства Российского" есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека» [174]. Почему же автор одной из самых злых эпиграмм на «Историю» теперь, спустя десять лет, дает столь высокую характеристику историографу и его труду?

Отвечает на это в своих работах В. Вацуро, а вслед за ним и Н. Эйдельман. После разгрома декабристского движения приобрела политическое звучание нравственная оценка тех, кто смело вышел на Сенатскую площадь, и тех, кто донес о планах первых русских революционеров, кто затем присвоил себе право суда над ними. «На весах общественного мнения,— пишет Вацуро,— лежали понятия „верноподданный" и „порядочный человек"» [175]. И Карамзин, как справедливо замечает Вацуро, «вновь выходит на политическую арену. Но это уже не живой, не реальный Карамзин, носитель тех или иных политических суждений — ошибочных, даже реакционных, вызывавших на споры. Это некий моральный арбитр, человек, всегда сохранявший свое „я", свою независимость, свое „особое мнение"» [76]. Образ Карамзина для прогрессивного лагеря становится символом человеческой порядочности, образцом мыслителя и гражданина, носителем высоких идеалов просвещения. Представители прогрессивного лагеря взяли историографа в союзники, сделали его знаменем в своей борьбе против опорочивания чести повешенных и сосланных декабристов.

Борьба «за Карамзина» и его труд становилась, таким образом, борьбой за право поступать в соответствии

со своими убеждениями, честно выполнять свой общественный долг. Именно таким общественным звучанием был пронизан пятый этап полемики. 1827 год в нем стал годом, когда происходила перегруппировка сил ее участников и противники готовились к завершающему, наиболее ожесточенному моменту схватки.

После заметок Тургенева и Пушкина, имевших откровенный политический подтекст, в 1827 г. наиболее интересны выступления Погодина и Полевого — двух ученых, с именами которых оказался тесно связанным ход полемики в последующее время. Оба отклика представляли собой рецензии на похвальное слово Иванчина-Писарева и подготовленный им сборник извлечений из сочинений Карамзина.

Полевой, оценивая похвальное слово, нашел в нем лишь повторение прежних двух-трех несвязанных между собой мыслей защитников историографа, надутые сравнения и пустые декламации. Не удовлетворен рецензент и сборником извлечений из сочинений Карамзина. Из него, считает Полевой, трудно получить представление о «духе» Карамзина, здесь помещены сочинения историографа разного времени, а извлечения из «Истории» случайны: «хорошее упущено, незамечательное оставлено». Полевой выступает против безудержного восхваления Карамзина, заключая свою рецензию словами о том, что строгая и справедливая оценка творчества историографа «гораздо вернее и надежнее похвал и восклицаний, основанных на чувстве» [177].

Близок к мнению Полевого о похвальном слове Иванчина-Писарева и Погодин [178]. Как когда-то Полевой в статье о Карамзине 1825 г., Погодин формулирует свое представление о том, по каким направлениям необходим разбор «Истории». Труд Карамзина, считает рецензент, нужно рассматривать с позиций источниковедческого мастерства его автора, точности повествования, имеющихся в нем философских идей. Важно показать «дух его истории, практическое ее направление, в чем и почему полагал он счастие государства». В сочинении Иванчина-Писарева Погодин находит, как и Полевой, множество ненужных гипербол, сомневается в справедливости мнения автора об огромной роли Карамзина в «усовершенствовании» русского языка. Не склонен он восторгаться тщательностью работы Карамзина с источниками. Невысокого мнения Погодин и о самой полемике: доказательство того, что Карамзин «опередил своих современников,

я нахожу в том, что они не умели ни хвалить, ни порицать его», пишет он.

Программные установки издателей-редакторов двух московских журналов на принципы оценки «Истории» предваряли (как в свое время и ряд статей Каченовского в «Вестнике Европы») их выступления с развернутыми оценками труда Карамзина.

Начал Погодин, опубликовав свою раннюю статью, направленную против мнения историографа о «начале» Древнерусского государства [179]. Статья вызвала положительный отклик Арцыбашева, увидевшего в Погодине союзника. «Из статьи вашей,— писал он Погодину,— видел я, что вы собираетесь перемывать белье нашего покойного *псевдоисториографа*. Мне удалось уже перемыть оное в „Казанском вестнике"... Этому *милому* не показалось: он имел даже дух жаловаться на меня губернатору Петру Андреевичу Нилову в Петербурге» [180]. Вскоре в «Московском вестнике» были перепечатаны замечания Арцыбашева на первый том «Истории» [181], а затем опубликовано и их продолжение, написанное в том же духе, на второй том [182]. Статьи Арцыбашева сопровождались кратким предисловием редактора-издателя. Погодин, не соглашаясь с рядом «выходок» Арцыбашева, отмечал, что «Историю» в источниковедческом отношении можно рассматривать «указательницею задач, которых разрешение необходимо». Во имя будущего исторической науки он и решил поместить критику Арцыбашева, предвидя, что она вызовет возмущение у сторонников историографа.

Вслед за этим редактор-издатель «Московского вестника» в письме вымышленного читателя журнала «Z» сформулировал, на его взгляд, наиболее распространенную точку зрения защитников «Истории» [183], а в ответе на это письмо высказал свое мнение о труде Карамзина [184].

В письме «Z» с негодованием вопрошал Погодина: «Я не понимаю, каким образом вы осмелились дать место в вашем журнале брани на творение, которое мы привыкли почитать совершеннейшим?»

Погодинский ответ не содержал оправданий, наоборот, носил наступательный характер. Отстаивая право на публикацию замечаний Арцыбашева, Погодин писал, что, даже если бы десятая часть их была справедлива, во имя торжества исторической истины он счел бы своим долгом довести эти замечания до читателей. По мнению Погодина, Карамзин «велик как художник-живописец, хотя

его картины часто похожи на картины того славного итальянца, который героев всех времен одевал в платье своего времени». В области исторической критики историограф лишь удачно воспользовался трудами своих предшественников. Представления Карамзина об истории как науке неверны. Характер его исторического рассказа свидетельствует, что он не имеет больших достоинств как философ. Нравоучения («апофегмы») Карамзина представляют собой не что иное, как общие места. К бесспорной заслуге Карамзина Погодин относит только то, что труд историографа пробудил интерес к отечественной истории, ввел в научный оборот новые источники и обогатил русский язык.

Спор об «Истории» на страницах «Московского вестника» после ответа Погодина вскоре приобрел еще большую остроту. Статья Вяземского, помещенная здесь, разбирала ряд конкретных замечаний Арцыбашева, но главной ее целью была попытка оценить творчество Карамзина. Память Карамзина, утверждал Вяземский, священна не только потому, что он преобразователь русского языка, которого Арцыбашев вздумал учить грамматике времен Тредиаковского. Главная заслуга историографа — в создании труда, поставившего его в один ряд с выдающимися историками прошлого и настоящего. «В сей истории,— писал Вяземский,— каждая страница возбуждает в нас любовь к своему отечеству, развивает национальную гордость, без которой нет *общественного духа, а следовательно, нет и общественной силы, свойственной только высшей степени гражданственности* (курс. наш.— *В. К.*)» [185].

Выступление Вяземского отражало только часть той большой волны недовольства, которую вызвали замечания Арцыбашева и мнение об «Истории» Погодина. Еще накануне публикации замечаний Арцыбашева Погодину пришлось убеждать в целесообразности их появления своего сотрудника по журналу С. Т. Аксакова. Судя по переписке, дневнику и воспоминаниям Погодина, замечаниями были возмущены В. А. Жуковский, В. Ф. Одоевский, Д. Н. Блудов, И. И. Дмитриев. Не смолчали и другие литературные поклонники и подражатели Карамзина. Высокопарное и многословное надгробное стихотворение историографу посвятил граф Хвостов, в котором вновь заявил:

Ревнитель бытия давно усопших лет
В потомстве будет жить и вечно не умрет [186].

Ехидной филиппикой в адрес критиков Карамзина разразился князь Шаликов:

Орел, над Альпами парящий в облаках,
Удобен ли внимать журнальных насекомых?
Вот мысли о твоих величия трудах
И их ценителях, со славой незнакомых! [187]

Тем временем Вяземский предпринял еще одну попытку публичного выступления, теперь уже с упором на критику «зоилов». В «Московском телеграфе» он поместил написанную «лет за десть» до этого стихотворную пародию «Быль», которая когда-то адресовалась Каченовскому, но тогда не увидела света. В пародии Карамзин сравнивался с зодчим, который разрушил «древний храм готического зданья» и на развалинах «чертог воздвиг», поражающий своим величием, вкусом, силой и т. д. Однако, пишет Вяземский:

Враги нашлись, но где ж? в семействе сов.
Из теплых гнезд изгнанники в дубравы
Они с стыдом пустились, и в дуплах
В досаде злой, в остервененье диком,
Совиный их, ночной ареопаг
Труд зодчего позорил дерзким криком [188].

На балу у Веневитиновых Погодин прочитал ответ Вяземскому на сатиру. «Время на пасквили уже прошло»,— писал в нем Погодин. Теперь дело за серьезным историческим трудом, а не за остроумными насмешками и колкими эпиграммами людей, которые «садятся не в свои сани» [189].

Ответное письмо Вяземского к Погодину примечательно как отражение позиции одного из самых энергичных защитников историографа, высказанной им в бесцензурной части полемики. Квалифицируя письмо «Z» как «или неловкий журнальный вымысел, или письмо дурака», Вяземский находил неуместным и забавным и сам ответ Погодина на это письмо. По мнению Вяземского, снисходительный тон выступления Погодина неприличен и самоуверен, когда речь идет о Карамзине. В замечаниях же на «Историю» Арцыбашева он видит «нелепости» и «непристойности» полуученого человека. Вяземский решительно ополчается на сам факт публичной критики труда историографа, который есть «единственный,— по его словам,— зрелый плод русского и русской образованности». В условиях, когда просвещение в России

дремлет, мелочная, хотя и справедливая критика, написанная в грубом тоне, порождает незаслуженный скептицизм по отношению к Карамзину. «Неужели,— спрашивал Вяземский Погодина,— вам кажется, что Россия уже зачиталась Карамзина, что пора благодарности должна миноваться и настать пора строгого суда? Неужели не знаете вы, что Россия слишком мало читает, что отняв у нее „Историю", писанную Карамзиным, вы осуждаете ее ничего не читать, потому что за исключением „Истории" нет у нас решительно ни одной книги» [190]. Письмо Вяземского проникнуто искренней заботой о состоянии отечественного просвещения, на которое надвигалась пора николаевской реакции. Именно в условиях усиливавшихся преследований литературы защиту «Истории» он объявил делом национальным, а уважение к ней — «народной честью», которые должны способствовать сохранению лучших традиций отечественной общественной мысли, литературы и языка.

Несмотря на то что письмо Вяземского по его просьбе не было опубликовано Погодиным, в очередной заметке редактора-издателя «Московского вестника» содержался негласный ответ Вяземскому. Основная мысль ответа — обоснование того, что наука только выигрывает от критики «Истории». «Неужели наука, неужели Карамзин,— спрашивал Погодин,— потеряют что-нибудь, если какой-нибудь невежа перестанет читать его от того, что в журнале появятся замечания на „Историю государства Российского"?» [191].

С мнением Погодина согласился П. М. Строев [192]. В «совином ареопаге» он увидел незаслуженное унижение «ученых критиков» труда Карамзина. Назвав «Быль» стародавней, Строев заявил, что критика «Истории» только послужит делу дальнейшего развития отечественной науки. Судя по всему, Строев не был одинок в поддержке позиции «Московского вестника». Погодин в своем дневнике записал, что А. С. Хомяков «крепко держит мою сторону по делу Карамзина» [193].

Критическая статья Н. И. Надеждина о творчестве А. С. Пушкина, опубликованная в «Вестнике Европы» [194], дала новый толчок полемике. На нее откликнулся двумя статьями в октябрьском и декабрьском номерах «Московского телеграфа» Н. А. Полевой [195]. Статьи Полевого представляли собой оценку научных и литературных заслуг редактора «Вестника Европы» и значения самого журнала в общественной жизни страны. По его

мнению, Каченовский своими немногочисленными историческими сочинениями показал лишь профессиональное неумение, ограниченность познаний, несамостоятельность суждений. «В истории русской,— писал Полевой,— занимаясь мелочами, не ознаменовывая себя ничем важным, издатель „Вестника Европы" беспрерывно менял мнения: сперва свято верил Шлецеру, потом обратился к Эверсу, а когда Эверс от него отрекся, то бросился к Фатеру, всегда без соображений, без критики, без доказательств, только браня других, доказывая легкость своих познаний...». Полевой обвинял Каченовского в том, что тот ополчился на все, чем гордится русская литература, на «все великое, новое и прекрасное», в том числе и на «Историю». Забавной назвал Полевой и критику Арцыбашева, особенно в части, связанной с упреками в адрес слога «Истории»[196]. Так оценка творчества А. С. Пушкина оказалась связанной с отношением к Карамзину и его главному труду.

В ответ Каченовский заявил об отказе полемизировать с Полевым и о намерении предпринять «*другие меры* к охранению своей личности от игривого произвола». В жалобе в Московский цензурный комитет, ссылаясь на цензурный устав, он обвинил «Московский телеграф», его редактора-издателя и цензора С. Н. Глинку «в выражениях, укоризненных относительно к моему лицу и не менее того предосудительных для места, при котором имею служить с честью, с дипломами на ученые степени и в звании ординарного профессора»[197]. Жалобу Каченовского поддержал Совет Московского университета. Как цензор, Глинка вынужден был писать объяснение. Среди прочего он обратил в нем внимание на обещание Каченовского в объявлении об издании журнала помещать новые по содержанию статьи. В объявлении редактор «Вестника Европы» писал: «Область бытописаний неизмерима: некоторые места в ней доныне еще не были посещены изыскателями, ищущими открытий; на иных проложены тропинки, теряющиеся в тундрах бесплодных». Приведя в своем объяснении эти слова Каченовского, Глинка писал, что тот имел в виду и русскую историю. «Но Россия и Европа,— заявлял Глинка,— давно уже обратили внимание свое на труд знаменитого нашего историографа Николая Михайловича Карамзина. Ужели и сей бытописатель оставил в творении своем одни тропинки, теряющиеся в тундрах бесплодных?» В этом и других пассажах Каченовского Глинка увидел

несправедливое принижение состояния отечественной словесности. Обращая внимание на правительственные награды Карамзину, Гнедичу, Гречу, Булгарину, он предупреждал, что мнение Каченовского может быть превратно истолковано иностранцами [198].

Московский цензурный комитет признал обоснованной жалобу Каченовского. Лишь один из его членов (В. В. Измайлов) в особом мнении взял под защиту критику Полевого, ссылаясь на прецеденты: «строгую критику Макарова на вице-адмирала Шишкова», «обидные критики, писанные на историографа Карамзина». Впрочем, Измайлов в заключение полагал необходимым «особенным наказом» цензуре предписать «прекратить бранную полемику, выходящую ныне из границ вежливости и умеренности» [199].

Цензурная тяжба закончилась благополучно для Глинки и «Московского телеграфа». Главное управление цензуры признало выступление журнала против Каченовского не противоречащим цензурному уставу.

А. С. Пушкин откликнулся на этот эпизод сочувственной Полевому статьей «Отрывок из литературных летописей», в которой иронично отозвался о критических статьях «Вестника Европы» против Истории» Карамзина [200], и эпиграммой на Каченовского:

Журналами обиженный жестоко,
Зоил Пахом печалился глубоко;
На цензора вот подал он донос;
Но цензор прав, нам смех, зоилу нос.
Иная брань, конечно, неприличность,
Нельзя писать: *Такой-то де старик,*
Козел в очках, плюгавый клеветник,
И зол и подл: все это будет личность [201].

Погодинский дневник за декабрь 1828 г. свидетельствует, что Пушкин оставался верен своим прежним оценкам «Истории» и полемики вокруг нее. Назвав Карамзина в разговоре с Погодиным «летописателем XIX столетия», в сочинении которого видны «то же простодушие, искренность, честность (он ведь не нехристь) и здравый ум», Пушкин фактически повторил свою ранее данную характеристику в статье 1826 г., дополнив ее новыми мыслями, которые позже развил в рецензиях на «Историю русского народа» Полевого. Что же касается оценки арцыбашевских замечаний на «Историю», то, по словам Погодина, Пушкин оказался «гораздо хладнокров-

нее Вяземского и смотрит на дело яснее, хотя и осуждает их помещение»[202].

Авторитет Карамзина по-прежнему был необходим Пушкину как нравственная подпора и исторический прецедент. В послании «Друзьям» Пушкин был вынужден отстаивать собственную честность и искренность за нашумевшие «Стансы» («Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю»). Именно в связи со «Стансами» в полемику вокруг «Истории» ворвался еще один голос — П. А. Катенина. Как показал Ю. Н. Тынянов, написанное Катениным и опубликованное Пушкиным стихотворение «Старая быль»[203] являлось политическим памфлетом, ответом на пушкинские «Стансы»[204]. Не вдаваясь в хорошо известные подробности, связанные с созданием и, как выразился Тынянов, «задними мыслями» «Старой были», важно отметить, что написанное в своеобразном «елейном» стиле, с подчеркнуто многочисленными славословиями в адрес самодержавной власти, оно, несомненно, пародировало и «Историю» Карамзина, подобно тем не дошедшим до нас пародиям 1818 г., о которых вспоминал в 1826 г. Пушкин.

Предпосланное «Старой были» стихотворное посвящение Катенина Пушкину, не менее сложное по прочтению «задних мыслей», чем сама пародия, упоминало и Карамзина:

Вот старая, мой милый, быль,
А может быть, и небылица:
Сквозь мрак веков и хартий пыль
Как распознать? Дела и лица —
Все так темно, пестро, что сам,
Сам наш историограф почтенный,
Прославленный, преутомленный *
Едва ль не сбился там и сям[205].

Катенинский явно сатирический портрет Карамзина, включаясь в общий антимонархический контекст «Старой были», как бы оправдывал «достоверность» вымысла ее сюжета и одновременно еще раз подчеркивал пародийный характер самого стихотворения, указывая на один из его объектов — труд Карамзина. Письмо Катенина И. Н. Бахтину от 9 января 1828 г. проясняет одну из «задних мыслей» «Старой были» — сурово-ироническую оценку самодержавных идей труда историографа и не-

---

* *В другом чтении:* пренагражденный.

приятие всего творчества Карамзина: «История его подлая и педантичная, а все прочие его сочинения — жалкое детство, может быть, первого сказать нельзя, но второе должно сказать и доказать»[206].

Тем временем Погодин вновь подтвердил свою позицию: смотреть на труд Карамзина преимущественно как на объект серьезной критики, еще раз поддержав замечания Арцыбашева[207], а затем впервые опубликовав их продолжение. Вскоре редактор-издатель «Московского вестника» выступил с собственной критикой вывода историографа о причастности Бориса Годунова к убийству царевича Дмитрия, фактически повторив аргументацию соответствующей статьи Ф. В. Булгарина, а в другой заметке обратил внимание читателей на то, что в повествовании о Лжедмитрии I у Карамзина «очень много сомнительного, взято без критической оценки из летописей»[208]. Одновременно Погодин был вынужден отмежеваться от «неприличного тона» замечаний Арцыбашева. Вспыхнувший между ними спор по этому вопросу на страницах «Московского вестника» носил откровенно мелочный характер, вызвав раздражение даже у друзей Погодина[209].

Дальнейший ход полемики обострялся все больше по мере включения в нее новых журналов и авторов. Впервые после долгого молчания подал голос журнал «Сын Отечества и Северный архив», на страницах которого появилась заметка Н. Д. Иванчина-Писарева. Апеллируя к потомству и одновременно напоминая о том, как «пигмей» Тредиаковский критиковал когда-то Ломоносова, Иванчин-Писарев повторил, что Карамзин «Историей» воздвиг памятник отечеству[210]. Вслед за этим тот же журнал в анонимной заметке откликнулся непосредственно на критику Арцыбашева. Автор заметки не отрицает необходимости критического разбора «Истории». Но в критике Арцыбашева он видит лишь мелочные придирки, неуместные намеки, оскорбительные для памяти историографа насмешки и варварский слог, преследующие «всенародное осмеяние великого писателя после его смерти»[211].

Еще более резкая оценка замечаниям Арцыбашева была дана в книге С. В. Руссова, специально посвященной их критическому разбору. По мнению Руссова, «критика г. Арцыбашева происходит не из любви к истине, как быть надлежало, но от личного к историографу ожесточения»[212]. Но Руссов не ограничивается общими обвинениями, предпринимая собственные исторические разы-

скания для опровержения замечаний Арцыбашева и доказательства верности исторического рассказа Карамзина. Он берет под защиту название труда историографа, его «слог», «наполнение», подчеркивает, что повествование Карамзина всегда «основывается на разысканиях самых трудных и соображениях глубокомысленных». Руссов легко разбивает ряд действительно несправедливых упреков Арцыбашева в адрес Карамзина, например о том, что тот не использовал Лаврентьевскую летопись. Любопытен пассаж Руссова против Арцыбашева, упрекнувшего Карамзина в том, что тот якобы видел в варягах, пришедших с Рюриком, выходцев из Швеции. Руссов обращает внимание читателей «Истории» на то, что историограф, изложив различные точки зрения на этот вопрос, в рассказе о призвании варягов ограничился на самом деле указанием на то, что те пришли «из-за моря Бальтийского», т. е. проявил известную осторожность и в то же время изящно избавился от необходимости выводить их из Пруссии, Швеции или других мест. Это очень важное наблюдение над творческой лабораторией Карамзина, выявившее один из любопытных приемов его исторического рассказа.

Квалифицируя критику Арцыбашева как «ожесточение против одного из просвещеннейших, добродетельнейших и паче правдивейших россиян», Руссов не забывает распространить эту характеристику и на выступления Каченовского и Строева.

Любопытно мнение основного объекта «антикритики» Руссова – Арцыбашева. В письме к Погодину он называет ее «пустословной», отставшей от современных взглядов на историю и далее со свойственной ему резкостью в оценках продолжает: «Согласитесь, что у нас ахают сперва от всего; кричат: несравненно, бесподобно! Так кричали о Татищеве, Щербатове, Стриттере и даже об Эмине, а теперь не хотят уже сочинений их и в руки взять. Кажется, подобная же участь ожидает „Историю" Карамзина и всех нынешних историков-художников» [213].

Сходный с выступлением Руссова характер носила и «антикритика» на Арцыбашева и Строева, помещенная в «Московском телеграфе» О. М. Сомовым. Как и Руссов, Сомов отстаивает название труда историографа и, пытаясь дискредитировать научные заслуги Строева, полагает, что тот не имеет никакого права на критику «Истории», поскольку его труды состоят лишь в том, что он «обдувал и обметал пыль с старинных рукописей в

одной библиотеке и вписывал заглавия тетрадей в каталог»[214].

В обстановке все более обострявшихся выступлений появилась попытка обоснования некой нейтральной позиции, к которой причислил себя в работе, посвященной противникам и защитникам Карамзина, М. А. Дмитриев[215]. По его мнению, и те и другие в суждениях об «Истории» впадают в крайности, причина которых — недостаточный уровень развития просвещения в России. Дмитриев разбирает основные обвинения Карамзина как историка, среди которых выделяет пять наиболее важных.

Первое обвинение: надо было писать не историю, а критический свод летописей и других источников. На это Дмитриев отвечает, что дело автора выбирать жанр и форму своего труда. Второе обвинение: в «Истории» отсутствуют система и единство. По мнению Дмитриева, это оправдывается тем, что русский народ еще не достиг «высшей степени развития моральных сил». Только тогда, считает он, историк может взять «за основание настоящую точку бытия его и постепенно раскрывает в повествовании те средства, которыми он дошел до сей точки»[216]. Третье обвинение: в труде историографа недостает «политических соображений», т. е. всесторонней картины международных связей русского государства и характеристики «единства внутреннего политического хода России». Но, отвечает Дмитриев, в первом случае время, описанное Карамзиным, характеризуется случайностью внешних сношений с европейскими странами, а во втором политическое развитие государства «всегда зависело от воли государей». Четвертое обвинение: отсутствие в «Истории» «всеобщего философского взгляда». По мнению Дмитриева, этого нельзя требовать от Карамзина и от истории русского народа до Петра I, ибо вплоть до начала XVIII в. Россия находилась в изоляции, а следовательно, в русском историческом процессе не было явлений, характерных для истории других европейских стран. Пятое обвинение: неверность «в своде и изъяснении летописей». Его Дмитриев соглашается признать только в том случае, когда будет осуществлено сопоставление «Истории» с летописями. Пока же, считает он, сопоставление, проведенное Арцыбашевым, из-за грубости критика, его неприличных «наскоков» на историографа не дает основания верить в то, что оно беспристрастно.

В разряд «мелочной критики» Дмитриев относит за-

мечания Арцыбашева о названии «Истории», ее «слоге» и языке, подражании Карамзина в повествовании Юму. Дмитриев полагает, что все обвинения Арцыбашева не основываются на доказательствах, мелочные, исходят из неуважения к Карамзину, вообще показывают, что их автор не имеет глубокого ума.

Дмитриев выступает за разбор «Истории», хладнокровный и беспристрастный. «Пусть каждая строка „*Истории*“ Карамзина,— *пишет он*,— *каждое слово летописей и хронографов будут рассмотрены, но с духом терпимости... Требую для Карамзина **строгих критиков**, но **противников** его никогда не признаю достойными уважения»* [217].

Не вызывают похвал у Дмитриева и защитники Карамзина. Их мало, они робки и безгласны, утверждает он. Карамзину, продолжает автор, всегда больше вредили его подражатели, «нежели самые решительные критики и почитатели». И сейчас, считает он, своими способами защиты почитатели историографа вредят ему не меньше. Они, пишет Дмитриев, говорят о заслугах Карамзина тем, кто не признает этих заслуг, не пытается понять, чем Карамзин снискал уважение. Они отказываются сравнить «места критик» с источниками, не защищают историографа «логически» и «по части неисторической».

Некий московский «мечтатель» (возможно, сам Дмитриев) в стихотворении «К праху Н. М. Карамзина» еще дальше развивает точку зрения Дмитриева, не столько объявляя уже о своем нейтралитете в полемике, сколько призывая вообще к ее прекращению и примирению сторон:

Друзья! Начто смущать еще прах не остылый
Бессмертного творца?
Пускай парит любовь над мирною могилой:
Он ближних никогда не огорчал сердца [218].

Однако о примирении не могло быть и речи, особенно после того, как свежую струю в полемику внес своими выступлениями Н. А. Полевой.

В одном из них [219] редактор-издатель «Московского телеграфа» неожиданно взял под защиту критику Арцыбашева, одновременно отметив, что далеко не всегда замечания на нее Руссова являются обоснованными. Вслед за этим Полевой опубликовал пространную рецензию на весь труд Карамзина, одновременно представлявшую и развернутое изложение его (Полевого) взглядов на целый ряд вопросов исторического познания [220].

Рецензия начинается с высокой оценки «Истории»: «Решительно можно сказать, что не было прежде и, может быть, еще долго не будет в литературе нашей другого творения, столь великого, обращающего на себя такое сильное, всеобщее внимание отечественной публики»[221]. Вслед за Вяземским Полевой сравнивает Карамзина с величественным зодчим, выделяющимся своей «Историей» на фоне трудов его предшественников и современников, которых рецензент сравнивает с каменщиками. Благодарность к нему, утверждает Полевой, сохранится в памяти потомков. Значение труда Карамзина Полевой видит в том, что историограф, идя впереди соотечественников, являясь самым просвещенным человеком в России, угадал веление времени — потребность русского общества в истории своей родины, ранее писавшейся в основном невеждами, и удовлетворил «Историей» общественный интерес. Карамзин привел в порядок исторические источники, сумел великолепным языком изложить «благородно и смело» отечественное прошлое в том «направлении», т. е. в виде такой концепции, которую считал верной, исходя из своих искренних убеждений. Отмечая, что на любое место «Истории» можно написать опровержение со ссылками на источники, Полевой, тем не менее отдает должное «уму, вкусу, умению» историографа, поставивших его «выше всех современников».

Карамзин, подчеркивает Полевой, впитав плоды европейского просвещения, попытался одним из первых в России (и не без успеха) перенести их на русскую почву. Но на труд Карамзина рецензент смотрит как на произведение, отразившее представления XVIII столетия, обнаруживая тем самым элементы диалектического подхода к оценке историографических явлений. 12 томов «Истории», по его мнению, отразили литературные, философские, исторические взгляды «*прошедшего века, прежнего, не нашего поколения*»[222].

Какие же особенности труда Карамзина выделяет Полевой, видя в них устаревшие, не отвечающие требованиям времени представления? Прежде всего, он отмечает «ограниченный взгляд» историографа на «пользу» истории. Карамзин, пишет рецензент, основное внимание сосредоточил на красочном описании событий, людей, характеров. «Поставив силу и красоту повествования главным», историограф легко и непринужденно переносит представления XVIII в. о людях, понятиях, чувствах, идеях в древность, допуская модернизацию исторических

явлений. Лишь в «частной критике» конкретных событий он проявляет «благоразумие», знание подробностей, основанное на внимательном изучении источников. По мнению Полевого, автор «Истории» исказил прошлое не только своими модернизациями, красочными описаниями, но и в силу «худо» понятого патриотизма. Карамзин, замечает он, словно стыдится за своих предков, «ему надобен герой, любовь к отечеству, и он не знает, что *отечество, добродетель, геройство* для нас имеют не те значения, какие имели они» в прошлом [223].

В летописной манере описания Полевой увидел еще один существенный недостаток «Истории», свидетельствующий, по его мнению, об устаревших взглядах ее автора. Полевой упрекает Карамзина за простое хронологическое повествование, искусственное выведение, «как гриб после дождя», последующих событий из предшествующих.

Не верен взгляд Карамзина, с точки зрения Полевого, и на предмет исторического повествования. Уже в названии труда историографа скрывается ошибка. История государства только часть истории общества. Карамзин вместо показа поступательного процесса развития общества в целом русскую историю свел к совершенствованию государственного начала: основанию монархического правления, его борьбе с республиканскими традициями и с удельной и аристократической оппозицией, а также к преодолению отрицательных последствий на русский исторический процесс негативных личных качеств отдельных самодержцев.

Рецензия Полевого достойно завершала многолетнюю полемику вокруг труда Карамзина. Написанная с позиций взглядов западноевропейской буржуазной историографии, она показывала неизбежность развития представлений о прошлом. Как никто из современников, Полевой сумел в подцензурной печати объективно определить место «Истории» в отечественной историографии, ее положительные стороны и недостатки. Относя труд Карамзина к XVIII в., Полевой вовсе не принижал значения сделанного историографом. Наоборот, он подчеркивал, что с точки зрения понятий того времени, с учетом реального состояния дел в отечественной историографии первых десятилетий XIX в. работа Карамзина представляет собой выдающееся явление. Язык «Истории», содержащийся в ней свод фактического материала обеспечили труду Карамзина почетное место в отечественной исто-

риографии. Изложенная в нем система политических взглядов и нравственных убеждений автора, несомненно, приобретет в будущем «сравнительно-историческое значение» для постижения помыслов и чувств людей конца XVIII — первой трети XIX в. Пером Полевого был нарисован в определенной мере даже трагический образ писателя и мыслителя, чей ум и талант покоились, к сожалению, на устаревших ко времени выхода его главного сочинения идеях и представлениях. Карамзин, в понимании Полевого, стал жертвой быстро текущего времени, человеком, не успевшим переучиться и впитать новые идеи о мире.

Собственно говоря, рецензией Полевого можно было бы закончить рассмотрение хода пятого этапа полемики вокруг «Истории». Она оказалась на пересечении всех споров о достоинствах и недостатках труда Карамзина в этот момент, обнаруживая широту и беспристрастие оценок ее автора. Но именно потому, что рецензия редактора-издателя «Московского телеграфа» вызвала дружное осуждение как со стороны критиков, так и со стороны защитников «Истории», оставшись непонятой ими, есть смысл продолжить рассмотрение полемики чуть дальше.

Прежде всего, обширной рецензией на вышедший двенадцатый том «Истории» напомнил о себе Каченовский. Рецензия одновременно представляла и общую оценку всего творчества историографа. Карамзин, заявляет Каченовский, «самовластно» господствовавший над современниками, бессмертен. Все суждения о нем доказывают, что «мощный талант его собственною силою достиг недосягаемой высоты на горизонте литературы отечественной» [224]. По мнению Каченовского, Карамзин не имеет себе равных до сих пор как «бытописатель». Возвращаясь к своей прежней позиции, редактор «Вестника Европы» говорит, что она была продиктована интересами истины. Теперь же, когда настало время почтить память историографа, Каченовский обрушивается на авторов похвал и критик с обвинениями в том, что одни из них «на славном имени его еще покушаются основывать неблагонамеренные свои виды», а другие произносят «решительный суд о трудах его, не помышляя ни о предках, ни о потомках, не принимая в соображение состояния наук в отечестве нашем» [225].

Главное значение труда Карамзина теперь Каченовский видит в том, что он проложил путь для более совершенных исторических разысканий. Его «подвиг» не

должен служить предлогом для бездействия. Касаясь двенадцатого тома «Истории», рецензент пишет, что в нем, как вообще и в других томах, Карамзин следовал за «Историей» Щербатова в «системе» и в источниках. Но слог труда Карамзина — величайшее достижение русской словесности, двенадцатый том стал ее «лебединой песней». Впрочем, Каченовского восхищает не только слог. Он приводит из двенадцатого тома обширные выписки о недовольстве народа в первые дни правления Василия Шуйского, восстаниях в Путивле и других местах, подчеркивая, что в их описании Карамзин выступает «истинным прагматиком». «Не подновляя того или другого летописца, не передавая нам слов, едва ли не всегда вымышляемых ими, не увлекаясь примером их в явные противоречия, здесь Карамзин обнял взором и минувшее и настоящее, сообразил действия с причинами, все, так сказать, суровые материалы преобразил в новое мастерское произведение» [226].

Рецензия Каченовского не свидетельствовала о каком-либо принципиальном изменении его отношения к труду Карамзина. Об этом говорит хотя бы тот факт, что вслед за ней в «Вестнике Европы» была помещена новая статья Арцыбашева, разбиравшего повествование историографа о смерти князя В. А. Старицкого и квалифицировавшего это как очередную выдумку Карамзина [227]. Однако в рецензии редактора «Вестника Европы» появились новые мотивы. Во-первых, примечателен его гнев на тех «неблагонамеренных», которые используют имя Карамзина в каких-то собственных целях. Здесь мы вправе предположить, что среди них Каченовский имел в виду прежде всего А. С. Пушкина, как раз в это время пытавшегося получить разрешение на публикацию «Бориса Годунова», написанного, как известно, на основе соответствующего текста «Истории». Во-вторых, редактор «Вестника Европы» пустился в пространное рассуждение, сущность которого сводилась к доказательству (с рядом оговорок) соответствия названия сочинения Карамзина его содержанию. Тем самым Каченовский отводил один из важных упреков в адрес «Истории» со стороны своего литературного врага Н. А. Полевого, а заодно компрометировал и название собственного будущего труда редактора «Московского телеграфа», на который была уже объявлена подписка. Сделав основной упор на достоинствах «Истории» Карамзина, Каченовский, таким образом, скрыто полемизировал со своими литературными и науч-

ными неприятелями, а возможно, и доносил на Пушкина.

Рецензия Каченовского не вызвала сколько-нибудь существенных откликов. Ее как бы закрыла рецензия Полевого, вокруг которой сразу же сосредоточились споры. У Погодина, потенциального союзника Полевого, она вызвала откровенную досаду. В своем дневнике он записал: «Я первый сказал общее мнение о Карамзине. Полевой только что распространил главные мои положения, а его превозносят». В письме к С. П. Шевыреву он даже обвинил Полевого в том, что тот выбрал «потихоньку мысли, разрозненные в „Московском вестнике", прибавив к ним „своей нелепицы невероятной"» [228]. Первым на рецензию Полевого откликнулся житель Тулы, скрывшийся за инициалами «В. К.» (возможно, Василий Капнист). Повторяя аргументы прежних защитников Карамзина, он заявлял, что «История» снискала европейскую известность, что историографу было лучше видно, когда «надлежит ему посвятить время своей жизни на сочинение „Истории государства Российского"» [229].

Пространный разбор рецензии Полевого предпринял А. Ф. Воейков [230]. Он заявлял, что «не слепая приверженность к историографу, но святая истина и благородное негодование» заставили его взяться за перо. Свои усилия Воейков сосредоточил на выяснении существующих якобы в рецензии Полевого противоречий. Однако поскольку таковых не было, «антикритика» ограничилась обвинениями редактора «Московского телеграфа» в щеголянии учеными терминами, «излиянии расстроенного воображения». Воейков отстаивает взгляды Карамзина на методы исторического познания и приемы исторического повествования. Он считает, что Полевой, посягнувший ранее на славу Ломоносова, Державина, Жуковского, Крылова, И. И. Дмитриева, Козлова, теперь ополчился на Карамзина, ставя тому в вину «уважение к предкам, верность его повествования с летописями, красноречие, за кои он увенчан царями и народом» [231]. Воейков обвиняет Полевого в слепом следовании мнениям о России, высказывавшимся ранее иностранцами: «...могли бы сказать, что привыкли уже видеть кривые, невыгодные толки о России и обо всем хорошем русском в иностранных журналах, завидующих могуществу, славе, благоденствию нашего отечества, но чтобы россиянин называл своих предков разбойниками, утверждал, что российская история началась от нижегородского купца Минина?..» [232].

Отвечая на статью Воейкова, вышедшую отдельной брошюрой, Полевой назвал ее примером «понятий заплесневелых, разогреваемых литературным недоброхотством и бесстыдством беспримерным» и отказался от какого-либо серьезного ее разбора [233].

На рецензиях Полевого, Погодина и Арцыбашева специально остановился в своем обозрении русской литературы Сомов. Обозвав работы двух последних «балластом», наполненным придирками к отдельным неточностям «Истории», автор обозрения основное внимание уделил оценке выступления Полевого. В нем Сомов увидел односторонность взглядов на историю, многословие, не всегда ясное изложение мыслей. Главная же ошибка Полевого, по мнению Сомова, в том, что «он несовершенно постиг потребности своих единоземцев современных» и без достаточного уважения отнесся к труду историографа как достижению отечественной общественной мысли, в которой просвещение «еще цветок» [234].

«Московский телеграф» вновь вернулся к оценке «Истории», опубликовав вскоре рецензию А. Сен-При на книгу Ф. Сегюра «История России и Петра Великого» [235], где содержалась оценка «Истории», сходная с точкой зрения Полевого. В рецензии Сен-При, «без ненависти, бескорыстно» и «скорее с чувством любви, нежели с неприязнью» останавливаясь на труде Карамзина, замечал, что историограф создал памятник отечеству. По мнению рецензента, главное достоинство «Истории» в том, что Карамзин «облек исторические источники в современный литературный язык, утвердив русскую прозу». Карамзин точен в описании событий, но как историк не обладает глубиной философских мыслей. Нравственные размышления историографа хотя и справедливы, но больше подходят для духовного сочинения. В «Истории», по замечанию рецензента, отсутствует «соразмерность»: «неважное княжение какого-нибудь великого князя, покорного татарам, занимает у него столько же места, как царствование завоевателя или законодателя». Сен-При обвиняет Карамзина и в том, что тот писал «не довольно откровенно», соблюдая «известные приличия». Вместе с тем критик подчеркивал: «Есть, однако ж, истина, которой не мог избежать и Карамзин в своем сочинении: она выводится из событий, рассказанных без пояснений, из хартий, буквально приведенных им, из исторических документов. Ее найдут не в самом сочинении его, а в примечаниях, многочисленных и наставительных» [236]. Отсутствие «откро-

венности» автор видит прежде всего в первых томах «Истории»; в последних же, по его мнению, Карамзин «против своего обыкновения не разнеживается и находит сильные краски для ужасных изображений двух Иоаннов».

Таким образом, подводя итоги рассмотрения хода полемики вокруг «Истории» в первой трети XIX в., мы можем еще раз отметить живую, заинтересованную реакцию современников на выход очередных томов труда Карамзина, тесную связь их оценок «Истории» с теми глубинными процессами, которые протекали в общественной жизни страны в это время. Ход полемики убедительно свидетельствует о том, насколько неоднозначно было отношение первых читателей к представленному на их суд труду, насколько часто «История» и ее автор брались в союзники (или становились объектом критики) самыми различными общественными силами. Меньше всего в этом можно видеть непоследовательность современников Карамзина. В общем всем им, в том числе и наиболее горячим защитникам и непримиримым критикам «Истории», были очевидны достоинства и недостатки этого сочинения. Монархические идеи «Истории» вызвали гнев в декабристской среде, антидеспотическая направленность труда Карамзина подверглась осуждению реакционного крыла русского общества, научные основы «Истории» породили «ученую» критику Каченовского, Ходаковского, Арцыбашева, Погодина, Полевого и других исследователей, язык и «слог» встретили скептическое отношение в катенинском кружке, в лагере приверженцев идей консервативной Российской академии. В то же время в оценках П. А. Вяземского, А. С. Пушкина, А. И. Тургенева, В. А. Жуковского и других мы видим своеобразную «просветительскую» и нравственно-политическую интерпретацию дела Карамзина: «достоинства» «Истории» как художественно-публицистического и даже собственно исторического сочинения, ее роль в развитии национального самосознания и т. д. Все эти и другие оценки труда Карамзина имели свои основания и, несомненно, были по-своему справедливы, отразив те поиски политических, идеологических, историографических, литературных идеалов, которые вели в первой трети XIX в. различные общественные силы России. Именно поэтому полемика стала не просто спором об «Истории», а и столкновением разных, порой непримиримых общественных взглядов. Одно из направлений этих столкновений — спор по ряду исторических проблем мы и рассмотрим в следующей главе.

Глава 4. **В поисках истин**

Острота обсуждения труда Карамзина определялась расхождениями не только в подходах к его оценкам, но и в понимании участниками дискуссии ряда важнейших вопросов исторического познания, живо дискутировавшихся в литературе первой трети XIX в. Полемика вокруг «Истории» еще раз обнажила полярность их толкования представителями различных общественных течений.

Эти расхождения начинались уже с понимания «пользы» истории, т. е. общественной роли исторических знаний. Для чего необходимо знать прошлое, какую роль играет это знание в современной жизни? Ответы на эти вопросы являлись одними из основных в общественной мысли первой трети XIX в. В общей постановке вопроса о «пользе» истории ни Карамзин, ни его оппоненты и защитники не были первыми в отечественной и зарубежной историографии. Максима «история — учительница жизни» издавна отражала тот оптимизм, с которым обращались к прошлому в надежде использовать его для решения задач современности и как путеводную нить в понимании будущего. Однако в пределах этого, являвшегося уже банальным понимания значения исторических знаний мы обнаруживаем попытки сформулировать более конкретные, подчас непримиримые представления об их роли в жизни общества, обусловленные надеждами на те результаты, которые рассчитывали получить представители различных общественных течений от исторических разысканий.

В конце XVIII — начале XIX в. общественная мысль России обнаруживает все более широкий интерес к практической значимости исторических разысканий, т. е. использованию прошлого не просто как «урока», но как полезного, во многих случаях просто необходимого опыта решения практических задач современной действительности. Потребности государственного управления в таких сферах, как мореплавание, военное дело, дипломатия, горная промышленность, законодательная деятельность, вынуждали, в первую очередь правительственные

органы, обращать самое пристальное внимание на различные аспекты практики прошлого в этих сферах, начиная от организации хозяйственной деятельности, систем и методов управления, выявления утративших и не утративших силы законодательных и дипломатических актов и кончая установлением маршрутов землепроходцев и мореплавателей, изучением систем снабжения русских армий в прошлых военных кампаниях и т. д.

Этот подход к прошлому с точки зрения использования его опыта в практической деятельности был, например, ярко продемонстрирован в инструкции П. Д. Киселева И. Г. Бурцеву и П. И. Пестелю о составлении истории русско-турецких войн XVIII в. Но именно в силу того, что генерал-квартирмейстер К. Ф. Толь счел все же такой труд недостаточно практичным «как по тогдашнему театру войны, образованию и тактике наших войск, так и по недостаточным понятиям самих полководцев о воинском искусстве», проект Киселева остался нереализованным [1].

Для господствующего класса практическое значение прошлого выражалось и в необходимости защиты не только социальных, но и родовых привилегий. Именно в этом видел, например, практическую значимость своих разысканий «о службах и других обстоятельствах разных родов российского дворянства» Ф. Туманский [2].

В практических делах исторические знания стремились использовать и первые русские революционеры. Например, в конституционных проектах П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева широко использовалась древнерусская политическая терминология, будущее административно-территориальное деление они разрабатывали с учетом не только географических, экономических, но и исторических факторов.

Однако в условиях все более обострявшихся противоречий в общественной жизни России поиски в прошлом опыта решения практических задач неизбежно придавали им политическое звучание. «Опыт» истории приобретал характер «уроков» для современности — положительных или отрицательных, которые требовалось учитывать в сфере политики. Иначе говоря, постепенно оформлялось убеждение в политической важности исторических знаний. История, утверждал декабрист М. С. Лунин, «путеводит нас в высокой области политики». Другой декабрист — Н. И. Тургенев отмечал, что «науки политические должны всегда идти вместе с историей и в истории, так ска-

зать, искать и находить свою пищу и жизнь»[3]. Еще более отчетливо политическую роль исторических знаний подчеркивал Г. С. Батеньков. «История,— писал он,— не приложение к политике или пособие по логике и эстетике, а сама политика, сама логика и эстетика, ибо нет сомнения, что история премудра, последовательна и изящна»[4]. Характерно, что политическое значение прошлого для современности было подчеркнуто в целом ряде классификаций наук XVIII — начала XIX в. Так, в классификации Пестеля история, как наука, имеющая объектом правительство и народ, включалась в один раздел наук, объединенных понятием «Политика»[5], в классификации К. Ф. Калайдовича и П. М. Строева — в раздел наук «нравственно-политических»[6].

О том, какой смысл придавали политической роли истории официальные идеологи, свидетельствовал уже первый учебник по истории для народных училищ 1786 г. Адресуясь к «неимущим», он провозглашал: «История подает неимущим правила жизни и есть как бы приноровление философии». Еще более откровенно высказался в этом смысле в 1813 г. С. С. Уваров, отмечая, что историк «делается прямо орудием правительства и исполнителем его высоких намерений»[7]. В этих и других высказываниях нетрудно заметить, что политическую роль исторических знаний господствующий класс видел прежде всего в обосновании справедливости, исторической обусловленности и незыблемости существующего строя.

Если теперь обратиться к «Истории» Карамзина, то можно заметить, что ее автор не ушел дальше официальной точки зрения. Главное для историографа — это доказать «спасительность» для судеб России самодержавной власти, историческую «справедливость» помещичьего землевладения и крепостной неволи. Правда, Карамзин расширяет круг «адресатов» исторического труда. Наряду с «простыми гражданами» он обращается и к представителям господствующего класса. «Правители, законодатели,— пишет он,— действуют по указаниям истории и смотрят на ее листы как мореплаватели на чертежи морей. Мудрость человеческая имеет нужду в опытах, а жизнь кратковременна»[8]. Примечательно, что такой акцент в трактовке политической значимости истории не был чужд и идеологам демократического крыла русского общества. Так, например, автор статьи о Плутархе, опубликованной в журнале «Северный вестник», отмечал, что его сочинение особенно полезно «для градоправителей, минист-

ров, законодателей, полководцев и людей государственных»[9]. Почти аналогичную мысль можно встретить в анонимной статье, помещенной в «Беседующем гражданине». Рассуждая о «пользе» истории, автор также обращается к «военным, министрам, законодателям», которые должны найти в «дееписаниях своего отечества» «начало добрых и худых учреждений и некоторую цепь происшествий, сопряженных одно с другим, которая доходит до настоящего времени»[10]. Такая трактовка политической роли исторических знаний отражала утопические надежды на «просвещенного монарха», «монарха-мыслителя», окруженного добросовестными, честными и верными слугами. Опираясь, по существу, на идеологию просвещенного абсолютизма, она отразила присущие многим представителям русского общества первых лет царствования Александра I иллюзии о возможной поучительности уроков истории для самодержцев. Карамзин не был свободен от этих иллюзий. Он искренне верил в то, что примерами истории можно показать «правителям и законодателям», «как искони мятежные страсти волновали гражданское общество и какими способами благотворная власть ума обуздывала их бурное стремление, чтобы учредить порядок, согласить выгоды людей и даровать им возможное на земле счастье»[11].

Карамзинская трактовка политической «пользы» истории в части, связанной с надеждами на то, что ее «уроки» будут учтены теми, кто стоит у кормила власти, в ходе полемики встретила известную поддержку, например, у Греча, Вяземского, графа С. П. Румянцева и др. А. И. Тургенев наиболее ярко выразил свою солидарность в этом смысле с Карамзиным, когда писал, что «Историю» можно рассматривать как основу русской конституции. «Политическая нравственность и самая отечественная внутренняя политика», представленные в труде историографа, считал он, станут теми необходимыми уроками, которые будут использованы русским правительством «в пользу свою, царя и народа»[12].

Но еще до выхода «Истории» из декабристских кругов прозвучало иное понимание политической роли исторических знаний. Декабристы подчиняли их задачам развенчания тирании и деспотизма, пропаганды идей закономерности, неизбежности и законности уничтожения крепостничества и самодержавия. Н. И. Тургенев, говоря о пропаганде историей «либеральных идей», имел в виду необходимость показать постоянное стремление русского

народа к «гражданскому усовершенствованию», т. е. конституционные традиции в русской истории[13]. Правда, в 1819 г., постепенно переходя на позиции умеренного конституционализма, он во многом соглашается с Карамзиным, выражая надежду на то, что в истории «правители народов» могут находить «полезные наставления», «правила мудрого управления», что история способна предостеречь пылкие стремления к радикальным преобразованиям, «жертвовать собою и всем для блага общего», показать необходимость медленного и постепенного утверждения справедливых порядков[14].

Последовательно радикальное понимание политической роли исторических знаний мы видим в замечаниях, сделанных на труд Карамзина декабристом Н. М. Муравьевым. Его не удовлетворяют рассуждения историографа о том, сколь важно знать, какими способами в прошлом правители и законодатели устанавливали порядок, успокаивая «мятежные страсти», чтобы использовать эти способы в настоящем и будущем. Исторический процесс необратим, утверждает декабрист, бессильны потуги горстки людей выступать «противу естественного хода вещей». В маргиналиях к тексту стихотворения Карамзина «Освобождение Европы и слава Александра I» Муравьев выражает решительное несогласие с мыслью историографа о том, что события недавнего прошлого (прежде всего победа над Наполеоном) доказывают торжество справедливости без необходимости коренной ломки существующих несправедливых порядков[15]. Современность, продолжает он в замечаниях на «Историю», лишь часть прошлого, знание которого позволяет с наименьшими потерями, без ухищрений и силы идти по тому пути, «куда порывались уже предки наши»[16]. Отсюда поиски Муравьевым в древнейшей истории славян следов народовластия, величия духа и предприимчивости, и когда, как ему кажется, он находит их, то делает однозначный революционный вывод: «Такой народ, казался, долженствовал оставаться свободным и независимым»[17].

Просветительская идеология способствовала формированию популярной идеи о воспитательной роли исторических знаний. Истории отводилось важное место в воспитании гражданских «добродетелей» и человеческих качеств — высоких моральных и нравственных убеждений. Еще в 1779 г. важность воспитательной роли истории подробно обосновывал профессор Московского университета Х. А. Чеботарев[18]. В пропаганде устоев «благодетельной

нравственности» отдавал предпочтение историческим сочинениям перед литературными уже упоминавшийся неизвестный автор статьи о Плутархе, помещенной в журнале «Северный вестник» [19]. В «отвращении пороков» и в «проповедовании нравственности» видел главную пользу исторических знаний один из самых ярких предшественников Карамзина — историк и писатель И. П. Елагин [20]. Важно отметить, что и ряд существовавших классификаций наук относили историю либо к разряду наук «нравственно-политических», как в уже упоминавшейся выше классификации Калайдовича и Строева, либо к разряду наук о «явных душевных предметах», как, например, в классификации Ф. Д. Рейса [21], либо наряду с включением в раздел «Политики» одновременно относили историю и в раздел «Мораль», как в классификации Пестеля [22].

Карамзин, говоря о воспитательном значении истории, отмечал, что «она питает нравственное чувство и праведным судом своим располагает душу к справедливости, которая утверждает наше благо и согласие общества» [23]. Такая трактовка роли исторических знаний в воспитании гражданина вряд ли могла вызвать какие-либо возражения. Историограф не раз в своем труде осуждает ложь, корысть, подлость, низменные страсти, предательство. В национальной истории он ищет примеры величия человеческого духа, благородства характеров и поступков соотечественников. Но одновременно Карамзин видит в истории средство пропаганды «простому гражданину» идей терпимости, покорности, смирения перед злом, несправедливостью и насилием, личного осознания незыблемости основ существующего строя. История, пишет он, мирит человека «с несовершенством видимого порядка вещей, как с обыкновенным явлением во всех веках; утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали подобные, бывали еще ужаснейшие, и государство не разрушалось» [24]. Воспитание историей терпимости и смирения как основных гражданских «добродетелей» историограф прямо подчинил своей основной политической идее — спасительности для судеб России самодержавия. Наиболее откровенно это продемонстрировано в девятом томе «Истории», где русский народ безропотно, как стихийное бедствие, сносит жестокости царствования Ивана Грозного, не утрачивая веры в «хорошего» царя.

Важно отметить, что Карамзин, отграничивая самодержавие от деспотизма, признавал роль истории и в воспи-

тании «добродетелей» монарха. Развенчивая тиранию и деспотизм, отмечая отрицательные и положительные качества самодержцев, историограф исходил из убеждения, что у вершителей народных судеб на первом плане должны быть нравственные обязанности, а затем уже — соблюдение государственных законов. Приоритет моральных качеств монарха перед законами в условиях российской действительности начала XIX в. не мог обеспечить решения реальных проблем.

Иное предназначение видели в воспитательной роли истории декабристы и их идейные предшественники — демократы-просветители И. П. Пнин, В. В. Попугаев, И. М. Борн. Говоря о том, что история учит «обязанностям человека и гражданина», порождает желание подражать характерам и поступкам великих людей прошлого, они имели в виду прежде всего «научение», как выразился однажды декабрист П. Д. Черевин, народа таким гражданским качествам, как активное противодействие злу и несправедливости, осознание человеческого достоинства, свободолюбие, ненависть к угнетению. Этому пониманию воспитательного значения истории был верен, например, Н. И. Тургенев. В истории, писал он в 1819 г., прямо споря с Карамзиным, «люди, так сказать, узнают себя, в ней находят причину бытия своего, своих бедствий, своего благополучия, своего невежества, своей образованности, своего рабства и своей свободы!»[25]. Н. М. Муравьев в замечаниях на труд Карамзина наиболее ярко сформулировал декабристское понимание воспитательного значения истории. Возражая историографу, он заявлял, что история не должна мирить людей с общественным несовершенством и «погружать нас в нравственный сон квиетизма».

Читая в «Письмах русского путешественника» рассуждение будущего историографа: «Всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня для добрых граждан: и в самом несовершеннейшем надобно удивляться чудесной гармонии, благоустройству, порядку», декабрист гневно называет Карамзина «дураком», с которым нет смысла спорить[26]. Карамзинской трактовке роли прошлого в воспитании Муравьев противопоставил свое понимание. История, пишет он, пробуждает духовные силы народа; она должна способствовать формированию у людей не покорности злу и несправедливости, а революционного протеста — «брани вечной» за «совершенство, которое суждено на земле»[27].

В общественном сознании конца XVIII — начала XIX в. большая роль отводилась истории в формировании патриотизма. Реакционный лагерь, лидерами которого в это время стали высокопоставленные государственные деятели А. С. Шишков, М. Л. Магницкий, Д. П. Рунич, примерами из истории пытался доказать, что в основе патриотизма русского народа всегда лежало стремление к спасению прежде всего самодержавной власти, что истинных патриотов России в первую очередь давало дворянство, что, наконец, русский народ давно избран богом для спасения погибающего в неустройстве мира. С наибольшей последовательностью такое понимание роли истории в воспитании «патриотических чувств» было изложено в инструкции Магницкого о преподавании истории в Казанском университете. В ней рекомендовалось историческими примерами показывать, как «отечество наше в *истинном просвещении* упредило многие современные государства», и говорить «о славе, которой отечество наше обязано августейшему дому Романовых, так как и о добродетелях — патриотизме его родоначальников» [28].

Теории «народа-богоносца» Магницкого и «старого слога» Шишкова исходили из прославления «праотеческих добродетелей», отрицания положительного, накопленного в области науки, культуры другими народами, безудержных, порой нелепых и примитивных попыток показать превосходство древнего национального уклада жизни, пропаганды фактически изоляции русского народа от других народов — носителей несвойственных русскому народу учений, разрушающих «нравственность» и приносящих анархию. Именно против подобных «патриотов» выступил в 1818 г. декабрист М. Ф. Орлов, обвиняя их в использовании патриотического потенциала истории для обоснования социальной несправедливости: «Любители не древности, но старины, не добродетелей, но только обычаев отцов наших, хулители всех новых изобретений, враги света и стражи тьмы, они суть настоящие отрасли варварства средних веков» [29].

Для Карамзина знание прошлого — один из показателей «любви к отечеству», а историк — «орган патриотизма», воздействующий на чувства соотечественников описанием «великих характеров и случаев». История, отмечает он, воспитывает национальное достоинство, осознание народом гордости за то, что он «способствует успехам человечества в его славном течении к цели умственного и морального совершенства» [30]. Историограф в трактовке

патриотического назначения исторических знаний сумел подняться над национальным чванством, идеями самоизоляции и «избранности» русского народа. Вместе с тем, писал Карамзин, каждому народу ближе, понятнее и поучительнее своя национальная история.

В таком понимании воспитания историей патриотизма Карамзин на первый план выдвигал чувственный, эмоциональный момент. «Всемирная история,— подчеркивал он,— великими воспоминаниями украшает мир для ума, а российская украшает отечество, где живем и чувствуем» [31]. Историограф искренне восхищается подвигами народа, сострадает свалившимся на него бедам, гневно осуждает измены представителей господствующего класса. Но Карамзин не забывает, что история воспитывает «политическую любовь к отечеству». И здесь круг замыкался: любовь к отечеству, которую прививают исторические знания, означала прежде всего приверженность самодержавию и его конкретным представителям.

Деятели прогрессивного лагеря русского общества, так же как и Карамзин, придавали большое значение патриотическому звучанию исторических знаний, отмечая, что труд историографа в этом смысле имеет несомненные достоинства. Вслед за Карамзиным они подчеркивали богатство примеров патриотизма в отечественной истории.

Но, говоря о важности знания «славы предков», декабристы в первую очередь оттеняли два принципиально важных момента. Во-первых, как и поэт С. Бобров в 1806 г., [32] они обращали внимание на то, что отечественная история богата примерами патриотизма представителей не господствующего класса, а других «состояний российского народа», способных, как писал Ф. Н. Глинка, породить *«героев времен будущих»*. Во-вторых, патриотическое звучание примеров прошлого декабристы — критики «Истории» — связывали со своими свободолюбивыми, революционными идеями. Вместе с Карамзиным декабристы и их предшественники — демократы-просветители — гордились историей Родины, героическими свершениями народа. Но, мечтая, подобно В. К. Кюхельбекеру, в будущем видеть свой народ «первым по славе и могуществу своему», они с горечью, состраданием и непримиримостью констатировали, как В. Ф. Раевский, «печальные ризы сынов отчизны» в настоящем и прошлом [33], делая из этого революционные выводы. Такой критик «Истории», как М. Ф. Орлов, упрекая Карамзина в «беспристрастном космополитизме», фактически отка-

зывался признать его настоящим патриотом, поскольку тот, по мнению декабриста, не показал свободу славянского народа в древности и не объяснил истинной причины «величия» Древней Руси — «вольность» ее народа [34]. Н. М. Муравьев с негодованием констатировал, что пропаганда историей любви к отечеству не означает примирения с существованием в нем «притеснителей и заклепов» [35]. Борьба против «притеснителей и заклепов» означала для декабристов и пропаганду свободолюбивых традиций в политической и духовной жизни прошлого своего народа.

Одной из характерных особенностей общественной мысли конца XVIII — первой трети XIX в. являлись подчеркивание и своеобразная интерпретация познавательного значения обращения к прошлому. Интерес к истории обычно связывали либо с присущей человеку жаждой знаний, либо с «удовольствием», которое доставляет познание прошлого. Еще неизвестный автор одной из статей «Санкт-Петербургского журнала», издававшегося Пниным, отмечал, что «дух природного любопытства заставляет нас с нетерпеливою стремительностью обратиться на всеобщие происшествия, от которых душа наша погружается в удовольствие и в отвращение, в радость и отчаяние» [36]. Ту же мысль пропагандировал перевод А. Гевлича, прочитанный на одном из заседаний Вольного общества любителей российской словесности, где говорилось: «Удовлетворение естественному, врожденному любопытству человека — знать о вещах, его окружающих, тем более удовлетворение справедливого любопытства о себе самом, о происшествиях земного шара, нами обитаемого... может сделать уже для нас историю приятною и занимательною» [37]. Об этом же писали профессор Харьковского университета Г. И. Успенский, профессор Московского университета Х. А. Чеботарев, П. Наумов, Т. Воздвиженский и др.

Сходные мысли высказывал и Карамзин. Как и упоминавшиеся его современники, историограф склонен считать, что интерес к прошлому в равной мере присущ и просвещенному и «дикому» человеку и определяется свойственным ему любопытством. В знакомстве с событиями и людьми прошлого историограф видел возможность «занять ум» и питать «чувствительность» [38].

Признание познавательной роли истории фактически представляло собой один из элементов просветительской идеологии, рассматривавшей знания вообще и историче-

ские в частности как составляющую и необходимую часть человеческой культуры. Однако в полемике вокруг «Истории» такие ее критики, как Каченовский и особенно Арцыбашев, в своем стремлении исключить труд историографа из ряда серьезных научных сочинений, противопоставляя ему требование установления «истины», были вынуждены пойти на сознательную гиперболизацию познавательной роли истории. «Я учусь истории, чтобы знать ее»,— провозглашал, например, Арцыбашев [39].

Но именно против такой гиперболизации, против изучения прошлого ради изучения, без поиска в нем ответов на волнующие проблемы современности выступали многие представители прогрессивного лагеря. Подчеркивая политическое и воспитательное значение исторических знаний, Н. М. Муравьев заявлял, что история — это «не удовлетворение суетного любопытства» и «не забава праздности» [40]. С ним был согласен и Н. И. Тургенев, когда писал: «Но книга истории есть мертвая книга для тех, кои желают оною только что удовлетворять своему любопытству, кои стремятся познавать из оной одни только происшествия в отдельности, не соображая причин с действиями» [41]. Избрав историю мощным политическим и идеологическим оружием, декабристы предостерегали современников от бесцельного обращения к прошлому и фактически приближались к пониманию историографии (историописательства) как науки, раскрывающей механизм общественного развития.

Последний аспект, естественно, выводил спор о роли истории на методологический уровень. Если история не просто знание прошлого, а наука, способствующая объяснению мира и человека, то в чем заключается ее роль в этом объяснении и с помощью чего она способна это сделать?

Реакционный лагерь давал однозначный ответ, который красноречиво характеризует инструкция М. Л. Магницкого о преподавании истории в Казанском университете и ряд других вышедших из-под его пера документов. Историческим знаниям в них придавалось откровенно теологическое звучание, а история как наука объявлялась служанкой богословия. Эта трактовка решительно отрицала какую-либо самостоятельную роль исторических знаний в познании общественной жизни, превращая историю лишь в иллюстрацию нескольких богословных идей с откровенно православной окраской: всякое событие прошлого есть следствие провидения; русский народ — народ-

богоносец, а Россия — государство, к которому провидение питает особое «благоволение»; «примерное благочестие» русского народа всегда спасало его от бед и способствовало славе государства. Этих основополагающих теоретико-методологических установок не смогло избежать даже популярное «Руководство к познанию всеобщей политической истории» И. К. Кайданова, во втором издании которого (1821) появилась фраза о том, что история должна показывать «во всех происшествиях мира святую волю провидения», с тем чтобы «смиренно покоряться оной».

Элементы аналогичного подхода к прошлому, переплетающиеся с философией фатализма, можно обнаружить и у Карамзина. Лжедмитрий I, например, у него представлен как рука провидения, карающая Бориса Годунова за его причастность к убийству законного наследника Дмитрия. В упоминавшемся стихотворении «Освобождение Европы и слава Александра I» мы встречаем немало упоминаний о «народе-богоносце» и его «благочестии» и т. д. В «Истории» Карамзин пропагандировал идею, высказанную им еще в «Письмах русского путешественника», где, касаясь французской революции и утверждая, что «насильственные потрясения гибельны», он советовал читателям отдаться во власть провидения, которое «имеет свой план». Но основной акцент Карамзин все же делает на другом.

Еще в молодости он провозгласил историю служанкой философии, подразумевая под последней правила нравственности, свод жизненных принципов, которым должен следовать человек. Историографа занимает концепция человеческого счастья, в основу которой он кладет идею о гармонии мира. По Карамзину, жизненная мудрость человека заключается в том, чтобы научиться повелевать чувствами, трудиться, сносить свалившиеся несчастья и ощущать «во всяком состоянии» свое нравственное величие. «Ничего нельзя доказать против чувства: нельзя уверить голодного в пользу голода. Дайте нам чувство, а не теорию» [42],— писал он. Не веря в возможность объяснения мира, уповая на время и предопределенный провидением ход событий, историограф главное внимание обращает на человеческую личность, признавая ее бессилие перед историческим процессом. Счастье, утверждает он, повторяя популярную в европейской литературе идею, находится в сердце каждого человека; и история помогает найти путь к нему; она — одна из тех стезей, которые

ведут «к великолепному храму истинной мудрости и счастливых успехов» [43].

Прогрессивный лагерь придавал серьезное значение истории как науке, способной объяснить общественную жизнь. Например, такой идейный предшественник декабристов, как В. Попугаев, во взгляде на историю как науку предвосхитил идеи Полевого. Призывая к написанию исторического труда в «философском духе» с объяснением причин «всех примечания заслуживающих происшествий, и побуждений, заставляющих стремиться необыкновенных мужей к цели их действия», он подчеркивал, что с помощью истории можно понять жизнь общества, народа, уяснить, как «весь род человеческий шествует по одним законам к известной точке» [44]. За словами Попугаева, по существу, скрывалось признание истории как важного инструмента в постижении закономерностей и причин общественного развития. С презрением отвергал теологическую трактовку истории декабрист Орлов [45]. Ироничен в отношении к ней и Н. Муравьев. Встретив в «Письмах русского путешественника» рассуждение о провидении, имеющем свой план в истории, он, ловя историографа на слове, с удовлетворением констатирует: французская революция «была без сомнения в его плане», т. е. была избрана провидением для преобразования общества, а история «весьма естественно» показывает закономерность «восстания раба... против господина» [46]. О важности исторических знаний в возникновении «идей философических» писали такие критики труда Карамзина, как Лелевель, Погодин и др.

Манифестом нового, буржуазного подхода к значению истории в познании общества стали работы Полевого. История, заявлял он, это «практическая поверка философских понятий о мире и человеке, анализ философского синтеза»; в ней находится «поверка всех догадок и предположений ума, философия опыта» [47]. Если исключить туманное «анализ философского синтеза», вызвавшее немало ехидных замечаний у оппонентов, очевидно, что в трактовке Полевого, как и у Попугаева, исторические знания несут в себе самостоятельный методологический заряд и, не поднимаясь до науки наук — философии, являются ее первой и главной слугой в объяснении общества и человека.

Таким образом, полемика обнажила не только полярность трактовки общественной «пользы» исторических знаний ее участниками, но и различия в акцентах на тот

или иной аспект этой «пользы». Для Карамзина и декабристов на первый план выступало политическое звучание истории. Такие современники историографа, как Чеботарев, Борн, Попугаев, декабрист Черевин, подчеркивали значение исторических знаний при воспитании. Арцыбашев, отчасти Каченовский выделяли познавательную роль истории. Деятели реакционного лагеря, Попугаев, Полевой видели в истории преимущественно средство познания мира и человека. Полевой, например, споря с Карамзиным и Арцыбашевым о «пользе» исторических знаний, прямо заявлял, что их представления об этом «унижают достоинство» истории.

Вопрос о «пользе» истории оказывался тесно связанным с представлениями о механизмах исторического познания, полемика о которых вылилась в оживленное обсуждение «должности» историка и приемов исторического повествования.

Повествование в труде Карамзина построено на своеобразной интерпретации принципа историзма и пронизано апологетичностью, морализацией, модернизацией, занимательностью, которые он рассматривал как важнейшие принципы исторического рассказа.

Принцип историзма в «Истории» сводился к изложению фактов прошлого в простой хронологической последовательности. Элементы их интерпретации ограничивались отдельными отступлениями от хронологии, группировкой фактов всего лишь, как писал в предисловии сам историограф, «для удобнейшего впечатления в памяти»[48]. Такой подход, по существу, вводил в большинстве случаев искусственные связи между предшествующими и последующими событиями. В реализации принципа историзма на уровне повествования по хронологии и введения искусственных связей между событиями Карамзин достиг большого мастерства. Многим современникам, например А. И. Тургеневу, И. В. Киреевскому, он даже казался бесхитростным летописцем, рисующим верную картину «хода происшествий» (вопреки собственному признанию историографа, что он не летописец, а историк).

Принцип апологетичности исторического повествования Карамзина выразился в последовательном подборе и трактовке исторических фактов в духе идеологии просвещенного абсолютизма. Искусно находя и отбирая факты, интерпретация которых давала возможность для определенных политических заключений, он в представлении ряда современников превращался в проповедника полити-

ческих идей, важных для современности. Следуя принципу апологетичности и прежде всего идее самодержавия как главной прогрессивной силы русского исторического процесса, он представил прошлое страны на единой концептуальной основе, пронизывающей все события, большие и малые. Именно это явилось одним из достоинств труда Карамзина в глазах таких его современников, как А. И. Тургенев, П. А. Вяземский, Н. И. Греч, А. Геерен, И. Лелевель.

Если принцип апологетичности у Карамзина отвечал его пониманию политической роли исторических знаний, то принцип морализации соответствовал в целом его пониманию их воспитательного значения. В основе этого принципа — попытки историографа найти в прошлом события, характеры и поступки исторических лиц, интерпретация которых могла бы иметь нравоучительное для современности звучание. В этом проявилась одна из своеобразных черт карамзинского миропонимания. Видя в действиях людей прошлого проявление страстей, неизменных для человеческого характера, историограф стремится мотивировать их в положительном или отрицательном с точки зрения собственных нравственных убеждений смысле. Ю. М. Лотман точно подметил, что в «Истории» даже социальные противоречия были представлены «как проявление борьбы добродетельных и злонравных людей» [49]. Благодаря «апофегмам» Карамзин становился как бы нравственным судьей действий людей прошлого. Карамзинский принцип морализации встретил поддержку у таких современников историографа, как А. С. Пушкин, А. И. Тургенев, П. А. Вяземский, А. Геерен и др.

Принцип модернизации в «Истории» основывался на поисках Карамзиным в прошлом событий, характеров и поступков исторических лиц, имевших чисто внешнюю аналогию с современностью. Искусными штрихами, намеками историограф создавал ситуации прошлого, «похожие» на современные. Принцип модернизации способствовал формированию иллюзии повторяемости исторического процесса. Это была иммитация прошлого под современность, подчас выполнявшаяся Карамзиным изящно, как бы естественно и придававшая его труду особую убедительность в части «уроков», которые извлекались из прошлого.

Принцип занимательности в «Истории» воплощал идеалы Карамзина-художника. В прошлом историограф искал прежде всего происшествий величественных, характеров

героических, событий, которые можно было представить как пышные театральные представления с массой народа, ревом толпы, голосами героев и, наконец, со звучным безмолвием, событий, где люди походили на актеров, выступающих то с монологами, то в хоре. Для Карамзина уже не имели значения реальные последствия таких событий на дальнейший ход «происшествий». В силу своей «занимательности», красочно представленной в «Истории», эти события как бы затмевали массу других, подчас более важных, но менее ярких. Не говоря уже о действительной исторической значимости «занимательных» фактов, которую историограф, подчас увлеченный описанием, и не пытался определить, даже чисто внешне (по объему текста, отведенного на них) возникал перекос, искусственное выпячивание. В таких случаях в «Истории» писатель-художник преобладал над ученым-историком, художественное начало побеждало научное.

В среде литературных поклонников Карамзина, рассматривавших исторические знания преимущественно как исходный материал для художественного творчества, карамзинский принцип занимательности, естественно, встретил поддержку. Такую позицию, пожалуй, наиболее отчетливо сформулировал Н. М. Языков. «Что мне дело до ошибок против летописей,— писал он.— Я могу восхищаться его (Карамзина.— *В. К.*) слогом, его картинами — и для поэта довольно!» [50]

Какие же принципы исторического познания и повествования противопоставили Карамзину его критики?

Прежде всего Каченовский, Лелевель, Арцыбашев, Погодин, отчасти Булгарин выдвинули популярный для литературы этого времени лозунг «беспристрастия» историка. Среди участников полемики не было единства в толковании этого лозунга. Если Арцыбашев в пылу спора склонялся понимать его как принцип безоценочности событий, поступков и характеров исторических лиц, то Каченовский, выдвигая этот лозунг, имел в виду взгляд на прошлое, полностью свободный от авторских симпатий и антипатий. Это хорошо видно на примере его рассуждения о беспристрастии и патриотизме историка. «Любовь к отечеству, друг мой,— читаем мы в «Вестнике Европы»,— есть долг гражданина, долг священнейший и столько же приятный для души благородной; беспристрастие же есть первейший, важнейший, непременный долг бытописателя... Любовь к отечеству в историке есть дело, постороннее важной его должности, нимало не препятст-

вующее быть справедливым»[51]. Объективно применительно к критике «Истории» лозунг «беспристрастия» мог иметь положительное значение. Ведь обвинения в пристрастии были направлены в адрес труда, концептуальная основа которого пронизана самодержавной идеологией. В условиях цензурного гнета это можно было бы рассматривать как средство подцензурной критики политических идей Карамзина. Однако у нас нет оснований считать, что именно такой смысл был заложен в этот лозунг, например, Каченовским, Арцыбашевым или Булгариным. Наоборот, как реакция на антитиранические идеи «Истории» и «апофегмы», содержащиеся в ней, призывы к «беспристрастию» исторического рассказа были направлены на нейтрализацию нравственного потенциала труда Карамзина.

Каченовский подверг критике карамзинский принцип занимательности исторического повествования: «Историк не романист и не поэт эпический, он описывает истинные происшествия, представляет невымышленные характеры: он не волен увеличивать маловажные случаи и опять не может оставить их без внимания, ежели они входят в систему повествуемых событий»[52]. Каченовский отрицал и карамзинский принцип историзма, причинности, понимая под ним не простое выведение последующих событий из предшествующих, а реальную связь «происшествий», объяснение «деяний и характеров» в их истинном виде, показ «все необходимо нужного, все в связи, все на своем месте и в надлежащей перспективе, ибо история также имеет свою перспективу, как имеет ее живопись»[53].

В лице Арцыбашева Карамзин встретил противника принципу морализации исторического рассказа. «Желательно знать,— заявлял Арцыбашев,— почему историки берут себе право *порочить от своего лица*? Им должно, кажется, повествовать только, а не судить, ибо они, как люди, могут делать ошибки и в таком случае вынудят нас, читателей, томиться над пустыми умозаключениями безо всякой пользы. Мы желали бы только видеть в их сказаниях совершенную истину и по бытиям, также по суждению современников или почти современников бытий разбирать (без учителей) *пятна и чистоту* чьей-нибудь славы»[54]. Арцыбашев возводит свое требование в абсолют, он решительно не принимает и какие-либо элементы художественного рассказа о прошлом, критикуя тех, по его словам, «историков-художников», которые стараются «показывать события или, простите мне уподоб-

ление, сквозь граненый хрусталь, или сквозь закопченое стекло» [55]. С ним соглашался и Булгарин. История, писал он, не должна быть строже законов цивилизованного человеческого общества; судить поступки исторических лиц можно только ориентируясь на эти законы. Нравственные «апофегмы» являются принадлежностью не исторического труда, а проповедей; соответственно историк — это не судья и проповедник, а повествователь «истины» [56]. Важно отметить, что позиция Булгарина и особенно Арцыбашева и Каченовского в идеологическом звучании совпадала с тем, что требовали от исторического труда, например, Шишков и Магницкий. В подготовленном последним проекте цензурного устава (1826 г.) специальный пункт предписывал: «История не должна заключать в себе произвольных умствований, которые не принадлежат к повествованию и коих содержание противно правилам сего устава». В замечании к этому пункту неизвестный рецензент выразил обоснованное опасение, что если такой пункт будет введен в действие, то «Тацита, Тита Ливия и даже Карамзина Истории запрещены будут» [57].

Призывая к повествованию «истины», такие критики Карамзина, как Арцыбашев, Погодин, Булгарин, видели ее критерий в критическом анализе источников, превращая его в главный принцип исторического повествования. Как и у Карамзина, принцип историзма у этих исследователей не поднимался выше уровня изложения достоверных фактов прошлого в виде простой хронологической последовательности. Арцыбашев, возражая против введенных Карамзиным «фонариков» — названий параграфов, отразивших попытки историографа интерпретировать факты, отступая от хронологии, фактически возводил свое понимание принципа историзма в абсолют. В противоположность этому среди таких критиков «Истории» из декабристской среды, как М. Ф. Орлов, Н. М. Муравьев, Н. И. Тургенев, принцип историзма получает более глубокое толкование, поднимаясь до уровня интерпретации фактов прошлого с целью выявления тенденции исторического развития. В их выступлениях также звучат призывы к «беспристрастию» и «истинности» повествования. Однако критерии этого они видят не в самой науке, а в постоянно изменяющейся общественной практике прошлого и настоящего, в которой они видели постепенно набиравшие силу ростки определенных новых идей, в конечном итоге торжествовавших над старыми понятиями. В установлении тенденции развития этих идей в прошлом, с тем

чтобы «уроками умеренности и справедливости» направлять их движение дальше, видел, например, одну из задач истории декабрист Н. М. Муравьев. Он же, кстати, принципу занимательности Карамзина противопоставляет принцип «дельности», ибо, как он считал, «смотреть на историю единственно как на литературное произведение есть унижать оную. Мудрому историку мы простим недостаток искусства, красноречивого осудим, если он не знает основательно того, о чем повествует» [58].

Критику карамзинских принципов исторического познания разделял и Полевой. Вслед за Каченовским, Арцыбашевым, Булгариным, Погодиным, Лелевелем и другими он также требовал точного, основанного на тщательных критических разысканиях воспроизведения исторических фактов. Но карамзинским принципам, принципу безоценочности таких исследователей, как Каченовский или Арцыбашев, их трактовкам принципа историзма Полевой противопоставлял свое понимание историзма. Говоря о том, что историк — это не только добросовестный повествователь, но прежде всего философ, он главным принципом исторического повествования делает принцип теоретического мышления. Для него главное — философское осмысление прошлого с целью познания человека и общества. Соответственно и принцип историзма, по Полевому, заключается в еще более углубленном, чем у Карамзина, Арцыбашева, Каченовского, Тургенева, Муравьева, Орлова, понимании. Полевой ставит задачу такого обобщения исторических фактов, которое бы позволило в историях отдельных стран и народов выявить закономерности развития человечества.

Обсуждение в ходе полемики вопросов о «пользе» истории, принципах исторического повествования так или иначе заставляло ее участников затрагивать и вопрос о предмете исторического труда.

Уже названием своей работы Карамзин поставил перед современниками этот вопрос. Исключая оставшийся малозамеченным труд сотрудника Московского архива Коллегии иностранных дел И. Г. Стриттера, три тома которого вышли в 1800—1802 гг.[59], Карамзин впервые в отечественной историографии своим заголовком обещал читателям не историю «царства», как у Г. Ф. Миллера, не «российскую» историю, как у М. В. Ломоносова, В. Н. Татищева, М. М. Щербатова, а историю русского *государства*.

Это чисто внешнее отличие заглавия труда Карамзина

от предшествующих русских исторических сочинений было не случайным. Еще в XVIII в. представителями немецкой историографии, прежде всего Г. Ахенвалем и А.-Л. Шлецером, в борьбе с теологическим подходом к изучению прошлого, в отстаивании прогрессивного развития человечества история общества стала рассматриваться как история государства. Государство провозглашалось орудием прогресса, а сам прогресс оценивался с точки зрения степени развития государственного начала. Соответственно предметом истории становились «государственные достопримечательности» — определенные признаки государства, которые представлялись наиболее существенными в обеспечении человеческого счастья [60].

Очевидно влияние на Карамзина этой основополагающей идеи представителей немецкой историографии. Развитие «государственных достопримечательностей» является у него также мерилом прогресса русского общества, прогресса, который как бы сравнивался историографом с представлением об «идеальном» государстве, имеющем такие «достопримечательности», как независимость, «внутренняя прочность», развитые промышленность, торговлю, науки, искусства и, самое главное, прочную политическую организацию — определенную форму правления, обусловленную величиной территории государства, историческими традициями, нравами и др.

Представления о «государственных достопримечательностях», а также то значение, которое Карамзин придавал каждой из них в развитии самого государства, отражены как в самой структуре «Истории», так и в полноте их освещения. Наибольшее внимание историограф в соответствии с устойчивой традицией русской и зарубежной историографии XVIII в. уделяет истории политической организации русского государства — самодержавию, а также событиям политической истории вообще: войнам, дипломатическим отношениям, совершенствованию законодательства. Это и составляет главный предмет исторического повествования Карамзина. Историю же остальных «государственных достопримечательностей» он рассматривает в специальных главах, заключающих конец важнейшего, с его точки зрения, исторического отрезка, правления того или иного великого князя, царя. Подобные главы имелись уже у Щербатова, но ни по объему, ни по широте рассматриваемых в них вопросов они не могут сравниться с «Историей». В этих главах Карамзин предпринимает попытку некоего синтеза, обобщения, как бы

отступая от трактовки принципа историзма на уровне изложения фактов в хронологической последовательности. В таких главах в целом стабилен и круг рассматриваемых им «государственных достопримечательностей», выделенных специальными «фонариками»: «пределы» государства, «правление», «законы гражданские», «воинское искусство», «нравы», «успехи разума», «торговля», «ремесло» и т. д.

В процессе полемики обсуждение вопроса о предмете исторического труда в целом пошло по двум направлениям: правомерности вообще названия сочинения Карамзина историческим и степени соответствия этого названия его содержанию. Последнее вызвало немало критических замечаний. В попытках Карамзина сопоставить «состояния» русского государства в тот или иной период с «состояниями» Англии, Франции, Испании, Италии, дать краткие экскурсы в историю других стран и народов одни (прежде всего Арцыбашев) находили ненужные отступления от предмета повествования. Другие (в первую очередь Лелевель), наоборот, полагали, что историограф, сосредоточившись на изображении внутренней истории русского государства, не придал значения событиям, которые происходили в других странах и оказывали значительное влияние на русскую историю. Третьи (Булгарин), отмечая «излишества» повествования Карамзина, например в описании дипломатических переговоров, в то же время упрекали его в недостаточном внимании к представительному правлению (устройству Земской думы), истории сословий, экономическому развитию государства и др.

В целом эти замечания исходили не из какого-либо принципиально иного, чем карамзинское, понимания предмета исторического сочинения, а из разных оценок значимости включенных и не включенных историографом в свой труд исторических фактов. Правда, если Арцыбашев склонен считать предметом истории все достоверные факты прошлого, то Булгарин и Лелевель предпочитают говорить об их сравнительно-историческом значении для познания более широкого, чем у Карамзина, круга вопросов политической, духовной и даже социальной жизни прошлого. Более широкий, чем у Арцыбашева, взгляд на предмет истории мы видим и у Каченовского. «История,— пишет он,— не летопись и не поденная записка, куда вносится всякая всячина, чтобы не запамятовать о том, что сделано, что случилось или что замечено» [61].

Решительное возражение вызвало название труда Карамзина у Полевого, по мнению которого «История» — это не настоящее историческое сочинение, а всего лишь летопись, груда мастерски изложенных исторических фактов. Предметом исторического труда Полевой провозглашает широкий круг явлений прошлого, объединенных им понятием «духа народного» и «многочисленных переходов его»[62]. Это была новая, более широкая трактовка предмета истории, отразившая новые подходы к прошлому: история «народного духа» становилась не неким «довеском» политической истории государства, как у Карамзина, а частью истории человеческого общества, в развитие которого тот или иной народ как этническое и политическое целое вносит посильный вклад.

Новым пониманием предмета истории, скрытой полемикой с Карамзиным отмечена и работа Н. А. Бестужева «О свободе торговли и промышленности». Обвиняя дворянскую историографию во внимании только к «царям и героям», к политической истории, он отмечал, что «о народе, его нуждах, о его счастии или бедствиях мы ничего не ведали, и потому наружный блеск дворов мы принимали за истинное счастье государств»[63]. Любопытно, что и молодой Погодин, жадно знакомившийся с новыми историческими идеями, в 1825 г. уже осознавал философскую ограниченность старой историографии, когда записал в дневнике: «...история должна скоро переменить лицо свое. Чем дальше, тем меньше будет в ней собственных имен, и наконец они исчезнут»[64] — мысль, которую в своих позднейших статьях о Карамзине он осторожно выразил общим рассуждением об устаревшей философии истории Карамзина. После появления статей Полевого Погодин даже называл последнего «разбойником» за то, что тот опередил его с публичным изложением своих взглядов на предмет исторического сочинения[65].

Защитникам Карамзина в этой ситуации пришлось либо просто утверждать, что название труда историографа целиком соответствует его содержанию (как сделал Сомов, опровергая мнение Арцыбашева, или А. И. Тургенев, ссылаясь на мнение одного немецкого рецензента «Истории»), либо перенести спор о правомерности избранного Карамзиным предмета исторического повествования в плоскость оценки реальных возможностей русской историографии начала XIX в. Именно такое суждение высказал, например, И. В. Киреевский. Не отрицая взглядов Полевого, он указывал не без оснований на сложивший-

ся в отечественной историографии разрыв между уровнем теоретического мышления и существующим эмпирическим материалом. Невозможно, заявлял Киреевский, «обнять народную жизнь во всех ее подробностях, покуда частные отрасли ее развития не обработаны»[66]. По его мнению, именно ограничение Карамзиным предмета повествования привело историографа к успеху.

Серьезное внимание в процессе полемики ее участники уделили обсуждению вопросов, связанных с источниковой базой русской истории и методами работы с источниками. Здесь важно отметить, что у современников в целом сложилась высокая общая оценка корпуса источников, привлеченных историографом для создания «Истории». Действительно, примечания к основному тексту «Истории» более чем убедительно свидетельствовали об этом. Они содержали обширные выписки, пересказы документальных материалов, нередко воспроизводили полностью тексты источников, приводили сведения из них в виде сводов исторических фактов. Карамзин в той или иной степени использовал практически все отечественные публикации исторических источников о событиях русской истории до начала XVII в., привлек много иностранных изданий. Значительным оказался и корпус фактически впервые введенных им в широкий научной оборот источников. Среди них оказались Лаврентьевская, Троицкая (погибшая в 1812 г.) летописи, ряд памятников местного летописания, новые списки Правды Русской, Судебник 1497 г., древнерусские литературные произведения, в том числе сочинения Кирилла Туровского, Даниила Заточника, актовые, дипломатические материалы (прежде всего Московского архива Коллегии иностранных дел), отдельные нумизматические источники и др. Благодаря неограниченному доступу к официальным хранилищам России (Синодальной библиотеке, Московскому архиву Коллегии иностранных дел, монастырским архивам и библиотекам и др.), который получил Карамзин в числе немногих своих современников, благодаря его собственным разысканиям и помощи со стороны владельцев частных собраний (Н. П. Румянцева, Ф. А. Толстого, А. И. Мусина-Пушкина и др.) и таких исследователей, как К. Ф. Калайдович, П. М. Строев, «История» представляла собой серьезный шаг вперед в обогащении документальной базы об отечественном прошлом. Это ставилось в заслугу Карамзину даже такими его критиками, как Полевой, Каченовский, Булгарин, Погодин.

Однако уже в первых критических выступлениях в адрес «Истории» прозвучали и иные оценки. Если Н. М. Муравьев в своей критике Карамзина в целом еще исходил из иной трактовки только источников, помещенных Карамзиным в примечаниях, то Г. С. Батеньков, говоря, что в труде Карамзина «немного истории», имел в виду, что источники, которыми пользовался Карамзин, «неудовлетворительны, сомнительны», «не выносят ученой критики» [67]. Ходаковский ставил проблему еще шире, обращая внимание на малоизвестные в историографии материалы, в первую очередь на разбросанные по всей древнеславянской территории городища. «Сбережем случайные,— писал он,— но довольно нередкие открытия, какие делаются в земле,— эти разные небольшие статуэтки, изображения, металлические орудия, посуду, горшки с пеплом. Сосчитаем и точно измерим все большие могилы... Охраним от уничтожения надписи, начертанные на подземных скалах... Снимем планы с положения местностей, пользующихся давней известностью. Узнаем все названия, какие деревенский люд или его лекари в разных краях дают растениям, соберем, сколько возможно, песни и старые гербы. Опишем главнейшие обряды» [68]. В этих и других высказываниях польского ученого содержалась широкая программа сбора и сохранения комплекса разнообразных видов археологических, топонимических, фольклорных, лингвистических, этнографических источников, реализовав которую, он надеялся решить ряд проблем древнейшей славянской истории. Впрочем, обращение к этим источникам было не ново. Еще в XVIII в. к этому призывал, например, Г. Ф. Миллер [69]. Главная сложность заключалась в реализации программы, и Ходаковский в случае успешного завершения своего археологического обследования России мог бы, очевидно, как никто другой, много сделать в расширении источниковой базы по русской истории.

Но если Ходаковский главный упор в своей программе расширения корпуса исторических источников делал на привлечении памятников археологических, фольклорных, этнографических, то другие критики труда Карамзина подчеркивали, что перед исследователями стоят не менее серьезные задачи и в расширении круга письменных источников. Карамзин, отмечал «Московский уроженец А. М.», не «исчерпал источники польские, шведские и восточные» [70]. На необходимость расширения корпуса письменных отечественных источников указывали Бул-

гарин, Калайдович, Строев. Последний свою знаменитую речь в Обществе истории и древностей российских в 1823 г. заключил словами о том, что без систематического обследования всех отечественных хранилищ, без введения в научный оборот находящихся в них источников путем составления их печатных описаний «невозможно достигнуть и великой цели... *привести в ясность Российскую историю*»[71]. В разговоре с приятелем А. М. Кубаревым о труде Карамзина (1821 г.) возник у Погодина широкий план собирания и издания исторических источников и разработки вопросов специальных исторических дисциплин[72]. Примечательно, что и П. И. Голенищев-Кутузов намеревался для изобличения «лживости», «вымыслов и фантазий» историографа издать «верные летописи»[73].

Разумеется, что и проекты Ходаковского и Строева, и пожелания Муравьева, Лелевеля, других исследователей в контексте критики источниковой базы труда Карамзина следует рассматривать с точки зрения не только их безусловной в то время для отечественной исторической науки необходимости, но и возможностей реализации. Максимализм подобных суждений об «Истории» можно оценить положительно как программу для решения насущных задач, стоявших в то время перед русской историографией, но осуществление этих задач в России стало делом не одного поколения исследователей.

Для судеб отечественной исторической науки в это время не менее важным явилось то, что участники полемики от вопроса о недостатках источниковой базы «Истории» перешли к обсуждению ее «употребления» в труде Карамзина, т. е. достаточности доказательств повествования историографа, степени приближения его к «истине». Эта проблема неизбежно приобретала важное значение в связи с общей оценкой «Истории» как научного сочинения, на что, например, обращал внимание «Московский уроженец А. М.»: «Имея перед глазами материалы, коими пользовался историограф, можем и должны судить о настоящем оных употреблении»[74].

Карамзин, как известно, всю систему своих доказательств отнес в примечания. Говоря об их роли в своем труде, он подчеркивал, что они «тягостная жертва, приносимая *достоверности*, однако ж необходимая», служащая «иногда свидетельством, иногда объяснением или дополнением»[75]. Это была действительно «ученая» часть его труда, в которой он разбирал историографию того

или иного вопроса, ссылался на источники, анализировал их достоверность, вероятность исторического факта и т. д. Историограф здесь не затрагивал каких-либо теоретических вопросов источниковедения, ограничиваясь беглыми замечаниями о методах критики источников, методах, восход¬щих к хорошо разработанным в зарубежной и отечественной логике правилам критического чтения книг — специальной отрасли знаний, получившей название герменевтики. Однако исходный пункт своих источниковедческих позиций Карамзин сформулировал в предисловии: «Но история, говорят, наполнена ложью; скажем лучше, что в ней как в деле человеческом, бывает примес лжи; однако ж, характер истины всегда более или менее сохраняется; и сего довольно для нас, чтобы составить себе общее понятие о людях и деяниях» [76]. Воспоминания А. Д. Блудовой дополняют этот важнейший принцип подхода Карамзина к источникам»: «Карамзин говаривал отцу моему не раз, как надо быть осторожным в оценке лиц и событий прошлого времени, остерегаться собственного увлечения при изучении современных описаний и односторонних рассказов, а надо принимать во внимание совокупность показаний и глубоко укоренившийся общий взгляд на лица и события, когда этот взгляд *переходит в сознание народное*» [77].

«Довольство» историографа «характером истины», по существу, означало следование тем источникам, которые содержали факты, отвечавшие его исторической концепции. Л. Н. Лузянина, говоря, например, о связи «Истории» с летописью, справедливо отмечает, что эта связь «не внешнее копирование, иллюстрация, а сознательное усвоение и воспроизведение определенного типа мировоззрения с присущими ему противоречиями и особенностями» [78]. Проблема достоверности источника в целом после этого для Карамзина уже не имела никакого значения (разумеется, исключая факты явно легендарные, «сказочные», «баснословные», к оценке которых он подходил с позиций здравого смысла). Правда, в ряде случаев историограф отдавал предпочтение источникам, ближайшим по времени их создания к описываемым событиям, а из всего многообразия списков одного памятника, находившихся в его распоряжении, использовал по преимуществу списки древнейшие. Но в целом Карамзин легко обосновывал достоверность факта тем, что «включал» его в одну из «ячеек» своей исторической конструкции. Предпочитая тот или иной источник, а иногда ту или иную

версию источника, историограф исходил, как правило, из их соответствия своей историко-политической концепции и, по словам Лотмана, «психологической вероятности действий и побуждений» людей прошлого [79]. Лишь изредка Карамзин пытался определить историю создания того или иного источника или представить историю его текста, позднейшие напластования и их причины — вопросы, уже становившиеся предметом широкого обсуждения в отечественной историографии.

Мы уже говорили, что в выступлениях ряда критиков «Истории» «истинность» повествования Карамзина была связана с полнотой его источниковой базы, всех, какими бы противоречивыми они ни были, известий о том или ином факте прошлого. Это, например, отчетливо звучало в выступлениях Лелевеля, Булгарина, Каченовского.

Но критики Карамзина пошли еще дальше. Анализируя примечания, они обратили внимание на «текстологические лукавства» историографа — принципы воспроизведения им текстов источников, в соответствии с которыми он наряду с точным, «от слова до слова», приведением текстов нередко, стремясь приноровить их к своей концепции, прибегал к текстологическим умолчаниям (пропускам текстов), дополнениям, подчас ограничивался глухими отсылками на источники, свидетельства которых противоречили его изложению, либо сознательно вообще не упоминал о них. Обнаружив такие «текстологические лукавства», критики, например Арцыбашев, подчеркивали необходимость соблюдения принципа доказательности исторического повествования, согласно которому историк должен строго следовать показаниям источников и подтверждать исторический рассказ точными цитатами из них, всякий раз обосновывать использование конкретных данных источников.

А это влекло за собой вопрос о степени «доверия» (достоверности) каждого из использованных Карамзиным источников. Знакомясь с «Историей», Погодин, например, назвал «непростительным» потребительский подход ее автора к источникам: «Повествуя об одном происшествии, он говорит: смотри Никонову летопись, между тем как я не знаю, почему в сем случае можно принять свидетельство Никоновой летописи, а в другом — нет; притом я знаю, что Никоновский список есть самый обезображенный переписчиками» [80]. М. Ф. Орлов отметил, что Карамзин для обоснования норманнской теории опирается на легендарное известие русской летописи и на ряд

сомнительных иностранных источников; основывается «на вымыслах Иорнандеса (Иордана — историка готов.— *В. К.*), уничтоженных Пинкертоном (шотландский историк.— *В. К.*), на польских преданиях, на ложном повествовании о Литве, на сказках исландских и на пристрастных рассказах греческих писателей» [81]. В статье «Московского уроженца А. М.» была взята под сомнение достоверность такого источника Карамзина, как сочинение М. Стрыйковского: «На него можно ссылаться,— отмечал критик,— только в таком случае, когда надобно представить пример легкомыслия в предметах исторических» [82].

В процессе полемики критики Карамзина выдвинули несколько критериев определения степени «доверия» к источнику.

Первый критерий — это «качество» списка того или иного источника. Как и Карамзин, они предпочитали список древнейший — менее «испорченный», по их мнению, в процессе переписки и близкий по времени к описываемым событиям. Как и историографа, его оппонентов не интересовали дополнения в списках позднейших, в которых они преимущественно были склонны видеть лишь откровенные искажения, фальсификации, не пытаясь их объяснить и не допуская возможности восхождения поздних списков к спискам более древним.

Второй критерий — предпочтение документов официального происхождения всем остальным видам источников. Так, например, Лелевель заявлял, что в комплексе материалов «мы бы редко осмелились предпочесть летописи дипломатическим актам и грамотам» [83]. Фактически так же ставил вопрос Булгарин в критике карамзинской концепции царствования Бориса Годунова.

Третий критерий — полнота знаний автора источника об описываемых событиях, которая связывалась с тем, был ли он их очевидец, современник либо писал по слухам или спустя много лет. Необходимость учета этого критерия критики Карамзина, особенно Лелевель и Арцыбашев, подчеркивали в разборе достоверности «Летописи Нестора», отмечая легендарность многих его известий, не всегда учитывавшуюся, по их мнению, историографом.

Четвертый критерий — определение степени «беспристрастия» автора источника. Критиками Карамзина оно ставилось в зависимость от качеств человеческой натуры (пасквилянт, мошенник или добросовестный, честный че-

ловек и т. д.), национальной принадлежности (соотечественник или иностранец), обстоятельств жизни автора источника. Именно основываясь на последнем критерии, Арцыбашев, например, попытался обосновать недостоверность известий «Истории» Курбского. Курбский, по его мнению, из-за «собственного неудовольствия» вынужден был после побега повествовать «бытия и лица не в настоящем их виде, но согласно с теми чувствами, какие оно в нем производило»[84]. К тому же, замечает Арцыбашев, многие жестокости, описанные Курбским, были известны автору лишь по слухам «от неизвестных выходцев из России», также пристрастно относившихся к Ивану Грозному. Детально разобрав на основе этого критерия повествование Курбского, Арцыбашев заключал: «Следствием рассмотрения нашего должно быть то, чтобы большую часть нравоизображений и особенных событий, описанных князем Курбским, не принимать за совершенную истину и даже с осторожностью верить самой сущности оных, а всего менее подробностям»[85]. Точно так же обосновывает он свое недоверие к известиям А. Гваньини, И. Таубе, Е. Крузе, Д. Флетчера. Это были, пишет он, иностранцы, предатели и карьеристы, недоброжелательно настроенные к России, пытавшиеся по политическим соображениям превратно представить характеры и деятельность русских самодержцев.

В целом критики Карамзина в разработке приемов «употребления» источников в историческом исследовании не пошли дальше своих предшественников — Татищева, Ломоносова, Болтина и Щербатова. Их система критических приемов основывалась на теории герменевтики, в наиболее полном виде разработанной в России в начале XIX в. философом-материалистом Лубкиным в его хорошо известном философам, но мало знакомом историкам трактате по логике[86]. Зато сильной стороной критических выступлений явился анализ и показ субъективных приемов «употребления» источников непосредственно Карамзиным, существенно подрывавший достоверность его повествования. Критика «Истории» в этом направлении стала важным предупреждением против потребительского использования источников вообще, «подгона» их, пусть и тщательно продуманного во всех деталях, под концепцию.

Расхождения участников полемики в понимании рассмотренных выше вопросов не могли не отразиться на трактовке конкретных событий и явлений историче-

ского развития России. Мы остановимся лишь на некоторых из них, нашедших наибольшее отражение в сохранившихся материалах полемики и дающих возможность достаточно полно представить точки зрения ее участников.

Но, прежде чем говорить об этом, важно дать общую характеристику исторической концепции Карамзина, поскольку именно целостностью ее можно объяснить и подход историографа к отдельным событиям отечественной истории.

Являясь противником конституционного ограничения монархической власти в России, Карамзин в «Истории», как уже говорилось, последовательно проводил идею неограниченного самодержавного правления. Историограф далек от того, чтобы аргументировать свою позицию ссылками на божественное происхождение монархической власти. Он предлагает лишь *считать* самодержца «как бы земным богом», а все исходящее от него *как бы* божественной волей. Видя в неограниченной самодержавной власти, опирающейся на твердые, проверенные временем и строго соблюдаемые законы, важнейший фактор государственного порядка и благополучия, Карамзин в основу своего повествования положил идею неуклонного движения к ней всего русского исторического процесса. В его представлении этот процесс в России вылился в борьбу самодержавного начала с аристократическими поползновениями и удельными тенденциями, с одной стороны, и в ликвидацию самодержавием традиций древнего народного правления — с другой. Для Карамзина власть аристократии и власть народа — это не только две непримиримые, но и две враждебные «благоденствию» государства политические силы. Самодержавие же рисуется им не только как сила равноденствующая, но и созидательная, подчиняющая в интересах государства аристократию, олигархию и народ, уничтожающая удельные, разъединительные тенденции и предотвращающая анархию. «Принципиальной и непоправимой ошибкой Карамзина и было абсолютизирование... относительно прогрессивной роли самодержавия»,— справедливо отмечает Г. Макогоненко [87].

Опасность для государства власти аристократии, по Карамзину, проявилась уже после Ярослава Мудрого, когда возникновение уделов привело к раздробленности. Самодержавию потребовались века для того, чтобы ликвидировать удельную систему, укрепив тем самым госу-

дарство. Народное же правление историограф характеризует двумя важными недостатками, также, по его мнению, опасными для государственного благополучия. Вольность, свобода порождают анархию как следствие «страстей человеческих». Отсюда история вечевых республик в России — это постоянные раздоры, шумные никчемные споры, несправедливые решения и неоправданные действия. Кроме того, при народном правлении невозможно, считает Карамзин, обуздать засилье «сильных граждан или сановников», которое приводит к тирании, злоупотреблениям властью, неисполнению законов.

Этими основополагающими идеями пронизано все повествование Карамзина. Самодержавными государями, т. е. правителями с неограниченной властью, он считает уже Владимира I и Ярослава Мудрого. Но после смерти последнего усилились удельные тенденции, самодержавная власть ослабла. Последующая история России, по Карамзину,— это сначала борьба с уделами, успешно завершившаяся при Василии III, затем постоянное преодоление поползновений на самодержавие со стороны боярства. К единовластию приблизился Василий Темный, во время правления которого «число владетельных князей уменьшилось, а власть государя сделалась неограниченнее в отношении к народу». Творцом истинного самодержавия Карамзин считает Ивана III, заставившего «благоговеть пред собою вельмож и народ». При Василии III «князья, бояре» и народ оказались «равны» в отношении к самодержавной власти. Правда, при малолетнем Иване IV для самодержавной власти появилась угроза со стороны «возникающей олигархии» — боярского совета, возглавляемого Еленой Глинской, а затем после ее смерти со стороны «совершенной аристократии или державства бояр». Ослепленные честолюбием, стремлением к власти, они безрассудно предавали интересы государства, заботились «не о том, чтобы сделать верховную власть благотворною, но чтобы утвердить ее в руках собственных». Лишь после 1547 г. взрослый царь смог покончить с боярским правлением. Новая угроза самодержавной власти со стороны боярства, по Карамзину, возникла во время болезни Грозного в 1553 г., когда «дерзкие сановники» хотели возложить венец на Владимира Старицкого. К счастью, этого не произошло, Грозный выздоровел, но в его сердце осталась «рана опасная».

«Многоглавая гидра аристократии» вновь заявила о себе во время царствования Василия Шуйского. Из-за

козней бояр, «вельмож недостойных» самодержавие в лице сосланного в монастырь Шуйского потерпело поражение, приведшее к тяжелым последствиям для России.

В подчинении народа самодержавию Карамзин выделяет четыре основные вехи. Святослав, Олег и Владимир впервые обуздали буйную народную вольность. Однако в период раздробленности народ вновь «захотел быть сильным, стеснял пределы княжеской власти или противился ее действию». Но во время золотоордынского ига «легко и тихо» свершилось то, «чего не сделал ни Ярослав Великий, ни Андрей Боголюбский, ни Всеволод III: во Владимире и везде, кроме Новгорода и Пскова, умолк вечевой колокол, глас вышнего народного законодательства, столь часто мятежный, но любезный потомству славяно-россов». Наконец, с покорением Новгорода и Пскова во имя укрепления государственной безопасности и единства элементы народного правления окончательно уничтожили.

Вопрос о движущих силах русского исторического процесса был поставлен Карамзиным уже в первых главах «Истории», посвященных возникновению Древнерусского государства и вызвавших наибольшее количество откликов среди участников полемики. Если самодержавие не есть результат божественного промысла, то какова и где та точка, от которой начинается отсчет ее «законности», начало необходимости? Историограф находит ее в популярной в то время теории договорного происхождения всякой власти и, обращаясь к летописной легенде о призвании Рюрика, полностью принимает ее. Для Карамзина это не просто достоверный исторический факт.

Во-первых, возникновение государства в России тем самым связывалось с монархической формой правления, а «дорюриковый» период истории славянских племен провозглашался периодом государственного неустройства и «дикости». Во-вторых, речь шла о добровольном, а значит, и законном основании в России монархии. Это имело особенно важное значение для всей исторической конструкции Карамзина, свидетельствуя, по его мнению, о своеобразии начала исторического пути русской государственности, а значит предопределяя в какой-то мере ее будущее. Ведь впереди историографа ожидали сюжеты о избрании на российский престол Бориса Годунова и Василия Шуйского и, что еще более важно, избрании основателя царствующей династии Романовых. А раз так, то избрание самодержца в России при всей чрезвычайности и даже опасности для судеб государства —

это каждый раз торжество естественно присущей русскому государству формы правления, которая, несмотря на сложности своего исторического пути (пресечение династии Рюриковичей, незаконное похищение престола Лжедмитрием), не была дискредитирована или ослаблена бедствиями.

Проблема, затронутая Карамзиным в первых главах его труда, имела давнюю историографическую традицию. Уже в XVIII в. ее решение сосредоточилось на обсуждении трех вопросов: об уровне развития славянских племен до призвания варяжских князей и, следовательно, о роли внутренних причин в образовании древнерусской народности и государственности; об этнической принадлежности варяжских князей и роли «варяжского» элемента в развитии Древнерусского государства; о политической организации славянских племен «дорюрикова» периода их истории, характере правления первых Рюриковичей и, следовательно, роли монархического элемента в развитии Древней Руси.

В противоположность таким исследователям, как Г. З. Байер, Г. Ф. Миллер, А. Л. Шлецер, М. М. Щербатов, утверждавшим о «дикости», неустройстве славянских племен до призвания Рюрика, в трудах М. В. Ломоносова и И. Н. Болтина обосновывались идеи о несущественном отличии уровней развития славян и других древних народов Европы, подчеркивалось военное могущество первых, высокие духовные качества. В отличие от Байера, Миллера, Шлецера, связывавших Рюрика и его дружину с норманнами и тем самым подчеркивавших большую роль иностранного воздействия на общественный строй Древнерусского государства, Ломоносов видел в варягах славян и не придавал им большого значения в развитии Древней Руси.

Не меньше споров вызвал и вопрос о политическом строе славянских племен. В. Н. Татищев отмечал элементы аристократического правления до Рюрика, Щербатов — элементы демократического устройства. Щербатов, Татищев, Ломоносов считали, что с призванием Рюрика в Древней Руси утвердилось самодержавие, Миллер видел в варягах воинов, призванных для охраны границ; Болтин утверждал, что самодержавное правление Рюрика касалось лишь военных вопросов, в целом же его власть была ограничена.

Злободневное звучание эти вопросы сохранили и в период полемики. Карамзинская трактовка государственно-

го неустройства славянских племен до призвания Рюрика вызвала критику уже со стороны декабриста М. Ф. Орлова. Он указывал на набеги «варваров, кои уничтожили Римскую империю и преобразили вселенную», подразумевая под ними могучие славянские племена; отмечал, что если бы «основания нашего отечества, сокрытые во тьме времен, не были бы велики» еще до призвания Рюрика, то вряд ли тогда Древнерусское государство за короткий срок стало столь могучим, как пишет Карамзин [88]. В воинственном народе венетах, не раз оказывавших услуги Римской империи, склонен видеть «единоплеменников» Никита Муравьев. Правда, в последующей истории славян он в отличие от Орлова обнаруживает народ, «погруженный в невежество, не собранный еще в благоустроенные общества, без письмен, без правительств, но великий духом, предприимчивый» [89].

Взгляды Орлова и Муравьева были развиты и обоснованы такими критиками историографа, как И. Раковецкий, З. Ходаковский, Й. Лелевель. В их работах приводились многочисленные доказательства того, что славяне еще до призвания варягов находились на высоком уровне «гражданственности», имели развитые ремесла, земледелие, скотоводство, собственные законы, вообще развитую государственность [90]. Рюрик, заявлял, например, Ходаковский, «не на чистое поле приехал княжити».

Касаясь характера правления у древних славян, Н. С. Арцыбашев в пику Карамзину утверждал, что источники не уполномочивают сделать какое-либо заключение по этому вопросу [91]. Между тем историограф в своем труде говорил о «свободе дикой» славянских племен до Рюрика как естественном следствии их первобытного состояния; толчок дальнейшему развитию их по пути к прогрессу был дан лишь монархией Рюрика. Подобная точка зрения вызвала решительное возражение декабриста Орлова. Как может быть, спрашивал он, «чтобы Россия, существовавшая до Рюрика без всякой политической связи, вдруг обратилась в одно целое государство и, удержавшись на равной степени величия от самого своего начала до наших времен, восторжествовала над междоусобиями князей и даже над самыми гонениями рока» [92]. Следы демократического правления у древних славян пытался найти Н. М. Муравьев. Оно было всесторонне обосновано в критике «Истории» Лелевелем. Славяне, утверждал он, задолго до призвания Рюрика

имели свою «политическую образованность» — общинный строй. Польский историк, в частности, обратил внимание на известия о совете воевод, который правил одним из славянских племен, отметив, что историограф знал об этом, но оставил без внимания.

С этим же связаны попытки критиков Карамзина опровергнуть его тезис о «блеске» правления первых Рюриковичей. На неправомерность такой оценки обратил внимание уже Н. М. Муравьев. Многочисленные данные, опровергающие Карамзина, привел затем Лелевель. Во-первых, самого Рюрика нельзя назвать самодержцем, отмечал он, напоминая в этой связи точку зрения Болтина и присоединяясь к ней. Кроме того, во время правления Рюрика в Древнерусском государстве существовали уделы [93].

Аргументация Лелевеля была развита другими критиками «Истории». Н. А. Полевой ссылался на то, что в Древнерусском государстве уделы существовали еще в правление княгини Ольги и вплоть до времени правления Ивана III [94]. М. Гусятников на основании анализа летописных и актовых источников попытался показать, что титул великого князя вошел в употребление только при Михаиле Ярославиче Тверском, в то время как Карамзин до такого ранга поднимал всех киевских князей, начиная с Ярополка Святославича [95]. На явную несуразность рассказа Карамзина о призвании варяжских князей обратил внимание М. П. Погодин. По его мнению, историограф прибегает к догадкам и натяжкам: в течение трех лет, если следовать его рассказу, «варяги покоряют славян; варяги правят ими благодетельно; бояре, ограниченные в правах своих, обольщают народ свободою; народ восстает и прогоняет иноземцев; бояре правят неразумно; народ страдает и вспоминает об иноплеменных правителях и призывает их» [96]

Много внимания вопросу об уровне развития Древнерусского государства было уделено в критической статье об «Истории», написанной Д. Зубаревым. Вслед за Орловым, Муравьевым, Лелевелем и Ходаковским он говорит о том, что славянские племена перед призванием Рюрика находились на высокой ступени развития. Вместе с тем в пику Карамзину он идет на явные преувеличения. Зубарев не склонен считать Русь первых Рюриковичей «возвеличенной», как писал Карамзин: в это время, пишет Зубарев, государство не имело «ни внутренней, ни внешней безопасности»; вплоть до Ярослава Мудрого

в нем отсутствовали законы, а появившаяся при этом князе Правда Русская показывает низкий уровень состояния тогдашнего общества. Политика первых Рюриковичей, по мнению критика,— это политика варваров. Поэтому Русь этого времени нельзя сравнивать, как сделал Карамзин, с Францией, Англией и Испанией, так же как и «унижать сравнением неустройств ее с беспорядками», существовавшими тогда в этих государствах [97]. Зубарев признает, что от Рюрика до Владимира I русские князья княжили с правами монархов, но само государство не считает «единовластным», указывая на наличие уделов даже при Ярославе (в Полоцке).

В ходе полемики вызвал возражение и тезис Карамзина о своеобразии начала русской государственности — добровольном призвании Рюрика на престол. По политическим мотивам декабристы, например А. А. Бестужев, указывали на насильственный захват власти варяжским князем. Тем самым основание монархии в России должно было выглядеть неестественным, инородным фактом. Н. А. Полевой говорил об этом же, исходя из теории завоеваний Гизо-Тьерри. В противоположность этим точкам зрения Лелевель отрицал сам тезис историографа о своеобразии основания монархии в России, отмечая, что факт «призвания» — явление, встречающееся в истории многих народов [98].

В соответствии с традицией, идущей еще от XVIII в., много внимания в полемике было уделено вопросу об этнической принадлежности Рюрика и его дружины, вопросу сравнительно второстепенному, но приобретшему политическое звучание в связи с оценкой роли варяжского и вообще иностранного элемента в истории Древней Руси и России. Карамзин, приведя в «Истории» разнообразные точки зрения по этой проблеме, ограничился замечанием о том, что варяги пришли «из-за моря Бальтийского». По мнению такого защитника труда историографа, как С. В. Руссов, считавшего варягов одним из славянских племен, живших в Пруссии и находившихся на более высоком, чем новгородские славяне, уровне развития [99], Карамзин проявил тем самым известную осторожность (которая, впрочем, не означала его отказа от теории норманизма).

Против Карамзина выступил уже Т. С. Мальгин, видевший в варягах одно из славянских племен [100]. Вскоре к нему присоединился и Орлов. Если бы Рюрик, утверждал он, «был иноплеменный призванец и варяги его не

были россиянами, то как можно вообразить, что едва он воцарился над чуждым народом, как уже утвержден был в цари?»[101]. Дальнейшие попытки выяснения этнической принадлежности дружины Рюрика вылились в серию многочисленных работ, написанных с позиций теории как норманизма, так и антинорманизма. Наиболее заметной из них стала книга И. Е. Неймана, изданная на средства Румянцевского кружка, где содержались новые обоснования выдвинутой профессором Дерптского университета Г. Эверсом еще до выхода «Истории» гипотезы о черноморском происхождении «варяго-руссов» — хазар[102]. Активно пропагандировал в это время гипотезу Эверса М. Т. Каченовский. В 1823 г. он опубликовал свой перевод сочинения Фатера «О происхождении русского языка и о бывших с ним переменах», где призванные «руссы» отождествлялись с причерноморскими готами, слившимися с поселенцами-норманнами. Известное значение имела и попытка кропотливых изысканий Погодина в его диссертации «О происхождении Руси» и в серии статей, опубликованных в «Вестнике Европы», где он, споря по частным вопросам с Карамзиным, Эверсом и другими предшественниками, отрицая шведское, прусское, финское, хазарское, готское, фрисландское происхождение «варяго-руссов», оставался в целом на позициях норманнизма, полагая, что пришельцы представляли норманнское племя, жившее в Швеции.

Главным результатом обсуждения в процессе полемики проблемы образования Древнерусского государства явился убедительный показ критиками Карамзина искусственности его исторической конструкции. И логические рассуждения Орлова, и кропотливые разыскания Муравьева, и скрупулезное сопоставление повествования Карамзина с текстом летописи Арцыбашева, Погодина, и данные новых видов источников, собранные Ходаковским, и, наконец, попытки сравнительно-исторического подхода к решению проблемы Зубарева, Полевого, Лелевеля, Эверса — все это наносило сильный удар концепции историографа.

Разумеется, в научном отношении аргументы критиков находились на уровне своего времени. Тот же Зубарев в пылу спора с Карамзиным был склонен признавать недостоверным договоры Руси с греками, принижать уровень развития Древнерусского государства.

В оценках состояния славянских племен до призвания варягов, их политической организации, незначительной

роли иностранного влияния в последующем развитии Древнерусского государства такие критики «Истории», как Орлов, Муравьев, Лелевель, продолжали ломоносовские традиции. В условиях российской действительности 10–20-х годов XIX столетия выступление по этой проблеме против Карамзина неизбежно перерастало границы «чистой науки», приобретая политическое звучание. Дискредитация концепции историографа означала признание причин расцвета Древней Руси не в установлении монархии, не в иностранном воздействии, а в естественном поступательном развитии славян в «дорюриковом» периоде, в том числе в их демократической общественной организации. Спор вокруг вопроса о призвании варягов стал спором о демократии и монархии как формах государственного устройства и их роли в исторических судьбах России.

Этот спор продолжился и в ходе обсуждения роли самодержавия в дальнейшем развитии страны, и прежде всего в оценках московского самодержавия XV – начала XVII столетия. Русская история этого времени, по Карамзину,— это период подлинного национального возрождения, заторможенного последствиями неверной, эгоистичной политики Мономаховичей; это время освобождения от ордынского ига, укрепления международных связей и авторитета русского государства, мудрого законодательства Ивана III и Ивана Грозного; это время постепенного обеспечения «личной безопасности и неотъемлемости собственности» народа, уничтожения удельных тенденций и т. д. Путь к этому возрождению историограф рисует в целом как непрерывный поступательный процесс, связанный прежде всего с развитием самодержавной власти в сторону «истинного единодержавия», он лишь осложнялся целым спектром негативных личных качеств его представителей: безнравственностью Ивана Калиты, Василия Темного, Василия III, Василия Шуйского, слабоволием Федора Ивановича, жестокостью Ивана III, Елены Глинской, Ивана Грозного, несправедливостью Дмитрия Шемяки, непоследовательностью и властолюбием Бориса Годунова, излишним демократизмом Лжедмитрия I и т. д.

В условиях российской действительности первых десятилетий XIX в. оценка исторической роли московского самодержавия XV–XVII вв. имела еще более злободневное звучание. Речь шла не о давних, в значительной степени для многих легендарных фактах древней истории

Отечества, а о событиях, так или иначе связанных с царствующей династией Романовых, событиях, трактовка которых Карамзиным подчас существенно отличалась от предшествующей историографии. Видимо, поэтому подцензурное обсуждение роли московского самодержавия не приобрело столь широкого характера по сравнению с обсуждением вопроса об образовании Древнерусского государства.

И все же в ходе полемики, особенно в ее нелегальной части, исторические судьбы и роль московского самодержавия оказались в центре внимания. Предметом обсуждения стал в первую очередь период феодальной раздробленности и ордынского ига. Карамзин, как известно, в объяснении причин раздробленности лишь повторил широко распространенную точку зрения, которая сводила их к «ложной» политике Владимира и Ярослава, создавших удельные княжества и тем самым породивших соперничество между ними. В ходе полемики этот взгляд не вызвал каких-либо возражений. Его разделяли, например, декабристы П. Г. Каховский и Н. А. Бестужев, П. Наумов [103]. Даже Н. А. Полевой, который позже в «Истории русского народа» заявил о феодальной раздробленности как о естественном и необходимом этапе русского исторического процесса, в статье 1825 г. стоял на традиционных позициях. Соответственно и весь период феодальной раздробленности Карамзиным и другими исследователями рисовался мрачными красками, в лучшем случае как состояние застоя, постоянных междоусобий, создавших условия для иноземного ига.

В оценках последствий ордынского владычества для страны, постепенно собиравшей под знаменем Москвы свои силы, историограф остался верен своей главной идее. Иноземное господство, по его мнению, имело «вредные следствия для нравственности россиян, но благоприятствовало власти государей и выгодам духовенства». К числу вредных последствий иноземного ига Карамзин относит появление в национальном характере таких черт, как корыстолюбие, «низкие хитрости рабства», жестокость и др. Историограф сожалеет об этом, он замечает даже, что, «может быть, самый нынешний характер россиян еще являет пятна, возложенные на него варварством моголов». Следствием ига историограф считает и изоляцию страны от Европы. Но вместе с тем он констатирует, что изменился и «внутренний государственный

порядок». В усилении самодержавной власти он видит главное положительное последствие ордынского ига.

Эти выводы Карамзина нисколько не противоречили друг другу, в чем пытался его уличить Зубарев[104], которого, в свою очередь, немедленно поправил Полевой[105]. Историограф последовательно проводил мысль о движении политической организации русского государства в сторону «истинного» самодержавия. С этих позиций, по его мнению, ордынское иго, хотя и оказалось безусловным злом для формирования национального характера, объективно имело положительные политические последствия, укрепив русскую государственность.

Эти посылки, встретив известную поддержку (например, в книге П. Наумова), вызвали серьезные возражения ряда участников полемики. В работах А. Ф. Рихтера[106], Д. Зубарева был существенно расширен круг последствий ордынского ига. Рихтер, например, пытался даже подвести под это своеобразную теоретическую базу, когда в начале своего исследования заявлял: «Ни в одном из государств, испытавших те большие перевороты, которые бывают следствием несчастной войны с неприятелем сильным и многочисленным, народ не остается таким, каковым был он до сей эпохи: вместе с политическим его состоянием изменяется дух его, нравы, обычаи».

Но, признавая вслед за Карамзиным такие политические последствия ордынского ига, как почти полное уничтожение элементов народовластия и укрепление самодержавия, ряд участников полемики давал им иную оценку. Так, тот же Рихтер с явным сожалением констатировал исчезновение всего, «что имело прежде вид свободы и прав гражданских», «унижение» народа деспотизмом. О подавлении народной любви к свободе и укреплении деспотизма в период иноземного господства писал Зубарев.

Однозначно относились к оценкам последствий ордынского владычества идеологи декабристского движения. По мнению Н. И. Тургенева, следствием ига явилось уничтожение всего прекрасного в народных нравах, законодательстве, государственном устройстве[107]. Никита Муравьев в 1822 г. в «Любопытном разговоре» с иноземным игом связывал возникновение деспотии: народ, «сносивший терпеливо иго Батыя и Сартака,— утверждал он,— сносил таким же образом и власть князей московских, подражавших во всем сим тиранам»[108]. Уничтожение в

период иноземного господства всех оснований «гордости духа народного» констатировал А. О. Корнилович[109]. Споря с Наумовым, Корнилович вслед за Карамзиным признавал, что ордынское иго способствовало укреплению московского самодержавия. Однако иго, которое для Карамзина являлось с этой точки зрения несомненным благом, в представлении Корниловича выступало как явное зло, нарушившее процесс естественного национального развития в предшествующую эпоху. Московское самодержавие поэтому для Корниловича представлялось неестественным образованием, всего лишь следствием иноземного владычества. И. З. Серман справедливо отмечает близость в этом вопросе позиций Корниловича и Николая Тургенева, который в разобранном выше «Письме к издателю» одним из следствий ига называл крепостничество. Как и Тургенев, Корнилович отмечал: «Я же думаю, что почти все политическое и гражданское состояние России в XVI и даже в XVII веках носит на себе некоторый отпечаток монгольского владычества». С последствиями иноземного порабощения Корнилович связывал и дальнейшее своеобразие исторического пути России: отсутствие условий для образования «среднего сословия» — буржуазии как противовеса монархической власти, силы, способной «заставить самодержавие поступиться частью своих прав в пользу нации»[110]. Яркой формулой похожую точку зрения выразил Н. А. Бестужев: русский народ, отмечал он, поменял «татарский плен на иго деспотизма».

Своеобразную оценку последствий иноземного ига давало «правое крыло». М. Л. Магницкий в сочинении «Судьбы России», изданном в 1833 г., провозгласил иго «величайшим благодеянием». Правда, на этом кончалось сходство его точки зрения с точкой зрения Карамзина. По мнению Магницкого, иноземное господство, изолировав страну от Европы, привело к укреплению православия, которое обеспечило духовное превосходство русского народа, а в дальнейшем (при Петре I) способствовало укреплению государственного начала[111].

Вместе с тем многие критики «Истории» соглашались с Карамзиным в оценке роли самодержавия в достижении независимости русского государства. Так, например, Николай Тургенев отмечал: «Я вижу в царствовании Ивана III счастливую эпоху для независимости и внешнего величия России, благодетельную даже для России по причине уничтожения уделов»[112]. Гораздо большими оказались расхождения участников полемики в трактов-

ке характера московского самодержавия и оценках правления, деятельности его конкретных представителей.

Если для Николая Тургенева, Николая Бестужева, Корниловича весь период после ордынского владычества — это время постепенно укрепляющегося деспотизма, а не приближения к «истинному единодержавию», как у Карамзина, то Никита Муравьев, видя в усилении московского самодержавия безусловное зло, пытается обширным сводом известий о земских соборах доказать, что «московские государи признавали право народа участвовать в законодательстве».

Если в представлении Карамзина Иван III олицетворял многие качества настоящего самодержца, «поддержанные» Василием III, не утраченные до «эпохи казней» Иваном Грозным, те качества, которым старались следовать Борис Годунов, Василий Шуйский и даже Лжедмитрий I, то критики историографа в своих оценках, подчас соглашаясь с ним, тем не менее делали иные акценты. Н. М. Муравьев отмечал «холодную жестокость» Ивана III, «лицемерие» Василия III, «ужасы» правления Ивана Грозного, незаконность правления Василия Шуйского, избранного, по его мнению, не народом, а боярами. Н. И. Тургенев и К. И. Арсеньев в правлении Грозного видели «счастливую эпоху» независимости, укрепления государственного могущества России, но одновременно констатировали рост деспотизма. Рылеев и Александр Бестужев рисовали Ивана Грозного несчастным правителем. По мнению Корниловича, Иван Грозный много сделал для пользы государства, но властолюбие ввергло его в деспотизм [113]. Корнилович полагал, что Грозный «прилагал более стараний, нежели все его предшественники, к образованию народа». Оценку царствования Грозного в контексте европейской истории попытался дать Погодин. Констатируя вслед за Карамзиным деспотизм Грозного, но критикуя историка за то, что он просто не пожелал «бросить темную тень на первую блистательную половину царствования Иоанна и потому все дурное отложил он ко второй», Погодин полагал, что исторический процесс в XVI столетии в европейских странах, утверждение самодержавия «на развалинах феодальной системы» неизбежно порождали грозных правителей, являлось своего рода закономерностью [114]. Не смог простить Грозному покорения Пскова и Новгорода Н. А. Бестужев. «Честолюбивый» царь, писал он, вместо того чтобы развивать в интересах государства торговлю с югом и востоком, ополчился на

Новгород и Псков и жестокими, насильственными средствами, а не «кроткими способами» уничтожил их независимость, нанес сильный удар северной торговле России, ослабив тем самым ее продвижение вперед[115].

Большинство этих и других суждений, как нетрудно заметить, непосредственно опиралось на факты, источники и даже оценки, содержавшиеся в труде Карамзина, что особенно хорошо видно, например, из дневников Николая Тургенева или «Дум» Рылеева, исторические комментарии к которым были целиком основаны на труде историографа. Основной фактический материал взял из «Истории» и А. С. Пушкин при создании трагедии «Борис Годунов». Вместе с тем полемика дала образцы и самостоятельной разработки ряда событий и явлений отечественной истории.

Так, например, оригинальными оказались статьи Арцыбашева, посвященные оценкам правления Ивана Грозного. Арцыбашев попытался опровергнуть не только достоверность источников, использованных Карамзиным в описании второй половины царствования Ивана Грозного. В «эпохе казней» (частично, по его мнению, вымышленных или сомнительных) он видит прежде всего последовательную борьбу Грозного с боярской оппозицией, к тому же в отдельные моменты имевшей польскую ориентацию. Оправдывая Грозного, Арцыбашев пишет, что царь тем самым укреплял самодержавие, способствовал государственной консолидации. Даже отрицательные черты характера Грозного он склонен объяснить влиянием на малолетнего царя боярских интриг (что не отрицал и Карамзин), а также «суровостью нравов тогдашнего времени». Близок к позиции Арцыбашева в оценке деятельности Ивана Грозного был в это время и Погодин, пытаясь дополнить ее психологическими мотивировками.

Существенный удар карамзинской концепции царствования Бориса Годунова наносили работы Булгарина и Погодина. Последние подвергли критике исходную точку всего повествования Карамзина — его тезис о причастности Бориса Годунова к убийству царевича Дмитрия. Отрицая это, Булгарин и Погодин подчеркивали «великие дела Годунова» и из «умного злодея» (по Карамзину) делали Годунова выдающимся государственным деятелем.

В ходе полемики «История» оказалась вовлеченной в обсуждение и другого не менее важного вопроса русской жизни начала XIX в.— о крепостном праве. Споры о его законности или незаконности, дальнейшем существовании

или ликвидации неизбежно выливались в поиски ответов на ряд вопросов: когда и как возникло крепостничество, какие условия и обстоятельства способствовали его введению и насколько оно оправдало себя в тот или иной период исторического развития России?

Как же отвечал на эти вопросы Карамзин? В «Истории» он среди различных категорий «народа» выделяет «земледельцев свободных» — смердов и крестьян. Они, предполагает он, никогда, очевидно, не были владельцами земли, имея только «личную и движимую собственность», и поэтому брали землю внаем у дворян, князей, бояр, воинов и купцов. О «свободных земледельцах» Карамзин впервые подробно заговорил в седьмом томе своего труда. Здесь, предвидя необходимость в последующем говорить об их закрепощении, историограф как бы готовит читателей к этой «благодетельной» перемене состояния крестьян в будущем. По его мнению, положение свободных крестьян было самым «несчастным» из-за того, что они, беря внаем землю, «обязывались трудиться... свыше сил человеческих, не могли ни двух дней в неделе работать на себя... и сей многочисленный род людской, обогащая других, сам только что не умирал с голоду». В десятом томе, характеризуя законодательство о крестьянах конца XVI — первых лет XVII в., Карамзин еще раз возвращается к положению «свободных земледельцев» и вновь проводит мысль об их тяжелом положении до окончательного запрещения крестьянских переходов. Последнее, утверждает он, часто обманывало «надежду земледельцев сыскать господина лучшего», не давало им возможности «обживаться, привыкать к месту и к людям для успеха хозяйства, для духа общественного», увеличивало «число бродяг и бедность: пустели села и деревни, оставляемые кочевыми жителями, дома обитаемые или хижины падали от нерадения хозяев временных», а помещики, видя непрочность зависимости крестьян, обращались с ними с подчеркнутой жестокостью как с людьми для них «временными».

Из всего этого историограф делал вывод о том, что окончательное закрепощение крестян было выгодно прежде всего им самим, оно открывало возможность установить между ними и помещиками «союз неизменный, как бы семейственный, основанный на единстве выгод, на благосостоянии общем, нераздельном». Начало такому союзу, по Карамзину, было положено несохранившимся указом 1592 или 1593 г. об отмене крестьянского перехо-

да в Юрьев день. Этот несохранившийся указ историк считает основой ноябрьского указа 1597 г., установившего пятилетний срок давности для сыска беглых крестьян.

Карамзин признает, что отмена Юрьева дня не встретила восторга у крестьян, которые «жалели о древней свободе». Более того, она даже вызвала «негодование знатной части народа и многих владельцев богатых», которые лишились возможности заселять вольными крестьянами свои «пустые земли». Зато, утверждает он, отмена перехода крестьян принесла выгоды мелкопоместным землевладельцам — основной опоре самодержавия. Впрочем, историограф делает многозначительную оговорку о том, что в то время не удалось предвидеть «всех важных следствий» отмены Юрьева дня. В ходе дальнейшего изложения он называет лишь одно из таких «следствий» — частые побеги крестьян, особенно убыточные для мелкопоместных землевладельцев. Именно поэтому он склонен положительно оценить указ 1601 г., допускавший на землях мелких и средних землевладельцев (за исключением земель Московского уезда) переход не более двух крестьян. Последующие же узаконения о крестьянах — Лжедмитрия и Василия Шуйского — Карамзин излагает подчеркнуто сухо, без комментариев.

Вольным, а затем закрепощенным земледельцам в «Истории» противопоставлены холопы — рабы «дворовые или сельские», принадлежавшие только князьям, боярам и монастырям. До XI в., по Карамзину, это были исключительно военнопленные и их потомки. С XI в. «уже разные причины могли отнимать у людей свободу», т. е. Карамзин признает постепенное расширение основ холопства, хотя конкретно и не указывает его источников. Он рисует весьма идиллическую картину положения холопов — «этих природных рабов»: они любили легкую домашнюю работу, были обеспечены, не стремились к вольности. Взаимоотношения хозяев и холопов основывались не на законе, а на общем согласии, которое предписывало владельцам «человеколюбие и справедливость». Важным событием в формировании источников холопства историограф считает указ 1597 г., закреплявший вольных дворянских слуг, служивших не менее шести месяцев, за господами. Он называет это «мудрствованием Годунова», которое привело к включению в дворянскую челядь «всякого беззащитного». В результате, по мнению Карамзина, в период голода начала XVII в. дворяне, увеличившие число своих слуг, стали выгонять их. Эта оригинальная

трактовка части указа 1597 г. о холопах, вызвавшая недоумение у исследователей, объясняется сравнительно просто. Карамзин подводил читателей к мысли, что не закрепощение крестьян, а рост дворянской челяди, приведший к появлению бродяг и разбойников, лежал в основе народных движений Хлопка и Болотникова.

Карамзинская концепция закрепощения вполне соответствовала официальным идеологическим установкам самодержавия начала XIX в., отличаясь от еще более консервативных лишь одним: отсутствием тезиса о существовании крепостничества с незапамятных времен. Во всем остальном историограф следовал основным крепостническим постулатам: причина закрепощения в бродяжничестве крестьян, крестьяне никогда не владели землей, до закрепощения они влачили жалкое существование, крепостное право обеспечило взаимные выгоды помещиков и крестьян и оказалось благом для государства. Не случайно на его труд ссылался в 1818 г. в своем «послании» к малороссийскому военному губернатору князю Н. Г. Репнину калужский предводитель дворянства князь Вяземский, испуганный слухами об освобождении крестьян [116].

В русской историографии начала XIX в., в том числе в полемике вокруг «Истории», мы не встретим развернутого опровержения классических взглядов дворянской историографии на проблемы, связанные с возникновением крепостного права. Даже в диссертации А. С. Кайсарова, специально посвященной освобождению крестьян, автор обещал только в будущем специально рассмотреть эти проблемы. Но примечателен один из главных аргументов того же Кайсарова — крепостное право, утверждал он, не опирается в прошлом на какие-либо законные основания. «Откуда у вас столь неосновательные притязания,— спрашивал он крепостников.— В какой хронике, у какого писателя об этом говорится? Предъявите подлинные доказательства» [117]. Николай Тургенев, споря с Карамзиным в своей записке «Нечто о крепостном состоянии в России», также говорил о неясности многих вопросов, связанных с закрепощением крестьян, и заключал: «..если же сия часть истории нашего отечества обработана несовершенно и не в настоящем виде, то сие происходит только от того, что историю пишут не крестьяне, а помещики» [118]. Аналогичную мысль высказывал и его брат, С. И. Тургенев. В 1816 г., опубликовав выдержку из книги М. К. Грибовского, оправдывавшую рабство в

Древней Руси, он прокомментировал ее: «автор всякий раз рабство находит прекрасным, натуральным... Но в таком ли духе надо теперь писать о состоянии рабов в России?»

Уже такой предшественник декабристов, как И. П. Пнин, ссылаясь на Болтина, утверждал, что в России только пленные и их дети были рабами. Что же касается остальных категорий зависимого населения, то, по его мнению, лишь полные холопы приближались к положению рабов, другие, в том числе кабальные холопы, вплоть до присоединения Астраханского царства были равны перед законом, имели «собственность»[119]. Эту точку зрения фактически разделял и Кайсаров, добавляя, что отсутствовали законные исторические основания крепостничества, и подчеркивая, что его породили насилие и обман. «Поселяне русские всегда были свободны, но необходимость порядка и недостаток прав сделали их на время рабами»,— утверждал В. Ф. Раевский. С точки зрения декабриста В. И. Штейнгеля, «в старину» неограниченная власть помещиков распространялась только на полных холопов, в которых он видел военнопленных и их потомков. Власть помещика по отношению к остальным категориям феодально зависимого населения была ограниченной: крестьяне служили у него либо до смерти землевладельца (кабальные холопы), либо в течение условленного числа лет. Окончательное закрепощение крестьян Штейнгель относит ко времени правления Федора Годунова и Василия Шуйского, которые, «будучи из бояр, прекратили переход крестьян и прикрепили их к земле». Штейнгель склонен был считать, что главную роль в закрепощении сыграли злоупотребления помещиков и пробоярская политика самодержцев не из династии Романовых. Свое «всеподданнейшее письмо» на имя Александра I он не случайно заключал словами о том, что «доныне существующая в России продажа людей... никогда прямо не была дозволяема ее великими монархами, а потому не может по справедливости почитаться законною»[120].

Н. И. Тургенев в истории закрепощения крестьян выделял по крайней мере три момента. Он считал, что ордынское иго создало предпосылки для еще более тяжелого «ига внутреннего»: дворяне постепенно «заменили собою татар», переняв от них жестокость и корыстолюбие. «Наш бессмертный историк,— отмечал он,— изобразил яркими чертами те несчастья, которые отечество наше претерпело от ига татарского; представил и бесславные

черты, которые дикое тиранство оставило в русском характере. Но если влияние двувекового рабства России оказывается еще и доныне в простом народе, то нельзя отрицать, чтобы татарское владычество осталось недействительным и для высших классов»[121]. Касаясь последующего развития событий — указов Бориса Годунова 1597 г. и Василия Шуйского 1607 г., Тургенев в официальной записке для Александра I ограничился констатацией, что ими крестьяне «для порядка» были прикреплены к земле и лишь затем, начиная со второй половины XVII в., дворяне «по праву сильного» обратили их в рабство. Письмо Н. И. Тургенева к П. Я. Чаадаеву (1820 г.) вносит существенные коррективы в эту схему: объявляя незаконным «правительство» Василия Шуйского, декабрист тем самым отрицает и законность указа 1607 г., окончательно запретившего крестьянские переходы[122].

Суровой критике М. Ф. Орлов подверг тезис о «государственной целесообразности» закрепощения крестьян в древности. Д. П. Бутурлин, автор книги «Военная история походов россиян в XVIII столетии», связывал эту целесообразность с тем, что присоединение Сибири и Казани, открыв возможность ухода вольных крестьян на новые земли, тем самым грозило оскудению центра страны, из-за чего правительство вынуждено было прибегнуть к закрепощению: «...чтобы остановить распространение зла, правительство принуждено было употребить средство жестокое, соразмеряя оное только важности настоящей опасности»,— писал он[123]. В письмах 1819—1820 гг. к Бутурлину Орлов решительно не соглашается с подобными рассуждениями. «Ненавистный закон», утверждает он, «был противен и человеколюбию и здравому рассудку». Почему появляется стремление к уходу на новые земли? В основе этого лежит желание либо уйти от эксплуатации, либо от хорошего к лучшему. И в том и в другом случае, продолжает декабрист, «выгоды», к которым стремился народ, были полезны для государства и поэтому «при том и другом обстоятельствах не должно было ни под каким видом обращать рабство в закон». Наоборот, заключает он, законами нужно было ограничивать не крестьянские переходы и переселения, а самовластие помещиков. «Ах! сколько бы бедствий было отвращено от отечества нашего, ежели б самовластие наших государей, основав внешнюю независимость, не основало вместе внутреннего порабощения России!»[124]

Выступления в полемике вокруг «Истории» по вопро-

су о введении в России крепостного права декабристов Н. И. Тургенева, В. И. Штейнгеля, М. Ф. Орлова исходным посылкам Карамзина противопоставили положения о безусловном зле для государства закрепощения крестьян и об отсутствии законности его утверждения. Тургенев, Штейнгель, Орлов в этом смысле развивали ранее высказанные идеи русских демократов-просветителей Пнина, Кайсарова, В. Ф. Малиновского и революционера А. Н. Радищева. Правда, и они не смогли освободиться от одного из постулатов дворянских идеологов — от утверждения об отсутствии у крестьян до закрепощения земли, а в окончательном лишении крестьян гражданских прав были склонны винить в первую очередь помещиков, отрицая (возможно, по тактическим соображениям) роль, которую сыграла в этом самодержавная власть. Но даже и такая трактовка истоков одной из самых страшных язв России начала XIX в. объективно подрывала идеологическую основу господствующего класса, объявляя его врагом подобным иноземным поработителям.

Заключая настоящую главу, отметим, что в ходе полемики вокруг «Истории» Карамзина обсуждался как традиционный для отечественной историографии круг проблем прошлого, так и ряд новых вопросов, навеянных идеями, фактами, содержавшимися в труде историографа. Легко заметить, что многие из них являются предметом пристального внимания и сегодня. Участники полемики внесли свой вклад в их осмысление. За отдельными исключениями это осмысление не носило фундаментального характера, в нем преобладали публицистичность, стремление подтвердить или опровергнуть взгляды и выводы Карамзина. Правда истории не становилась от этого ближе и понятней, но движение к ней, несомненно, получало сильные импульсы. Многообразие мнений не было разноголосицей, а крайности в суждениях и оценках свидетельствовали отнюдь не только о страстях и эмоциональности участников полемики. Шел многообразный живой поиск путей проникновения в прошлое, его понимания в соответствии с проблемами современности, в соответствии с духовными запросами и политическими и идеологическими убеждениями участников полемики.

Заключение

Ко времени развернувшейся вокруг «Истории государства Российского» полемики отечественная историография уже имела опыт обсуждения ряда исторических сочинений. Еще в XVIII в. широкий общественный резонанс получили борьба М. В. Ломоносова с норманнской теорией, выступление И. Н. Болтина против французских историков Левека и Леклерка и его полемика с автором «Истории Российской» М. М. Щербатовым. В начале XIX в., за несколько лет до выхода труда Карамзина, предметом ожесточенных споров стал труд А. Л. Шлецера, посвященный древнерусскому летописанию. Наконец, начиная с 1829 г. вспыхивает полемика вокруг «Истории русского народа» Н. А. Полевого.

Причины, характер, содержание этих и других полемик в разной степени изучены. Какое же место заняла среди них полемика вокруг «Истории» Карамзина, чем объясняется само ее возникновение, злободневность звучания, широта и разнообразие затронутых вопросов?

Ответы на это следует искать в общественной атмосфере первых десятилетий XIX в. Историзм мышления был уже неотъемлемой чертой времени. Для первых читателей труда Карамзина размышления о настоящем и будущем России неизменно связывались с ее прошлым. В прошлом искали и обоснования путей решения задач настоящего. Поэтому политические идеи «Истории», прежде всего идеи самодержавия и крепостничества, с одной стороны, и в то же время ее антидеспотическая направленность, решительный нравственный суд историка над действиями и личностями представителей самодержавной власти — с другой, вызывали отклик у представителей различных общественно-политических течений русского общества. Обсуждение «Истории» становилось поводом для разговора о злободневных проблемах современности, способом пропаганды своих убеждений.

Полемика начиналась в период господства официальной дворянской историографии, воплощенной наиболее ярко в труде Карамзина. Ее завершение проходило уже

под знаком борьбы с дворянской историографией представителей революционно-демократических вглядов на исторический процесс, в период формирования буржуазного направления в историографии. Новые взгляды на прошлое, новые представления о задачах, предмете исторического познания властно вторгались в ранее лишь изредка тревожимую обитель дворянских историков. Место адвокатов существующего строя, которых, по словам графа А. Сен-При и декабриста Н. И. Тургенева, браться за перо в России заставляла «выгода касты», занимали люди более демократических и прогрессивных взглядов. Их обращение к прошлому помогало осмыслить и историографическое наследие предшественников. Не случайно, например, рецензия Н. А. Полевого на труд Карамзина появилась накануне выхода его «Истории русского народа» как своеобразный манифест буржуазных взглядов на исторический процесс. «История» Карамзина неизбежно включалась в процесс переосмысления историографических концепций.

Труд Карамзина демонстрировал то новое, что было внесено им в русский язык частично еще до выхода «Истории» и в еще большей степени в процессе работы над ней. Языковые и стилевые новации Карамзина стали еще до выхода его труда предметом восхищения и подражания для одних и решительного осуждения для других. «История» не сгладила различий в оценках Карамзина как писателя и реформатора языка. Оставив разрешение этого вопроса времени, она самим фактом своего существования побуждала современников включать ее в круг собственных литературных и языковых исканий. Поэтому труд историографа оказался вовлеченным и в литературную борьбу тех лет.

Общественные условия предопределили остроту полемических выступлений и в связи с борьбой за личность автора «Истории». Образы «честного человека» и «благонамеренного патриота» уже при жизни Карамзина и особенно после его смерти оказались необходимы представителям различных общественно-политических течений в их споре о поступках, убеждениях гражданина, писателя и ученого. Волей исторических судеб и обстоятельств личность историографа превращалась в символ, его труд — в знамя, которые пытались в своих целях использовать различные лагери русского общества.

Наконец, общественное звучание полемике придавал уже сам факт критических выступлений ее участников. Независимо от содержания они наносили удар по убеж-

дению Карамзина о терпимости в критике. Спор о достоинствах и недостатках «Истории», включение в него последователей историографа одновременно стал спором о задачах, сущности, форме критики вообще и разборе исторических сочинений в частности.

Указанные обстоятельства и предопределили широту и злободневность обсуждения «Истории», включив ее в общий контекст литературных, политических, историографических движений эпохи. Труд Карамзина как бы обнажил основные противоречия общественной жизни России первых десятилетий XIX в., став удобным предлогом для разговора о злободневных проблемах. Именно поэтому правомерно говорить о споре не только о труде историографа, но и *вокруг* него.

Полемика вокруг «Истории» Карамзина представляла собой более сложное явление по сравнению с рядом предшествующих полемик. Она оказалась представительнее по числу участников, кругу затронутых вопросов, теснее связанной с проблемами современности, сложнее по форме, позициям и тактике разных ее участников. Легальное и нелегальное обсуждение «Истории» захватило широкий слой русских читателей. С результатами этого обсуждения они получили возможность познакомиться в первую очередь через периодическую печать.

Какие же реальные результаты дала полемика вокруг «Истории» в 10—20-х годах XIX в.? Во-первых, оказался знаменательным сам факт обсуждения труда Карамзина. Более чем какой-либо другой аргумент, это показывает резкое усиление в русском обществе интереса к прошлому. Было бы, очевидно, односторонним утверждение, что «История» пробудила этот интерес, скорее она обострила его, послужила стимулом для новых исторических разысканий, для размышлений о предназначении исторического труда, его предмете, методах исторического познания. Во-вторых, в ходе полемики основательной и справедливой критике были подвергнуты политические идеи и научные основы труда Карамзина. В лице декабристов М. Ф. Орлова, Н. М. Муравьева, Н. И. Тургенева историограф встретил серьезных оппонентов своим политическим взглядам, а со стороны М. Т. Каченовского, Н. С. Арцыбашева, Й. Лелевеля, Н. А. Полевого, З. Ходаковского и других профессиональных исследователей — строгий разбор научной стороны «Истории». В-третьих, в процессе критики политических идей и научных основ «Истории» оппоненты Карамзина получили возможность

лишний раз уточнить свои представления о русском историческом процессе и методах его познания. В споре с Карамзиным оформлялись и революционно-демократические взгляды на прошлое декабристов, и буржуазно-демократическая концепция исторического процесса Полевого.

Все это убедительно говорит о том, что развитие русской общественной и исторической мысли 10—20-х годов XIX в. шло не мимо «Истории» Карамзина, а через нее. Труд Карамзина стал тем «катализатором» общественно-исторической мысли России, который ускорил процесс размежевания сил, породил неизбежную реакцию в общественном сознании на содержавшиеся в нем идеи. В этом заключалась важнейшая положительная роль «Истории» и развернувшейся вокруг нее полемики.

Примечания

Предисловие

[1] *Кс[енофонт] П[олевой]*. Взгляд на два обозрения русской словесности 1829 года, помещенные в «Деннице» и «Северных цветах» // Моск. телеграф. 1830. Ч. 31. № 2. С. 213.
[2] Декабрист Михаил Орлов – критик «Истории» Н. М. Карамзина / Публ. и коммент. Л. Я. Вильде; Вступ. ст. М. В. Нечкиной // Лит. наследство. М., 1954. Т. 59. С. 557–568; Записка Никиты Муравьева «Мысли об „Истории государства Российского" Н. М. Карамзина» / Публ., вступ. ст. и коммент. И. Н. Медведевой // Там же. С. 569–598; *Волк С. С.* Исторические взгляды декабристов. М.; Л., 1958. *Ланда С. С.* Дух революционных преобразований...: Из истории формирования идеологии и политической организации декабристов, 1816–1825. М., 1975; *Эйдельман Н. Я.* Последний летописец. М., 1983; и др.
[3] *Кудрявцев И. А.* «Вестник Европы» М. Т. Каченовского об «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина // Труды МГИАИ. М., 1965. Т. 22. С. 211–249; *Шикло А. Е.* Исторические взгляды Н. А. Полевого. М., 1981. С. 57; и др.
[4] *Вацуро В.* «Подвиг честного человека» // Прометей. М., 1968. Т. 5. С. 8–51; *Попков Б. С.* Иоахим Лелевель – критик «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина // Вопросы историографии в высшей школе. Смоленск, 1975. С. 287–299; *Он же.* Польский ученый и революционер Иоахим Лелевель. М., 1974. С. 22–38; и др.
[5] Цит. по: *Глассе А.* Критический журнал «Комета» В. К. Кюхельбекера и В. Ф. Одоевского // Литературное наследие декабристов. Л., 1975. С. 281.

Глава 1. Перед встречей с современниками и потомками

[1] Сочинения Карамзина. Пг., 1917. Т. 1. С. 305–318.
[2] Там же. С. 308, 316.
[3] Подробнее см.: *Тартаковский А. Г.* У истоков русской историографии 1812 года // История и историки: Историогр. ежегодник, 1978. М., 1981. С. 80–81.
[4] Там же. С. 67–90.
[5] *Киреева Р. А.* Изучение отечественной историографии в дореволюционной России с середины XIX в. до 1917 г. М., 1983. С. 79.
[6] Подробнее см.: *Афиани В. Ю., Козлов В. П.* От замысла к изданию «Истории государства Российского» // Карамзин Н. М. История государства Российского. М., 1989. Т. 1.
[7] Сочинения Ивана Ивановича Дмитриева. СПб., 1895. Т. 2. С. 205.
[8] *Корф М.* Жизнь графа Сперанского. СПб., 1861. Т. 1. С. 133.
[9] *Берков П. Н.* Проблемы исторического развития литератур. Л., 1981. С. 254.

[10] Письма Карамзина к графу С. П. Румянцеву // Рус. арх. 1869. № 7. С. 589–590.
[11] Письма Карамзина к Алексею Федоровичу Малиновскому и письма Грибоедова к Степану Николаевичу Бегичеву. М., 1860. С. 6.
[12] Переписка Н. М. Карамзина с 1799 по 1826 год // Атеней. 1855. Ч. 3. С. 644.
[13] Письма Н. М. Карамзина к его супруге из Петербурга в Москву 1816 г.// Рус. арх. 1911. № 8. С. 569.
[14] Там же. С. 570, 584.
[15] *Стурдза А.* Воспоминания о Николае Михайлсвиче Карамзине // Москвитянин. 1846. Ч. V. С. 147.
[16] Письма Н. М. Карамзина к его супруге... С. 581.
[17] Там же. С. 582.
[18] Там же. С. 567.
[19] Цит. по: *Грот К. Я.* Н. М. Карамзин и Ф. Н. Глинка. СПб., 1903. С. 6.
[20] *Иконников В. С.* Граф Мордвинов. СПб., 1878. С. 106.
[21] Письма Н. М. Карамзина к его супруге... С. 586.
[22] *Дмитриев И. И.* Взгляд на мою жизнь: Записки действительного тайного советника Ивана Ивановича Дмитриева. М., 1866. С. 240.
[23] ЦГИА СССР. Ф. 951. Оп. 1. Д. 14. Л. 1.
[24] Архив князя С. М. Воронцова. М., 1882. Т. 23. С. 362.
[25] *Эйдельман Н. Я.* Последний летописец. М., 1983. С. 88.
[26] Записка Карамзина к неизвестному лицу // Рус. арх. 1866. № 11/12. С. 1765–1766.
[27] ЦГИА СССР. Ф. 951. Оп. 1. Д. 12. Л. 1.
[28] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 197.
[29] Архив князя С. М. Воронцова. Т. 23. С. 375–376.
[30] Письма В. А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. М., 1895. С. 165.
[31] *Минаева Н. В.* Европейский легитимизм и эволюция политических представлений Н. М. Карамзина // История СССР. 1982. № 5. С. 157–158.
[32] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 206.
[33] [*Карамзин Н. М.*]. Записка о достопамятностях Москвы // Укр. вестн. 1818. Ч. 10. С. 132 (в тексте – название «Записки», данное Карамзиным).
[34] Там же. С. 246, 249; и др.
[35] Там же. С. 142.
[36] Там же. С. 143.
[37] Там же. С. 251–253.
[38] Там же. С. 131.
[39] *Карамзин Н. М.* История государства Российского. СПб., 1816–1818. Т. I–VIII.
[40] См., напр.: *Эйдельман Н. Я.* Указ. соч. С. 48–49.
[41] *Козлов П. П.* Колумбы российских древностей. М., 1981. С. 142.
[42] *Клейменова Р. Н.* Издательская деятельность Московского университета в первой четверти XIX в.// Книга: Исследования и материалы. М., 1981. Вып. 43. С. 80.
[43] Сев. почта. 1818. № 10. Министерство иностраных дел выделило на приобретение «Истории» 1400 руб.
[44] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. 2-е изд. М., 1958. Т. VII. С. 61.

45 Письма И. И. Дмитриева к князю П. А. Вяземскому 1810–1836 годов. СПб., 1898. С. 11.
46 [*Греч Н. И.*] Новые книги // Сын Отечества. 1818. Ч. 43. С. 251.
47 *Карамзин Н. М.* История государства Российского. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1818–1820. Т. I–VIII.
48 Записки Ксенофонта Алексеевича Полевого. СПб., 1888. С. 287.
49 Подробнее о переводах «Истории» см.: *Афиани В. Ю., Козлов В. П.* Указ. соч.
50 Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 247.
51 ГИМ. Ф. 247. Д. 2. Л. 148–148 об.
52 *Сербинович К. С.* Николай Михайлович Карамзин // Рус. старина. 1874. № 9. С. 59; *N. N. О* переводах «Истории Российского государства» // Сын Отечества. 1818. № 38. С. 255–261.
53 *Пештич С. Л., Циперович И. Е.* «История государства Российского» Н. М. Карамзина на китайском языке // Народы Азии и Африки. 1986. № 6. С. 125.
54 *Карамзин Н. М.* Речь, произнесенная в торжественном собрании Российской Академии // Сын Отечества. 1819. № 1, Ч. 51. С. 3–32. Цит. по: Литературная критика 1800–1820 гг. М., 1980.
55 Там же. С. 43.
56 *Эйдельман Н. Я.* Указ. соч. С. 112–119.
57 Записки Ф. Ф. Вигеля. М., 1892. Ч. 6. С. 56.
58 Декабрист Н. И. Тургенев: Письма к брату С. И. Тургеневу, 1811–1821. М.; Л., 1936. С. 349.
59 Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 306.
60 Там же. С. 300.
61 ЦГИА СССР. Ф. 951. Оп. 1. Д. 15. Л. 1.
62 *Карамзин Н. М.* История государства Российского. СПб., 1821. Т. IX.
63 Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 340.
64 Там же. С. 339.
65 Там же. С. 347.
66 *Карамзин Н. М.* Неизданные сочинения и переписка. СПб., 1862. С. 29.
67 *Карамзин Н. М.* История государства Российского. СПб., 1823–1824. Т. X–XI.
68 Остафьевский архив. СПб., 1899. Т. 3. С. 19.
69 Там же. С. 26.
70 *Карамзин Н. М.* История государства Российского. СПб., 1829. Т. XII.
71 ОР ГБЛ. Ф. 231. Карт. 1. Д. 31. Л. 84.

Глава 2. «Принадлежит истории»

1 *К[аченовский М. Т.]*. История государства Российского. Т. XII // Вестн. Европы. 1829. № 17/18. С. 3–15, 94–121.
2 *Лелевель И.* Рассмотрение «Истории государства Российского» г. Карамзина // Сев. арх. 1822. Ч. 4. С. 402–434, 458–471; 1823. Ч. 8. С. 54–80, 147–160, 287–297; 1824. Ч. 9. С. 41–57, 91–103, 163–172; Ч. 11. С. 132–143, 187–197; Ч. 12. С. 47–53.
3 [*Булгарин Ф. В.*] Критический взгляд на X и XI тома «Истории государства Российского», сочиненную Карамзиным // Там же. 1825. Ч. 13. С. 60–84, 182–201; Ч. 14. С. 176–197, 362–372.
4 *Н[иколай] П[олевой]*. [Рец. на I–XII тома «Истории» Карамзина] // Моск. телеграф. 1829. Ч. 27. С. 467–500. Об авторстве

Полевого см.: *Шикло А. Б.* Исторические взгляды Н. А. Полевого. М., 1981. С. 194.

[5] *Арцыбашев Н.* Замечания на «Историю государства Российского», сочиненную г. Карамзиным, 2-го издания, иждивением братьев Слениных // Казан. вестн. 1822. Ч. 5. С. 2–21; Ч. 6. С. 45–66, 145–170; 1823. Ч. 7. № 1. С. 15–40, 79–107.

[6] *Ходаковский З.* Розыскания касательно русской истории // Вестн. Европы. 1819. № 20. С. 282–302; *Он же.* О Гиляй-городе // Сев. арх. 1823. Ч. 5. С. 369–371; и др.

[7] [*Арцыбашев Н. С.*] О степени доверия к «Истории», сочиненной князем Курбским // Вестн. Европы. 1821. № 12. С. 278–317; *Он же.* О свойствах царя Иоанна Васильевича // Там же. № 18. С. 126–141; № 19. С. 184–200 (здесь же указание на авторство предыдущей статьи); и др.

[8] *Н*[*иколай*] *П*[*олевой*]. О медных капищах и медных конях, упомянутых в летописце преп. Нестора // Отеч. зап. 1823. Ч. 16. С. 52–72, 198–233; [*Он же*]. Обозрение хода и упадка удельной системы в России // Вестн. Европы. 1825. № 12. С. 255–273. Об авторстве Полевого см.: *Шикло А. Б.* Указ. соч. С. 178–179.

[9] *Ил*[*л*]*ар*[*и*]*он В*[*а*]*с*[*и*]*ль*[*е*]*в*. Историческое известие о поместьях и вотчинах в России // Вестн. Европы. 1823. № 12. С. 278–285.

[10] *М*[*ихаил*] *П*[*огодин*]. Нечто против мнения Н. М. Карамзина о начале Российского государства // Моск. вестн. 1828. Ч. 7. С. 483–490; *Он же* (подпись *М. П.*). Об участии Годунова в убиении царевича Димитрия // Там же. 1829. Ч. 3. С. 90–126; *Он же.* Нечто об Отрепьеве // Там же. С. 144–170; и др.

[11] *Гусятников М.* Замечания на «Историю государства Российского», сочиненную Н. М. Карамзиным: О титуле великого князя // Там же. 1828. Ч. 7. С. 203–209.

[12] [*Словцов П.*] Письма из Сибири // Азиатский вестн. 1825. Ч. 3. С. 395.

[13] *Т.* От любителя изящных искусств к его другу: Письмо третье // Вестн. Европы. 1818. № 22. С. 119–129; № 24. С. 286–293.

[14] *Бестужев А.* Взгляд на русскую словесность в течение 1823 года // Полярная звезда: Альманах А. Бестужева и К. Рылеева. М.; Л., 1960. С. 268–270; *Он же.* Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начала 1825 годов // Там же. С. 493.

[15] *Булгарин Ф.* [Обозрение русской литературы 1822 года] // Сев. арх. 1823. Ч. 5. С. 384.

[16] *Киреевский И. В.* Обозрение русской словесности за 1829 год // Денница. М., 1839. Здесь и далее используется по кн.: *Киреевский И. В.* Полн. собр. соч. М., 1911. Т. II. С. 14–39.

[17] *Сомов О.* Обзор российской словесности за 1827 год // Северные цветы на 1828 год. СПб., 1827. С. 55–56; *Он же.* Обозрение российской словесности за первую половину 1829 года // Северные цветы на 1830 год. СПб., 1829. С. 7–27.

[18] [*Воейков А. Ф.*]. Мои мысли о критике сочинителя «Истории русского народа» на «Историю государства Российского» // Славянин. 1829 Ч. 12. С. 375–394. В том же году статья вышла под аналогичным названием, но с указанием автора, отдельной брошюрой.

[19] *Н*[*иколай И*[*ванчин*]-*П*[*исарев*]. О некоторых критиках // Сын Отечества и Северный архив. 1829. № 1. С. 58–60.

[20] [*Дмитриев М. А.*] О противниках и защитниках историографа Карамзина // Атеней. 1829. № 3. С. 295–312; № 4. С. 424–444; № 5. С. 524–535.

[21] *Кс*[*енофонт*] *П*[*олевой*]. Взгляд на два обозрения русской словесности 1829 года, помещенные в «Деннице» и «Северных цветах» // Моск. телеграф. 1830. Ч. 31, № 2. С. 201–218.
[22] *Руссов С.* Обозрение критики Ходаковского на «Историю Российского государства», сочиненную Николаем Михайловичем Карамзиным. СПб., 1820; *Он же.* Разбор академической речи, произнесенной в торжественном собрании Харьковского университета 30 августа 1827 г. о разрешении некоторых вопросов, относящихся до славянской древности // Славянин. 1829. Ч. 12. С. 40–41, 64–90; *Он же.* О критике г. Арцыбашева на «Историю государства Российского», сочиненную Н. М. Карамзиным. СПб., 1829.
[23] *Сомов О.* Хладнокровные замечания на толки гг. критиков «Истории государства Российского» и их сопричетников // Моск. телеграф. 1829. Ч. 25. С. 338–347.
[24] *Житель Девичьего Поля.* Письмо к редактору // Вестн. Европы. 1819. № 6. С. 115–124; *Ф. Як*[*овлев*]. Письмо к редактору // Там же. 1821. № 5. С. 31–44; *Арцыбашев Н.* Первый и последний ответ на псевдокритику // Там же. 1826. № 2. С. 106–118; Письмо г-на Арцыбашева к издателю «Московского вестника» // Моск. вестн. 1829. Ч. 3. С. 196–201; *Погодин М. П.* Ответ издателя «Московского вестника» на письмо г-на Арцыбашева // Там же. С. 201–204; и др.
[25] *К*[*нязь*] *Ш*[*алико*]*в.* Новость // Сын Отечества. 1818. № 10. С. 157–159. Об авторстве Шаликова см.: *Кюхельбекер В. К.* Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 267; *Ъ.* [*Измайлов А. Е.*]. Московский бродяга // Сын Отечества. 1818. № 23. С. 153–158 (об авторстве Измайлова см.: *Томашевский Б. В.* Пушкин. М.; Л., 1956. Кн. 1. С. 223); [*Яковлев П. Л.*]. Записки Лужницкого старца // Вестн. Европы. 1818. № 20. С. 307–313 (об авторстве Яковлева см.: *Данилевский Г.* Основьяненко // Отеч. зап. 1855. № 11. Отд. 2. С. 36); *Бенигна* [*Полевой Н. А.*]. Литературные опасения кое-за что // Моск. телеграф. 1828. Ч. 23. С. 319–380 (об авторстве Полевого см.: *Шикло А. Б.* Указ. соч. С. 195); и др.
[26] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. 2-е изд. М., 1958. Т. VII. С. 61–62.
[27] Новости литературные // Сын Отечества. 1819. № 37. С. 185–186; *Геерен А. Г.* Взгляд на «Историю государства Российского» Н. М. Карамзина // Сев. арх. 1822. Ч. 4. С. 486–506. Перевод рецензии принадлежал Н. А. Тургеневу. Подробнее см.: *Ланда С. С.* Дух революционных преобразований...: Из истории формирования идеологии и политической организации декабристов, 1816–1825. М., 1975. С. 70–74, 325–327; Спор в немецких журналах об «Истории государства Российского» // Моск. телеграф. 1827. № 23. С. 207–220. Материал был сообщен А. И. Тургеневым. Подробнее см.: *Тургенев А. И.* Хроника русского: Дневники (1825–1826). М.; Л., 1964. С. 510–511.
[28] См., например: *N. N.* О переводах «Истории Российского государства» // Сын Отечества. 1818. № 38. С. 255–261.
[29] О русской истории Н. М. Карамзина // Там же. 1817. № 40. С. 78; Новые книги // Там же. 1818. № 6. С. 251–256; [Информация о выходе первого тома второго издания] // Там же. № 52. С. 320; Новости литературные // Там же. 1820. № 5. С. 231–232; Новые книги // Там же. 1821. № 21. С. 35–36; и др.
[30] Там же. 1818. № 48. С. 79–80; *П.* Петербургские записки // Благонамеренный, 1820, № 1, С, 64–65; и др.

31 [Дневник Маскевича] // Сев. арх. 1825. Ч. 13; Повесть о Казанском царстве, откуда начася // Казан. вестн. 1823. Ч. 9. С. 101–108, 141–149; и др.
32 *Полевой Н.* Некролог Карамзину // Моск. телеграф. 1826. Ч. 9. С. 80–87; *К[аченовский М. Т.]* Некрология // Вестн. Европы. 1826. № 9. С. 69–72; *К[нязь] Ш[аликов П.]*. О кончине Николая Михайловича Карамзина // Дамский журн. 1826. № 12. С. 239–241; *Золотов В.* Об историографе Российской империи Н. М. Карамзине // Ист. стат. геогр. журн. 1826. Ч. 1. С. 145–154; и др.
33 Полярная звезда. С. 278.
34 *Вацуро В.* «Подвиг честного человека» // Прометей. М., 1968. Т. 5. С. 27.
35 *Хвостов Н. П.* Николай Михайлович Карамзин, 1810-го года августа 10-го дня // Рус. вестн. 1810. № 10. С. 130–136; *Он же.* Надгробие историографу Карамзину 20 мая 1828 г. // Дамский журн. 1828. Ч. 24. С. 137; и др.
36 *Шаликов П.* К историографу империи // Сын Отечества. 1818. № 48. С. 131; *Он же.* К гению Карамзина // Дамский журн. 1828. Ч. 24. С. 174; *Он же* (подпись: *К. Ш.*). На выздоровление Н. М. Карамзина // Там же. 1823. Ч. 2. С. 218–219; и др.
37 *Dixit.* [*Вяземский П. А.*]. Послание к Каченовскому // Сын Отечества. 1821. № 2. С. 14–21 (псевдоним автора послания был расшифрован Каченовским при его перепечатке в «Вестнике Европы». См.: [*Каченовский М. Т.*]. Послание ко мне от князя Вяземского // Вестн. Европы. 1821. № 2. С. 98–106); *Вяземский П. А.* Быль // Моск. телеграф. 1828. № 19. С. 271–272; и др.
38 [*Аксаков С. Т.*]. Послание к Птелинскому – Ульминскому // Вестн. Европы. 1821. № 9. С. 12–14; [*Писарев А.*] К молодому любителю словесности // Там же. № 7. С. 19–20; *Катенин П. А.* Старая быль // Избр. произведения. М.; Л., 1965. С. 183.
39 См.: *Масанов И. Ф.* Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей. М., 1960. Т. 1–4.
40 *Гиллельсон М. И.* П. А. Вяземский: Жизнь и творчество. Л., 1969. С. 268.
41 *Вяземский П. А.* Полное собрание сочинений. СПб., 1879. Т. 2. С. 25.
42 Там же.
43 Там же. С. 14–24.
44 *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1889. Т. 2. С. 240.
45 *Данилевский Г.* Указ. соч. С. 36.
46 Эпиграмма и сатира: Из истории литературной борьбы XIX века. М.; Л., 1931. Т. 1. С. 349.
47 *Люборуссов Н.* Нечто об отрывке из Леклерка // Вестн. Европы. 1821. № 23. С. 191–199. Автор указывает на себя как на жителя Калуги.
48 *Иконников В. С.* Скептическая школа в русской историографии и ее противники. Киев, 1871. С. 53.
49 *Люборуссов Н.* Послание россиянина к издателю «Отечественных записок» (о политической экономии) // Отеч. зап. 1822. Ч. 16, № 44. С. 34–39.
50 *Житель Девичьего Поля.* Письмо к редактору // Вестн. Европы. 1819. № 6. С. 115–124.
51 *Масанов И. Ф.* Указ. соч. Т. 1. С. 378.
52 *Т.* От любителя изящных искусств к его другу // Вестник Европы. 1818. № 22. С. 119, 129; № 24. С. 286–293.

53 *Ф.* От Киевского жителя к его другу // Вестник Европы. 1819. № 2. С. 120–131; № 3. С. 197–210; № 4. С. 306–311; № 5. С. 43–53; № 6. С. 125–131.
54 *Кудрявцев И. А.* «Вестник Европы» М. Т. Каченовского об «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина // Труды МГИАИ. М., 1965. Т. 22. С. 217.
55 См. гл. 3.
56 *Московский урожденец А. М.* Замечания одного из сотрудников «Северного архива» на статью, помещенную в № 24 сего журнала на 1822 год под заглавием «Взгляд на „Историю государства Российского" г. Карамзина» // Сев. архив. 1823. Ч. 5. С. 91–100.
57 *Волк С. С.* Исторические взгляды декабристов. М.; Л., 1958. С. 317.
58 *Ланда С. С.* Указ. соч. С. 72.
59 *Гиллельсон М. И.* П. А. Вяземский. С. 133.
60 См. выше, примеч. № 28.
61 *Сосновский Т. А.* Иоахим Лелевель как критик «Истории государства Российского», сочинения Карамзина: Переписка с Ф. В. Булгариным 1822–1830 гг. // Рус. старина. 1878. № 8. С. 655; *Попков Б. С.* Польский ученый и революционер Иоахим Лелевель. М., 1974. С. 26.
62 ОР ГПБ. Ф. 588. Оп. 4. Д. 78. Л. 7 об. 8.
63 *Гиллельсон М. И.* П. А. Вяземский... С. 130.
64 *Сосновский Т. А.* Указ. соч. С. 78, 82.
65 Там же. С. 82.
66 ОР ГПБ. Ф. 588. Д. 314.
67 *Гиллельсон М. И.* П. А. Вяземский... С. 269.
68 Цит. по: *Ланда С. С.* Указ. соч. С. 324.
69 Там же. С. 66–73.
70 *** [*Тургенев Н. И.*]. Письмо к издателю // Сын Отечества. 1818. № 42. С. 149–150. Об авторстве Тургенева см.: *Ланда С. С.* Указ. соч. С. 324.
71 *Ланда С. С.* Указ. соч. С. 73–75.
72 *Сосновский Т. А.* Указ. соч. С. 655.
73 *Вацуро В.* Указ. соч. С. 8–51.
74 *Измайлов А. Е.* Московский бродяга. С. 157.
75 Декабрист Михаил Орлов – критик «Истории» Н. М. Карамзина // Лит. наследство. М., 1954. Т. 59. С. 560, 568.
76 Там же. С. 568.
77 Записки Ксенофонта Алексеевича Полевого. СПб., 1888. Т. 1. С. 130–131.
78 ОР ГПБ. Ф. 328. Д. 45. Л. 2–3; Д. 68. Л. 24–25 об.; Д. 311. Л. 45–61 об. и др.; ЦГАЛИ. Ф. 248. Оп. 2. Д. 13.
79 *Тебиев Б.* Пометы «молодого якобинца» // В мире книг. 1976. № 8. С. 86–87.
80 *Дружинин Н. М.* Декабрист Никита Муравьев. М., 1933. С. 98.
81 Записки Ксенофонта Алексеевича Полевого. С. 89–90.
82 ГПБ. Пог. 2022/1–4.
83 Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 1–2; Письма М. Т. Каченовского к Ф. В. Булгарину (1823–1824) // Рус. старина. 1903. № 12; Из переписки князя В. Ф. Одоевского // Там же. 1904. № 2; Декабрист Н. И. Тургенев: Письма к брату С. И. Тургеневу, 1811–1821. М.; Л., 1936; *Сосновский Т. А.* Указ. соч.; и др.
84 *Билинкис М. Я., Пугачев В. В.* и др. Неизвестная рукопись

Н. И. Тургенева: (Первая часть «Политики») // Освободительное движение в России. Саратов, 1971. Вып. 1. С. 105–125.
[85] *Тургенев Н. И.* Нечто о крепостном состоянии в России // Архив братьев Тургеневых. Пг., 1921. Т. 3, вып. 5.
[86] *Гиллельсон М. И.* Литературная политика царизма после 14 декабря 1825 г. // Пушкин: Исслед. и материалы. Л., 1978. Т. VIII. С. 197.
[87] Послание российского дворянина к князю Репнину // Сборник исторических материалов, извлеченных из архива с. е. и. в. канцелярии. СПб., 1895. Вып. VII. С. 154–156.
[88] Всеподданнейшее письмо барона Владимира Штейнгеля 5 февраля 1823 года. О легкой возможности уничтожить существующий в России торг людьми // Там же. С. 194–195.
[89] *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1889. Т. 2. С. 270–274.
[90] *Магницкий М. Л.* Краткий опыт о народном воспитании // Сборник исторических материалов, извлеченных из архива первого отделения с. е. и. в. канцелярии. СПб., 1876. Вып. I. С. 364–375.
[91] *Васильчиков А. А.* Семейство Разумовских. СПб., 1880. Т. 2. С. 326–327, 336–343; и др.
[92] *Сухомлинов М. И.* История Российской академии. СПб., 1894. Вып. 5. С. 42.
[93] См.: Декабрист Михаил Орлов – критик «Истории»... С. 598.
[94] Там же. С. 597.
[95] ГПБ. Ф. 440. Оп. 1. Д. 4. Л. 12.
[96] Записка Никиты Муравьева «Мысли об „Истории государства Российского“ Н. М. Карамзина» // Лит. наследство. М., 1954. Т. 59. С. 595; *Дружинин Н. М.* Указ. соч. С. 98–100.
[97] См., например, полемику, развернувшуюся по этому поводу на страницах «Литературной газеты» в 1988 г. между А. В. Гулыгой и Н. Я. Эйдельманом, и отклики на нее (Вопр. лит. 1988. № 12).
[98] Цит. по: *Лузянина Л. Н.* Эпиграмма на Карамзина // Литературное наследие декабристов. Л., 1975. С. 260.
[99] Там же. С. 260–262.
[100] Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату... С. 182.
[101] Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева. Пг., 1921. Т. 3. С. 221.
[102] *Томашевский Б. В.* Эпиграммы Пушкина на Карамзина // Пушкин: Исслед. и материалы. М.; Л., 1956. Т. I. С. 208–209.
[103] *Фесенко Ю. П.* Эпиграмма на Карамзина: (Опыт атрибуции) // Там же. Т. VIII. С. 293–296.
[104] *Бекедин П. В.* Несостоявшаяся атрибуция // Рус. лит. 1981. № 1. С. 199.
[105] Сочинения Ивана Ивановича Дмитриева. СПб., 1895. Т. II. С. 236.
[106] Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому. СПб., 1897. С. 98.
[107] Записки А. М. Муравьева «Мой журнал» // Мемуары декабристов: Северное общество. М., 1981. С. 127.
[108] *Верещагина Е. И.* Маргиналии и другие пометы декабриста Н. М. Муравьева на «Письмах русского путешественника» в девятитомном издании «Сочинений...» Карамзина 1814 г. // Из коллекции редких книг и рукописей Научной библиотеки Московского университета. М., 1981. С. 48–71.
[109] Сочинения Ивана Ивановича Дмитриева. Т. II. С. 246.

110 *Строев П.* Пятое письмо к издателю «Московского вестника» // Моск. вестн. 1828. Ч. 12. С. 389/390.
111 *Каченовский М. Т.* Краткие выписки, известия и замечания // Вестн. Европы. 1821. Ч. 118, № 10. С. 157–158.
112 *Писарев Н. И.* Письмо к П. И. Ш[алико]ву // Сын Отечества. 1819. Ч. 57, № 42. С. 82–83.
113 *Никитенко А. В.* Дневник, 1826–1857. М., 1955. Т. 1. С. 88.
114 *Шаликов П.* Новость..., С. 157–159.
115 *Киреевский И. В.* Обозрение... С. 20.
116 Сочинения Ивана Ивановича Дмитриева. Т. II. С. 235.
117 РО ИРЛИ. Ф. 107. Д. 8. Л. 1–2.
118 *Сосновский Т. А.* Указ. соч. С. 655.
119 Там же. С. 639.
120 ГПБ. Ф. 440. Оп. 1. Д. 4. Л. 19–20.
121 *Булгарин Ф.* Встреча с Карамзиным // Альбом северных муз. СПб., 1828. С. 138–168.
122 *Полевой Н.* О новейших критических замечаниях на «Историю государства Российского», сочиненную Н. М. Карамзиным // Моск. телеграф. 1825. № 15. С. 234–240.
123 *Полевой Н.* Рецензия...
124 *Шаликов П.* Новость... С. 157.
125 *Люброссов Н.* Нечто об отрывке из Леклерка... С. 197.
126 *Арцыбашев Н.* Замечания на «Историю государства Российского»... С. 107.
127 *Люброссов Н.* Нечто об отрывке из Леклерка. С. 191.
128 Замечания М. В. Ломоносова на «Историю Петра Великого», сочиненную Вольтером // Моск. телеграф. 1828. № 6. С. 151–159; То же / С предисл. П. А. Муханова // Моск. вестн. 1829. Ч. 5. С. 158–163.
129 Подробнее см.: *Козлов В. П.* Полемика вокруг «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина в отечественной периодике (1818–1830 гг.) // История СССР. 1984. № 5. С. 99.

Глава 3. «Перед судом ума»

1 Архив братьев Тургеневых. СПб., 1911. Вып. 2. С. 218.
2 Там же. С. 390, 402.
3 Библиотека В. А. Жуковского в Томске. Томск, 1977. Ч. 1. С. 440.
4 Воспоминания Федора Петровича Лубяновского. М., 1872. С. 262–263.
5 Аглая. 1810. Ч. XI, кн. 2. С. 64.
6 Там же. Ч. XII. С. 45.
7 *Иезуитова Р. В.* Из неизданной переписки В. А. Жуковского // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1979 год. Л., 1981. С. 91.
8 Рус. вестн. 1810. № 10. С. 130.
9 Эпиграмма и сатира: Из истории литературной борьбы XIX века. М.; Л., 1931. Т. 1. С. 55.
10 *Васильчиков А. А.* Семейство Разумовских. СПб., 1880. Т. 2. С. 321.
11 Там же. С. 325–327.
12 Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 137–138.
13 Сев. почта. 1809. № 11; 1812. № 18.
14 Сочинения Карамзина. Пг., 1917. Т. 1. С. 479.
15 Сочинения В. Л. Пушкина. СПб., 1855. С. 13.

[16] *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч. СПб., 1880. Т. III. С. 73.
[17] *Томашевский Б. В.* Эпиграммы Пушкина на Карамзина // Пушкин: Исслед. и материалы. М.; Л., 1956. Т. 1. С. 208.
[18] Эпиграмма и сатира. С. 28.
[19] *Бекедин П. В.* Несостоявшаяся атрибуция // Рус. лит. 1981. № 1. С. 199.
[20] Рус. арх. 1866. С. 1630.
[21] Архив князя С. М. Воронцова. М., 1882. Т. 23. С. 362.
[22] Декабрист Н. И. Тургенев: Письма к брату С. И. Тургеневу, 1811–1821. М.; Л., 1936. С. 172, 182. В архиве журнала «Русская старина» (ОР ИРЛИ. Ф. 265. Д. 2907) сохранилась копия письма А. И. Тургенева, которое ранее было известно лишь в пересказе его брата Николая.
[23] Декабрист Н. И. Тургенев. С. 182, 203.
[24] *Вацуро В.* «Подвиг честного человека» // Прометей. М., 1968. Т. 5. С. 19.
[25] *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1888. Т. 1. С. 80.
[26] Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева. Пг., 1921. Т. 3. С. 120.
[27] *Михайлова Н. И.* Письма В. Л. Пушкина к П. А. Вяземскому // Пушкин: Исслед. и материалы. Л., 1983. Т. XI. С. 217.
[28] Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева. Т. 3. С. 162.
[29] *Вацуро В.* Указ. соч. С. 16–17, 19.
[30] РО ИРЛИ. Ф. 33. Д. 1. Л. 222–222 об.
[31] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. 2-е изд. М., 1956. Т. I. С. 341.
[32] Благонамеренный. 1818. Ч. 1, № 1. С. 23–24.
[33] *Сухомлинов М. И.* История Российской академии. СПб., 1894. Вып. 5. С. 42.
[34] О русской истории Н. М. Карамзина // Сын Отечества. 1817. № 40. С. 78.
[35] *Шаликов П.* Новость // Там же. 1818. № 10. С. 158–159.
[36] *Шаликов П.* К историографу империи // Там же. № 48. С. 131.
[37] *Кюхельбекер В. К.* Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 267.
[38] Журнал древней и новой словесности. 1818. Ч. 1. С. 159.
[39] Новые книги // Сын Отечества. 1818. № 6. С. 251–256.
[40] *Каченовский М. Т.* Московские записки // Вестн. Европы. 1818. Ч. 97. № 4. С. 307–309.
[41] Письма В. А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. М., 1895. С. 188.
[42] *Каченовский М. Т.* О медных дверях Софийского собора в Новгороде // Вест. Европы. 1818. Ч. 98. № 8. С. 285–299.
[43] [*Карамзин Н. М.*]. Записка о достопамятностях Москвы // Укр. вестн. 1818. Ч. 19. С. 121–143, 245–253.
[44] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 238.
[45] *Кюхельбекер В. К.* Указ. соч. С. 80–81.
[46] Архив князя С. М. Воронцова. Т. 23. С. 392.
[47] *Лужницкий старец.* К господам издателям «Украинского вестника» // Вестн. Европы. 1818. Ч. 100. № 13. С. 46.
[48] *Кюхельбекер В. К.* Указ. соч. С. 203.
[49] *Халанский М. Г.* Опыт истории историко-филологического факультета имп. Харьковского университета. Харьков, 1908. С. 255.
[50] *Михайлова Н. И.* Указ. соч. С. 222.
[51] *Гиллельсон М. И.* П. А. Вяземский: Жизнь и творчество. Л., 1969. С. 34.

52 Рус. арх. 1866. С. 1692–1693.
53 Декабрист Михаил Орлов – критик «Истории» Н. М. Карамзина // Лит. наследство. М., 1954. Т. 59. С. 566.
54 Записка Никиты Муравьева «Мысли об „Истории государства Российского" Н. М. Карамзина» // Там же. С. 582–595.
55 *Каченовский М. Т.* От Киевского жителя к его другу // Вестн. Европы. 1818. № 18. С. 44–46.
56 *Гиллельсон М. И.* Указ. соч. С. 37.
57 *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. 2-е изд. Т. 1. С. 338.
58 *Гиллельсон М. И.* Указ. соч. С. 37.
59 Полярная звезда на 1824 год. СПб., 1823. С. 278.
60 *Тургенев Н. И.* Письмо к издателю // Сын Отечества. 1818. № 42. С. 150.
61 *Ланда С. С.* Дух революционных преобразований...: Из истории формирования идеологии и политической организации декабристов, 1816–1825. М., 1975. С. 67–70.
62 [*Каченовский М. Т.*]. Записки Лужницкого старца // Вестн. Европы. 1818. Ч. 102. № 20. С. 307–313.
63 *Т.* От любителя изящных искусств к его другу // Там же. № 22. С. 125.
64 Цит. по: Литературная критика 1800–1820-х годов. М., 1980. С. 38.
65 Сын Отечества. 1819. № 1. С. 3–32.
66 Остафьевский архив. СПб., 1899. Т. 1. С. 167–168.
67 *Кюхельбекер В. К.* Указ. соч. С. 132.
68 *Каченовский М. Т.* От Киевского жителя к его другу. С. 199.
69 *Иезуитова Р. В.* Указ. соч. С. 105.
70 *Житель Девичьего Поля.* Письмо к редактору // Вестн. Европы. 1819. № 6. С. 115–124.
71 Цит. по: *Кудрявцев И. А.* «Вестник Европы» М. Т. Каченовского об «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина // Труды МГИАИ, М., 1965. Т. 22. С. 217.
72 *Михайлова Н. И.* Указ. соч. С. 226, 245.
73 Остафьевский архив. Т. 1. С. 213.
74 Новости литературные // Сын Отечества. 1819. № 37. С. 185–186.
75 *Иванчин-Писарев Н. Д.* Письмо к П. И. Шаликову // Там же. № 42. С. 81–86.
76 *Ходаковский З.* Розыскания касательно русской истории // Вестн. Европы. 1819. № 20. С. 275–301.
77 ГПБ. Погод. 2022/1–4.
78 Там же. Ф. 440. Оп. 1. Д. 4. Л. 12.
79 *Руссов С. В.* Обозрение критики Ходаковского на историю Российского государства, соч. Н. М. Карамзина. СПб., 1820.
80 Там же. С. 114.
81 *Каразин В. Н.* Новости литературные // Сын Отечества. 1820. № 5. С. 231–232.
82 *Базанов В.* Ученая республика. М.; Л., 1964. С. 226.
83 *Ал[ександр] Бес[ту]жев.* Торжественное заседание имп. Российской академии // Соревнователь просвещения и благотворения. 1821. Ч. 13. С. 309–310.
84 *П.* Петербургские записки // Благонамеренный. 1820. № 1. С. 64–65.
85 Письма И. И. Дмитриева к князю П. А. Вяземскому 1810–1836 годов. СПб., 1898. С. 17.
86 Соревнователь просвещения и благотворения. 1821. Ч. 13. С. 323.
87 Сын Отечества. 1820, № 6, С, 279,

88 Новости литературные // Там же. № 5. С. 232.
89 О беспристрастии историка и о том, в чем именно состоит занимательность русской истории для иноземных читателей // Вестн. Европы. 1821. № 1. С. 35–44.
90 Там же. С. 44.
91 *Dixit.* [*Вяземский П. А.*]. Послание к Каченовскому // Сын Отечества. 1821. № 2. С. 34–39.
92 Цит. по: *Гиллельсон М. И.* Указ. соч. С. 71, 269.
93 Письма И. И. Дмитриева к князю П. А. Вяземскому. С. 28.
94 *Михайлова Н. И.* Указ. соч. С. 231.
95 ГПБ. Ф. 291. Д. 30. Л. 1 об.
96 Архив братьев Тургеневых. Вып. 2. С. 342.
97 Записки Ксенофонта Алексеевича Полевого. СПб., 1888. Т. 1. С. 130–131.
98 *Каченовский М. Т.* Послание ко мне от князя Вяземского // Вестн. Европы. 1821. № 2. С. 98–106.
99 *Як*[*овле*]*в Ф.* Письмо к редактору // Там же. № 5. С. 31–44.
100 [*Аксаков С. Т.*]. Послание к Птелинскому-Ульминскому // Там же. № 9. С. 12–14.
101 *Аксаков С. Т.* Собр. соч.: В 2 т. М., 1909. Т. 2. С. 979–982.
102 Вестн. Европы. 1821. № 7.
103 *Каченовский М. Т.* Краткие выписки, известия и замечания // Там же. № 10. С. 157–158.
104 Новые книги // Сын Отечества. 1821. № 21. С. 35.
105 См., напр.: *Эйдельман Н. Я.* Последний летописец. М., 1983. С. 119–127.
106 Там же. С. 125.
107 Там же.
108 *Ланда С. С.* Указ. соч. С. 315.
109 Письма Н. М. Карамзина к кн. П. А. Вяземскому, 1810–1826 гг. СПб., 1897. С. 193.
110 *Эйдельман Н. Я.* Указ. соч. С. 125.
111 Из записок Д. П. Рунича // Рус. старина. 1901. № 1. С. 49–50.
112 *Магницкий М. Л.* Краткий опыт о народном воспитании // Сборник исторических материалов, извлеченных из архива первого отделения с. е. и. в. канцелярии. СПб., 1876. Вып. I. С. 371.
113 [*Арцыбашев Н. С.*]. О степени доверия к «Истории», сочиненной князем Курбским // Вестн. Европы. 1821. № 12. С. 293.
114 [*Арцыбашев Н. С.*]. О свойствах царя Иоанна Васильевича // Там же. № 18. С. 126–141; № 19. С. 184–200.
115 *Любороссов Н.* Нечто об отрывке из Леклерка // Там же. № 23. С. 191–199.
116 Остафьевский архив. Т. 1. С. 215.
117 *Ланда С. С.* Указ. соч. С. 315.
118 Новости литературы // Сын Отечества. 1822. № 10. С. 160.
119 РО ИРЛИ. Ф. 33. Д. 1. Л. 218–218 об.
120 *Лелевель И.* Рассмотрение «Истории государства Российского» г. Карамзина // Сев. арх. 1822. Ч. 4. С. 402–434.
121 *Сосновский Т. А.* Иоахим Лелевель как критик «Истории государства Российского», сочинения Карамзина: Переписка с Ф. В. Булгариным 1822–1833 гг.// Рус. старина. 1878. № 8. С. 639.
122 Там же.
123 ГПБ. Ф. 440. Оп. 1. Д. 4. Л. 17.
124 *Сосновский Т. А.* Указ. соч. С. 640.
125 Там же. С. 639.

126 *Геерен А. Г.* Взгляд на «Историю государства Российского» Н. М. Карамзина // Сев. арх. 1822. Ч. 4. С. 486–506.
127 *Ланда С. С.* Указ. соч. С. 70–74, 325–327.
128 Там же. С. 72.
129 *Геерен А. Г.* Указ. соч. 502–503.
130 *Ланда С. С.* Указ. соч. С. 73–74.
131 *Московский уроженец А. М.* Замечания одного из сотрудников «Северного архива» на статью, помещенную в № 24 сего журнала на 1822 год под заглавием «Взгляд на „Историю государства Российского" г. Карамзина» // Сев. арх. 1823. Ч. 5. С. 97.
132 Остафьевский архив. Т. 1. С. 314.
133 Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева. Т. 3. С. 339.
134 *Сосновский Т. А.* Указ. соч. С. 649.
135 *Лелевель И.* Рассмотрение...// Сев. арх. 1823. № 19. С. 54.
136 Там же. С. 294–295.
137 *Сосновский Т. А.* Указ. соч. С. 654–655.
138 *Лелевель И.* Рассмотрение...// Сев. арх. 1824. Ч. 9. С. 41–57, 91–103, 163–172; Ч. 11. С. 132–143, 187–195; Ч. 12. С. 47–53.
139 *Попков Б. С.* Польский ученый и революционер Иоахим Лелевель. М., 1974. С. 32, 35.
140 Там же. С. 32.
141 *Языков Н. М.* Стихотворения, сказки, поэмы, драматические сцены, письма. М.; Л., 1959. С. 36.
142 *Попков Б. С.* Указ. соч. С. 33.
143 *Яковлев Н.* К портрету Карамзина // Благонамеренный. 1823. № 3. С. 240; *К*[*нязь*] *Ш*[*аликов*]. На выздоровление Н. М. Карамзина // Дамский журн. 1823. № 12. С. 218–219.
144 *Погодин М.* Нечто о толковании одного места в Несторе // Вестн. Европы. 1824. № 4. С. 260–264; *Он же.* Нечто против опровержений г. Лелевеля // Там же. № 5. С. 14–23.
145 *Арцыбашев Н.* Два съезда князей, или Конец XII столетия в России // Там же. № 12. С. 241–278.
146 *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 1. С. 233.
147 Из переписки князя В. Ф. Одоевского // Рус. старина. 1904. № 2. С. 375.
148 Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину // Там же. 1910. № 5. С. 445; 1911. № 6. С. 596.
149 Языковский архив. СПб., 1913. Вып. 1. С. 119–120.
150 *Бестужев А.* Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начала 1825 годов // Полярная звезда: Альманах А. Бестужева и К. Рылеева. М.; Л., 1960. С. 493.
151 *Архипов Ф.* Письмо к издателю // Сын Отечества. 1823. № 3. С. 139.
152 Там же. 1824. № 13. С. 282–283.
153 *Свиньин П.* Письмо издателя к его превосходительству Антону Антоновичу Прокоповичу-Антонскому о торжественном собрании, бывшем сего января в императорской Российской академии // Отеч. зап. 1823. Ч. 13. С. 154–163.
154 *Булгарин Ф. В.* Критический взгляд на X и XI тома «Истории государства Российского», сочиненную Карамзиным // Сев. арх. 1825. Ч. 14. С. 371.
155 Там же. Ч. 13. С. 177.
156 Письма Н. М. Карамзина // Старина и новизна. 1904. Кн. 8. С. 391.
157 *Д. З*[*убарев*]. Исторические справки // Вестн. Европы. 1825. № 11. С. 187–217.

158 *Булгарин Ф.* Замечания на статью, помещенную в № 11 «Вестника Европы» под заглавием «Исторические справки» // Сев. арх. 1825. Ч. 16. С. 151–172.
159 *Полевой Н. А.* О новейших критических замечаниях на «Историю государства Российского», сочиненную Н. М. Карамзиным. (Статья первая) // Моск. телеграф. 1825. Ч. 4. С. 240.
160 *Зубарев Д.* В защиту новейших критических замечаний: (Ответ на статью, помещенную в № 15 «Московского телеграфа» под названием «О новейших критических замечаниях на „Историю государства Российского", сочиненную Н. М. Карамзиным») // Вестн. Европы. 1825. № 21. С. 28.
161 *Макаров М. Н.* Литературное воспоминание // Отеч. зап. 1825. № 67. С. 316–324.
162 *Арцыбашев Н.* Первый и последний ответ на псевдокритику // Вестн. Европы. 1826. № 2. С. 106–118.
163 *К[аченовский М. Т.]*. Некрология // Там же. № 9. С. 69–72.
164 *Ш[аликов П.]*. О кончине Николая Михайловича Карамзина // Дамский журн. 1826. № 12. С. 239–241; *Золотов В.* Об историографе Российской империи Н. М. Карамзине // Ист., стат., геогр. журн. 1826. Ч. 1. С. 145–154; *Полевой Н.* Некролог Карамзину // Моск. телеграф. 1826. Ч. 9. С. 80–87.
165 [*Греч Н. И.*]. О жизни и сочинениях Карамзина // Северные цветы на 1828 год. СПб., 1827. С. 186–204.
166 *Иванчин-Писарев Н. Д.* Речь в память историографу Российской империи // Лит. музеум на 1827 год. М., 1826. С. 48–54.
167 *Иванчин-Писарев Н. Д.* Дух Карамзина, или Избранные мысли из сочинений сего писателя с прибавлением некоторых обозрений исторических характеров. М., 1827. Ч. 1, 2.
168 *Вацуро В.* Указ. соч. С. 38.
169–170 *Муравьев Ник.* Исторические исследования о древностях Новгорода, касающиеся его монет. СПб., 1828. С. 23–39.
171 Цит. по: *Вацуро В.* Указ. соч. С. 38.
172 *Тургенев А. И.* О Карамзине и молчании о нем литературы нашей // Моск. телеграф. 1827. Ч. XV. С. 67–73. Цит. по: *Тургенев А. И.* Хроника русского: Дневники (1825–1826 гг.). М.; Л., 1964. С. 22–23.
173 Спор в немецких журналах об «Истории государства Российского» // Моск. телеграф. 1827. Ч. XVIII. С. 207–220.
174 *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. 2-е изд. М., 1958. Т. VII. С. 63.
175 *Вацуро В.* Указ. соч. С. 34–35.
176 Там же. С. 36.
177 *Полевой Н.* [Рец. на кн.: «Дух Карамзина, или Избранные мысли из сочинений сего писателя»] // Моск. телеграф. 1827. Ч. XVI. С. 76–81.
178 *Погодин М.* [Рец. на: «Речь в память историографу Российской империи, сочиненную г-ном Иванчиным-Писаревым»] // Моск. вестн. 1827. Ч. 3. С. 167–177.
179 *Погодин М.* Нечто против мнения Н. М. Карамзина о начале Российского государства: (Отрывок из замечаний на I том «Истории государства Российского») // Там же. 1828. Ч. 7. С. 483–490.
180 *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1889. Т. 2. С. 234.
181 *Арцыбашев Н.* Замечания на «Историю государства Российского», сочиненную г. Карамзиным, 2-го издания // Моск. вестн. 1828. Ч. 11. С. 285–318.

182 Там же. Ч. 12. С. 52–91, 254–285.
183 [*Погодин М. П.*]. Письмо к издателю // Там же. С. 186.
184 *Погодин М. П.* Ответ // Там же. С. 186–190.
185 *Вяземский П. А.* Несколько слов на замечания г. Арцыбашева, перепечатанные в 19 и 20 нумерах «Московского вестника» 1828 года // Там же. С. 340–341.
186 *Хвостов Н.* Надгробие историографу Карамзину 20 мая 1828 года // Дамский журн. 1828. Ч. 24. С. 137.
187 [*Шаликов П.*] К гению Карамзина // Там же. С. 174.
188 *Вяземский П. А.* Быль // Моск. телеграф. 1828. Ч. 23. С. 271–272.
189 *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 2. С. 244.
190 Там же. С. 246.
191 Там же. С. 253–254; Моск. вестн. 1828. Ч. 12. С. 378–379.
192 *Строев П. М.* Пятое письмо к издателю «Московского вестника» // Там же. С. 389–395.
193 *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 2. С. 311.
194 *Никодим Недоумко* [*Надеждин Н. И.*]. Литературные опасения // Вестн. Европы. 1828. № 21/22. С. 24–41.
195 *Полевой Н.* Новости и перемены в русской журналистике на 1829 год // Моск. телеграф. 1828. Ч. 23. С. 478–494; *Он же.* Литературные опасения кое-за что // Там же. Ч. 24. С. 319–380.
196 *Полевой Н.* Литературные опасения... С. 371–375.
197 *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 2. С. 265.
198 Там же. С. 270–271.
199 Там же. С. 273–274.
200 *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. 2-е изд. Т. VII. С. 86–92.
201 Там же. М., 1957. Т. III. С. 110.
202 *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 2. С. 267.
203 *Катенин П. А.* Избр. произведения. М.; Л., 1965. С. 179–183.
204 *Тынянов Ю. Н.* Пушкин и его современники. М., 1969. С. 73–85.
205 *Катенин П. А.* Указ. соч. С. 183.
206 Письма П. А. Катенина к И. Н. Бахтину // Рус. старина. 1911. № 6. С. 612.
207 *Погодин М.* Несколько объяснительных слов от издателя // Моск. вестн. 1828. Ч. 13. С. 378–379.
208 *Погодин М.* Об участии Годунова в убиении царевича Димитрия // Там же. 1829. Ч. 3. С. 90–126; *Он же.* Нечто об Отрепьеве // Там же. С. 144–170.
209 *Арцыбашев Н.* Письмо к издателю «Московского вестника» // Там же. С. 196–201; *Погодин М.* Ответ издателя «Московского вестника» на письмо г-на Арцыбашева // Там же. С. 201–204.
210 *Иванчин-Писарев Н.* О некоторых критиках // Сын Отечества и Сев. арх. 1829. Т. 1. С. 58–60.
211 Там же. С. 122–125.
212 *Руссов С.* О критике г. Арцыбашева на «Историю государства Российского», сочиненную Н. М. Карамзиным. СПб., 1829. С. 13.
213 *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 2. С. 357.
214 *Сомов О.* Хладнокровные замечания на толки гг. критиков «Истории государства Российского» и их сопричетников // Моск. телеграф. 1829. Ч. 25. С. 338–347.
215 *Дмитриев М.* О противниках и защитниках историографа Карамзина. Писано по случаю замечаний на «Историю государства Российского», помещенных в «Московском вестнике» // Атеней. 1829. № 3. С. 295–312; № 4. С. 424–444; № 5. С. 524–535.
216 Там же. № 3. С. 304.
217 Там же. № 5. С. 528.

[218] Дамский журн. 1829. Ч. 25. С. 38.
[219] *Полевой Н.* [Рец. на кн.: *Руссов С.* О критике г-на Арцыбашева...] // Моск. телеграф. 1829. Ч. 25. С. 404–407.
[220] *Полевой Н.* [Рец. на I–XII тома «Истории» Карамзина] // Там же. 1829. Ч. 27. С. 467–500.
[221] Там же. С. 468.
[222] Там же. С. 472.
[223] Там же. С. 497.
[224] *Каченовский М. Т.* История государства Российского. Том XII. // Вестн. Европы. 1829. № 17. С. 5.
[225] Там же. С. 6–7.
[226] Там же. № 18. С. 102–103.
[227] *Арцыбашев Н.* Явная выдумка // Там же. № 20. С. 260–274.
[228] *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 2. С. 334.
[229] *В. К.* Нечто о критике г. Полевого на сочинения Н. М. Карамзина // Галатея. 1829. Ч. 28. С. 199–216.
[230] *Воейков А. Ф.* Мои мысли о критике сочинителя «Истории русского народа» на «Историю государства Российского» // Славянин. 1829. Ч. 12. С. 375–394.
[231] Там же. С. 394.
[232] Там же.
[233] *Полевой Н.* [Рец. на критику Воейкова, вышедшую отдельной книгой] // Моск. телеграф. 1829. Ч. 30. С. 461–462.
[234] *Сомов О.* Обозрение российской словесности за первую половину 1829 года // Северные цветы на 1830 год. СПб., 1829. С. 21.
[235] Об истории России и Петра Великого, сочиненной гр. Сегюром // Моск. телеграф. 1829. Ч. 30. № 21.
[236] Там же. С. 72.

Глава 4. В поисках истин

[1] *Глиноецкий Н. П.* История российского Генерального штаба. СПб., 1898. Т. 1. С. 363.
[2] См.: *Туманский Ф.* О необходимости составления известий о службах и других обстоятельствах разных родов российского дворянства // Российский магазин. 1792. Ч. 1.
[3] Цит. по: *Волк С. С.* Исторические взгляды декабристов. М.; Л., 1958. С. 47.
[4] Там же. С. 135.
[5] *Кедров Б. М.* П. И. Пестель о системе и классификации наук // Декабристы и русская культура. Л., 1975. С. 327–332.
[6] *Калайдович К. Ф., Строев П. М.* Обстоятельное описание славяно-российских рукописей, хранящихся в Москве, в библиотеке... графа Ф. А. Толстого. М., 1825. С. XI–LIV.
[7] [*Уваров С. С.*]. О преподавании истории относительно к народному воспитанию. СПб., 1813. С. 24.
[8] *Карамзин Н. М.* История государства Российского. СПб., 1842. Т. I. С. IX.
[9] Биографии Плутарха // Сев. вестн. 1804. Ч. 1. С. 157.
[10] Рассуждение о пользе, какую приносят государствам науки и художества // Беседующий гражданин. 1789. Ч. 1. С. 45–46.
[11] *Карамзин Н. М.* История... Т. I. С. IX.
[12] ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Д. 2907.
[13] Декабрист Н. И. Тургенев: Письма к брату С. И. Тургеневу, 1811–1821. М.; Л., 1936. С. 182.
[14] *Билинкис М. Я., Пугачев В. В.* и др. Неизвестная рукопись

Н. И. Тургенева «Программа сопоставления Англии и Франции» // Освободительное движение в России. Саратов, 1971. Вып. 2. С. 111.

[15] Записка Никиты Муравьева «Мысли об „Истории государства Российского" Н. М. Карамзина» // Лит. наследство. М., 1954. Т. 59. С. 584–585; *Верещагина Е. И.* Маргиналии и другие пометы декабриста Н. М. Муравьева на «Письмах русского путешественика» в девятитомном издании «Сочинений...» Карамзина 1814 года // Из коллекции редких книг и рукописей научной библиотеки Московского университета. М., 1981. С. 68.

[16] Записка Никиты Муравьева... С. 585.

[17] Там же.

[18] *Сычев-Михайлов М. В.* Из истории русской школы и педагогики XVIII века. М., 1960. С. 231.

[19] Биографии Плутарха // Сев. Вестн. 1804. Ч. I.

[20] *Елагин И. П.* Опыт повествования о России. М., 1803. Кн. 1. С. IX и др.

[21] *Шамурин Е. И.* Очерки по истории библиотечно-библиографических классификаций. М., 1959. Т. 2. С. 160.

[22] *Кедров Б. М.* Указ. соч. С. 327–332.

[23] *Карамзин Н. М.* История... Т. I. С. IX.

[24] Там же.

[25] *Билинкис М. Я., Пугачев В. В. и др.* Неизвестная рукопись... С. 111.

[26] *Верещагина Е. И.* Указ. соч. С. 57.

[27] Записка Никиты Муравьева... С. 585.

[28] *Загоскин Н. П.* История имп. Казанского университета за первые сто лет его существования, 1804–1904, Казань, 1903. Т. 3. С. 352.

[29] Сборник Русского исторического общества. СПб., 1891. Т. 78. С. 523.

[30] Цит. по: Литературная критика 1800–1820-х годов. М., 1980. С. 36–37.

[31] *Карамзин Н. М.* История... Т. I. С. X.

[32] *Б[обро]в С.* Патриоты и герои везде, всегда и во всяком // Лицей. 1806. Ч. 2. № 3. С. 27.

[33] *Волк С. С.* Указ. соч. С. 32.

[34] Декабрист Михаил Орлов – критик «Истории» Н. М. Карамзина // Лит. наследство. Т. 59. М., 1954. С. 566.

[35] Записка Никиты Муравьева... С. 586.

[36] О воспитании общественном // Санкт-Петербург. журн. 1798. Ч. 1. С. 159.

[37] Соревнователь просвещения и благотворения. 1819. Ч. 8. С. 33.

[38] *Карамзин Н. М.* История... Т. I. С. IX.

[39] *Арцыбашев Н.* Первый и последний ответ на псевдокритику // Вестн. Европы. 1826. № 2. С. 110.

[40] Записка Никиты Муравьева... С. 586.

[41] *Билинкис М. Я., Пугачев В. В.* и др. Неизвестная рукопись... С. 111.

[42] [*Карамзин Н. М.*]. Рассуждение философа, историка и гражданина // Моск. ведомости. 1795. № 97. С. 1836.

[43] Там же.

[44] *Орлов Вл.* Русские просветители 1790–1800-х годов. М., 1950. С. 313–315.

[45] Декабрист Михаил Орлов – критик «Истории» Н. М. Карамзипа. С. 567.

46 *Верещагина Е. И.* Указ. соч. С. 58.
47 *Полевой Н.* [Рец. на I–XII тома «Истории» Карамзина] // Моск. телеграф. 1829. Ч. 27, № 12, С. 477–478.
48 *Карамзин Н. М.* История... Т. I. С. XI.
49 *Лотман Ю. М.* Пути развития русской прозы 1800-х – 1810-х годов // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. Тарту, 1961. Вып. 104; Труды по русской и славянской филологии. № 4. С. 47.
50 Языковский архив. СПб., 1913. Вып. 1. С. 119.
51 *Ф.* От Киевского жителя к его другу // Вести. Европы. 1819. № 5. С. 50.
52 Там же. № 3. С. 198–199.
53 Там же. С. 208.
54 *Арцыбашев Н.* Замечания на «Историю государства Российского», сочиненную г. Карамзиным, 2-го издания, иждивением братьев Слениных // Казан. вестн. 1823. Ч. 7, № 1. С. 30.
55 РО ИРЛИ. Ф. 33. Д. 1. Л. 218; *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина.СПб., 1889. Т. 2. С. 357.
56 [*Булгарин Ф. В.*]. Критический взгляд на X и XI тома «Истории государства Российского», сочиненную Н. М. Карамзиным // Сев. арх. 1825. Ч. 13. С. 71–72.
57 *Гиллельсон М. И.* Литературная политика царизма после 14 декабря 1825 г.// Пушкин: Исслед. и материалы. Л., 1978. Т. VIII. С. 197.
58 Записка Никиты Муравьева... С. 586.
59 *Стриттер И.* История Российского государства. СПб., 1800–1802. Ч. I–III.
60 *Вебер Б. Г.* Историографические проблемы. М., 1974. С. 26–31.
61 *Ф.* От Киевского жителя к его другу // Вестн. Европы. 1819. № 3. С. 199.
62 *Полевой Н.* [Рец. на I–XII тома «Истории» Карамзина]. С. 479.
63 *Бестужев Н. А.* Статьи и письма. М.; Л., 1933. С. 93.
64 *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1888. Т. 1. С. 299.
65 Там же. Т. 2. С. 336.
66 *Киреевский И. В.* Обозрение русской словесности за 1829 год // Полн. собр. соч.: В 2 т. М., 1911. Т. II. С. 21.
67 *Сllытко Т. С.* Батеньков-литератор // Декабристы-литераторы. М., 1956. Т. 2, кн. 1. С. 301.
68 Цит. по: *Формозов А. А.* Очерки по истории русской археологии. М., 1961. С. 62. См.: *Он же.* Страницы истории русской археологии. М., 1986. С. 48–51.
69 *Миллер Г. Ф.* Объявление предложения, до исправления Российской истории касающегося, которое может учиниться частным изданием собрания всяких известий, до истории Российского государства принадлежащих. СПб., 1732.
70 *Московский уроженец А. М.* Замечания одного из сотрудников «Северного архива» на статью, помещенную в № 24 сего журнала на 1822 год под заглавием: Взгляд на «Историю государства Российского» г. Карамзина // Сев. арх. 1823. Ч. 5. С. 98–99.
71 *Барсуков Н.* Жизнь и труды П. М. Строева. СПб., 1878. С. 72.
72 *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 1. С. 80–81.
73 *Васильчиков А. А.* Семейство Разумовских. СПб., 1880. Т. 2. С. 326–327.
74 *Московский уроженец А. М.* Замечания... С. 95.
75 *Карамзин Н. М.* История... Т. I. С. VII.

[76] Там же. С. VIII.
[77] Воспоминания графини Антонины Дмитриевны Блудовой // Рус. арх. 1899. Кн. 1. С. 105–106.
[78] *Лузянина Л. Н.* Об особенностях изображения народа в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина // Русская литература XIX – XX вв. Л., 1971. С. 10.
[79] *Лотман Ю. М.* Пути развития русской прозы... С. 44–45.
[80] *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 1. С. 81.
[81] Декабрист Михаил Орлов – критик «Истории» Н. М. Карамзина. С. 566.
[82] *Московский уроженец А. М.* Замечания... С. 96.
[83] *Лелевель И.* Рассмотрение «Истории государства Российского» г. Карамзина // Сев. арх. 1823. № 19. С. 67–68.
[84] *Арцыбашев Н. С.* О степени доверия к Истории, сочиненной князем Курбским // Вестн. Европы. 1821. Ч. 118, № 12. С. 280–281.
[85] Там же. С. 293.
[86] *Лубкин А. С.* Начертание логики // Русские просветители: (От Радищева до декабристов). Собрание произведений: В 2 т. М., 1966. Т. 2.
[87] *Макогоненко Г.* Литературная позиция Карамзина в XIX веке // Рус. лит. 1962. № 1. С. 102.
[88] Декабрист Михаил Орлов – критик «Истории» Н. М. Карамзина. С. 566–567.
[89] Записка Никиты Муравьева... С. 595.
[90] *Волк С. С.* Исторические взгляды декабристов. С. 314–317.
[91] *Арцыбашев Н. С.* Замечания на «Историю государства Российского»... // Казан. вестн. 1823. Ч. 5. С. 60.
[92] Декабрист Михаил Орлов – критик «Истории» Н. М. Карамзина. С. 567.
[93] *Лелевель И.* Рассмотрение «Истории государства Российского» г. Карамзина // Сев. арх. 1824. Ч. 9. С. 48–52.
[94] *Н[иколай] П[олевой]*. Обозрение хода и упадка удельной системы в России // Вестн. Европы. 1825. № 12. С. 255–273.
[95] *Гусятников М.* Замечания на «Историю государства Российского», сочиненную Н. М. Карамзиным. О титуле великого князя // Моск. вестн. 1828. Ч. 7. С. 203–209.
[96] *М[ихаил] П[огодин]*. Нечто против мнения Н. М. Карамзина о начале Российского государства: (Отрывок из замечаний на I том «Истории государства Российского») // Моск. вестн. 1828. Ч. 7, № 4. С. 483–490.
[97] *Д[митрий] З[убарев]*. Исторические справки // Вестн. Европы. 1825. № 11. С. 187–217.
[98] *Волк С. С.* Исторические взгляды декабристов. С. 306–324.
[99] *Руссов С.* О критике г. Арцыбашева на «Историю государства Российского», сочиненную Н. М. Карамзиным. СПб., 1829. С. 70–71.
[100] *Сухомлинов М. И.* История Российской Академии. СПб., 1894. Вып. 5. С. 42.
[101] Декабрист Михаил Орлов – критик «Истории» Н. М. Карамзина. С. 567.
[102] О жилищах древнейших руссов, сочинение г-на Неймана и критический разбор оного [М. П. Погодина]. М., 1826.
[103] *Волк С. С.* Исторические взгляды декабристов. С. 386–392.
[104] *Зубарев Д.* Исторические справки... С. 213.
[105] [*Полевой Н. И.*]. О новейших критических замечаниях на «Историю государства Российского», сочиненную Н. М. Карамзи-

ным: (Статья первая) // Моск. телеграф. 1825. № 15. С. 241–243.
[106] *Р[ихтер] А.* Нечто о влиянии монголов и татар на Россию // Соревнователь просвещения и благотворения. 1822. Ч. 17. № 3. С. 252.
[107] *Ланда С. С.* Дух революционных преобразований...: Из истории формирования идеологии и политической организации декабристов, 1816–1825 гг. М., 1975. С. 67–68.
[108] Восстание декабристов. М.; Л., 1925. Т. 1. С. 322.
[109] *Серман И. З.* Александр Корнилович как историк и писатель // Литературное наследие декабристов. Л., 1975. С. 148–149.
[110] Там же. С. 155.
[111] [*Магницкий М. Л.*]. Судьба России // Радуга. Ревель, 1833. С. 392–401.
[112] Дневники и письма Н. И. Тургенева. Пг., 1921. Т. III. С. 123.
[113] *Волк С. С.* Исторические взгляды декабристов. С. 383–389, 392, 393.
[114] *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 2. С. 393.
[115] *Волк С. С.* Исторические взгляды декабристов. С. 340–341.
[116] Послание российского дворянина к князю Репнину // Сборник исторических материалов, извлеченных из архива с. е. и. в. канцелярии. СПб., 1895. Вып. VII. С. 154–156.
[117] *Кайсаров А.* Об освобождении крепостных в России // Русские просветители... М., 1966. Т. 1. С. 361–362.
[118] *Тургенев Н. И.* Нечто о крепостном состоянии в России // Архив братьев Тургеневых. Пг., 1921. Т. 3. Вып. 5. С. 419.
[119] *Пнин И. П.* Опыт о просвещении относительно к России // Русские просветители... Т. 1. С. 195–196.
[120] Всеподданнейшее письмо барона Владимира Штейнгеля 5 февраля 1823 года: О легкой возможности уничтожить существующий в России торг людьми // Сборник исторических материалов, извлеченных из архива с. е. и. в. канцелярии. Вып. VII. С. 194.
[121] *Тургенев Н. И.* Письмо к издателю // Сын Отечества. 1818. Ч. 49, № 42. С. 149–150.
[122] *Тургенев Н. И.* Нечто о крепостном состоянии в России. С. 460.
[123] *Бутурлин Д.* Военная история походов россиян в XVIII столетии. СПб., 1819. Ч. 1. С. LVIII–LXIII.
[124] См.: Декабристы: Поэзия. Драматургия. Проза. Публицистика. Литературная критика. М.; Л., 1951. С. 464–466.

Указатель имен

Оглавление

Научно-популярное издание

КОЗЛОВ Владимир Петрович

«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО»
В ОЦЕНКАХ СОВРЕМЕННИКОВ

Утверждено к печати
редколлегией серии
«Научно-популярная литература» АН СССР

Редактор издательства Ю. Г. Гордина
Художник Т. Б. Лосина
Художественный редактор И. Д. Богачев
Технический редактор Н. Н. Плохова
Корректоры Р. С. Алимова, Л. И. Кириллова

ИБ № 39137

Сдано в набор 22.05.89
Подписано к печати 10.07.89
А-03922 Формат 84 × 108¹/₃₂
Бумага кн.-журнальная. Импортная
Гарнитура обыкновенная
Печать высокая
Усл. печ. л. 11,76. Усл. кр. отт. 12,2
Уч.-изд. л. 13,4.
Тираж 30 000 экз. Тип. зак. 3001
Цена 65 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Наука»
117864, ГСП-7, Москва, В-485,
Профсоюзная ул., 90

2-я типография издательства «Наука»
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

65 коп.

Серия «Страницы истории нашей Родины»

«Наука»

Книга рассказывает о том, как был воспринят в русском обществе 10 — 20-х годов XIX в. выдающийся труд Н. М. Карамзина — «История государства Российского». Обсуждение этого сочинения стало, по словам современников, «феноменом небывалым» в общественной и культурной жизни России того времени.

